

БИБЛИОТЕКА
БАШКИРСКОГО
РОМАНА
«АГИДЕЛЬ»



ФАРИТ
ИСАНГУЛОВ

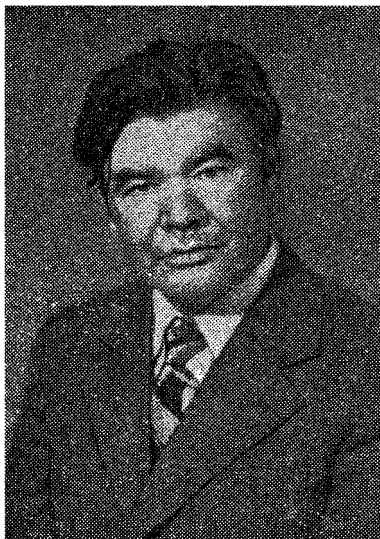
РЖАНОЙ
КОЛОС

Scan Kreyder - 21.02.2019 - STERLITAMAK

БИБЛИОТЕКА
БАШКИРСКОГО РОМАНА



"АГИДЕЛЬ"



Ф. Исангулов (1928)—известный башкирский писатель, лауреат республиканской премии имени Салавата Юлаева, автор романов „Ржаной колос“, „Верный конь и добрый молодец“, „Памятники—для живых“, многих повестей, сборников рассказов для детей и взрослых.

РЖАНОЙ ФАРИТ ИСАНГУЛОВ КОЛОС

Авторизованный перевод
с башкирского

В. Дудинцева и Н. Гордеевой

Башкирское
книжное издательство
Уфа * 1977

Редакционная коллегия: Каримов М. С., Харисов А. И., Мирзагитов А. М., Исангулов Ф. А., Гирфанов А. Ш.

Читатель уже знаком с серией «Библиотека башкирского романа «Агидель», выпускаемой Башкирским книжным издательством. В 1977 году кроме романа «Ржаной колос» Ф. Исангулова он вновь встретится с известным произведением популярного башкирского писателя А. Бикчентаева «Я не сулю тебе рая» и романом Н. Мусина «Люди дальних дорог».

Печатается по изданию: Фарит Исангулов. Ржаной колос. М., «Советский писатель», 1972.

Исангулов Ф. А.

И85 Ржаной колос. Послесловие Р. Баимова. Ил. А. Королевского. Уфа, Башкирское книжное издательство, 1977 г.

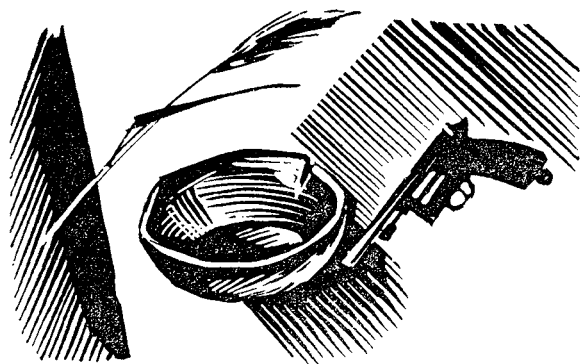
400 с. с. ил.

В романе Ф. Исангулова «Ржаной колос» освещаются события, полные драматизма классовой борьбы в деревне первых лет Советской власти.

И $\frac{70303-305}{M 121 (03) 77}$ 74—77

С (башк.)

© Иллюстрации, послесловие.
Башкирское книжное издательство, 1977 г.



Часть первая

I

Прежде чем совершить хадж — паломничество в Мекку — и в сане святого — шахитом отойти в иной мир, Аптелгалим получил два прозвища и довольно долго жил с ними. Сначала его называли Сарпитка-муэдзином — дело было связано с некоей салфеткой. А некоторое время спустя к нему прилипло и второе прозвище «карун» — что значит скряга.

Привез его в Утекэй отец — портной, странствовавший из аула в аул. Мальчишке было тогда четырнадцать лет.

Восхищенные искусством этого портного, зажиточные люди Утекэя и окрестных мест предложили ему как следует обосноваться в их ауле и пообещали дать надел земли. Само-

му портному тоже хотелось осесть здесь — по душе ему пришлись земли и воды, окружающие Утекэй.

Этот богатый на первый взгляд аул растянулся вдоль реки Ситъелга. Перейди эту реку, поднимись на темя возвышенности Назыкайсырт и посмотри назад. Увидишь под собой прежде всего лес Кузбеляк, готовый обрушиться на лежащий еще ниже аул. Так что, если нужны дрова, не надо запрягать лошадь — так говорят здесь. Ступай в Кузбеляк, грузи на сани целую гору, направь их к своему дому и отпусти: сами поедут, перелетят реку и остановятся как раз у забора твоего гумна. Если отойти немного от аула и свернуть чуть-чуть в сторону — увидишь луга реки Агидель. Держи скотины сколько хочешь — сена хватит. Пойдешь в противоположную сторону — упрешься в горы Караул, Халпы и Қыяюл. Как скирды стоят густо-зеленые леса. А с четвертой стороны разлеглись бескрайние поля, уходят все вверх на спину сырта Шишмебашы.

Было тогда в ауле и небольшое медресе. Так что Аптелгалиму, который приближался к той поре, когда становятся егетом — взрослым парнем, этот аул был нужен вдвойне. Здесь, в Утекэе, он и начал ученье.

Прожили два года, а земельный надел для портного так и не вышел. Наоборот, стал слышать позади себя нехорошее слово — чужак. Почему-то и заказы поредели, жить стало туговато. Заскучавший по родным краям портной задумался: не вернуться ли на родину.

А Аптелгалим уцепился за аул: не уеду, и точка. Останусь в медресе! Правда, дело тут

было вовсе не в учебе, до которой он не очень-то был охоч. Вот что приелось: кругом мальчишки катаются на санках, а он все сиди в чужом доме, нацелив глаз в игольное ушко, да шей из овчины пуговицы для шубы.

Вот и оставили его в Утекэе. Пусть учится...

В драках с шакирдами — учениками медресе, в вечерних боях, где оружием служит разорванная подушка, в зубрежке стихов из Корана прошел еще год. И Аптелгалим становится казы — воспитателем в медресе.

А когда аульный муэдзин покинул этот мир, егет, и на минуту не задумавшись, вошел мужем в дом абыстай — старенькой вдовы этого служителя мечети. Быстро прибрал в кулак все добро муэдзина и пустился в погоню за счастьем.

Еще будучи шакирдом, прославился Аптелгалим своей скупостью и жадностью. А теперь стал хозяином, из которого — хоть режь — крови не выжмешь. А тут еще поставили его муэдзином. Доходы мечети и медресе, хаир-садака — подаяния и жертвования прихожан — все потекло в его карман и исчезло там, как вода, выплеснутая на песок.

Однажды халфа — учитель медресе — созвал гостей на чтение Корана. Все уселись, поджав под себя ноги, и хозяин стал расстилать на их коленях длинные полотенца, как это делали в застольях в Стерлибашевском медресе, где он учился. Расстилал полотенца и приговаривал: «А это — салфетка». Муэдзин Аптелгалим смекнул: «Наверно, хозяин вдобавок к полагающемуся при чтении Корана подаянию раздает и эти полотенца». И как только один конец этой самой «сарпитки» упал

перед ним, второпях огладил лицо, шепнул «аллахиакбар» и, сдернув с колен, затолкал полотенце во внутренний карман своего елэна. Так и не заметил, что гости усмеваются, поглядывая на него.

Может быть, история с салфеткой на этом и кончилась бы. Но старшие шакирды, сидевшие вместе с Аптелгалимом, рассказали ее в медресе. Вот и пошло гулять по аулу прозвище «Сарпитка-муэдзин». Самого Аптелгалима это не смутило, руки его по-прежнему цепко хватали подаюния и приношения, муэдзин греб под себя больше, чем мулла. А вот мулле это не понравилось. И Сарпитку вышибли из мечети.

Вышибли так вышибли — невелика беда. Аптелгалим принялся разводить скот, расширил посевы. Через год-два на горе Халпы на лесной поляне у него уже стояла пасека — больше сотни семей. И вдруг оказалось, что нет в Утекэе человека богаче, чем наш Сарпитка. Богач, а у самого на ногах — старые сарыки с истоптанными каблуками. На плечах — обтрепанный сэкмэн из домотканого грубого сукна, да еще подпоясан грязным полотенцем. Если сунешься зимой в его клеть, можешь проломить себе голову о висящие здесь замороженные туши. А работники Сарпитки довольствуются лишь кислой простоквашей — катыком. Чуть душа держится в теле.

Вот и прибавили к Сарпитке прозвище — «карун». Чтоб знали все, что это жадина и скупердяй.

Вскоре у него умерла жена. Слишком уж пилил ее карун по мелочам — не выдержала,

покинула этот мир, оставив сиротой пятилетнего мальчика Аллаяра. Аптелгалим взял молодую жену. Эта не ужилась с ним — сбежала. Третья, правда, осталась в его доме. Притерпелась...

Аллаяр не любил отца, дичился. Ведь не знал Аптелгалим, что это такое — ласкать ребенка. Взрослея, набираясь ума, Аллаяр проникался все большей ненавистью к отцу-скупердю. И к хозяйству душа мальчика никак не лежала. Есть ли в сарае скотина, много ли в лесу ульев, не сыреет ли зерно в амбарах — ему нет дела: пусть хоть сгорит все!..

Подростком был, а уже узнал вкус вина. Садился по весне на своего хорошо ухоженного скакуна и летел на какой-нибудь сабантуй, оттуда, попировав, на байгу — любил скачки! А там опять на сабантуй... Через неделю, осунувшийся, но довольный, возвращался домой. Молча выслушает брань и проклятия отца, и смотришь — снова исчез!..

Зимы Аллаяра дожидался с особенным нетерпением: ведь это пора, когда бьют волков и лисиц. Ни буран, ни гололедица егету нипочем. Даже к весне, когда лошадь проваливалась по брюхо в снег, он носился по полям. Встанет с первыми петухами, настрогает сыра — курута в горячую воду, положит еще туда топленого масла, выпьет — и в сарай, где бьет копытом, ждет его аргамак. К поясу прицепит два сукмара. Один — фунтовая гиря, подвешенная к рукоятке на нескольких железных звеньях; другой — булава из корня березы, утыканная гвоздями. Прыгнет на коня и летит без седла, как ветер.

Отыскав волчий след, Аллаяр до ночи гнался за зверем. Оставит усталого, а на рассвете опять там — подымет и гонит. Иной раз попадется волк посильнее — три дня идет гон. Но все равно приходит конец — опухший, с судорогами в ногах, зверь валится в снег. Щелкая зубами и скуля, чуя смертный час, готовится к последнему прыжку. Охотник неторопливо поднимает деревянную булаву. Хищник на лету вцепляется в нее зубами. И тут же сукмар с гирей, тот, что в другой руке, разбрызгивает мозги волка.

Хоть в Утекэе любят зимнюю охотничью потеху (в особенности богачи), Аптелгалим не одобрял эту страсть своего старшего сына. Чем взрослее становился егет, тем больше отходил от дома, сбивался с пути. Да к тому же Аллаяр за одну зиму сжигал в дикой гонке двух-трех коней, самых лучших, блестящих, как пиявки. Аптелгалим скажет ему, бывало, предупредит, а то и запретит брать коня, а егету хоть бы что, не повисают слова отца на его ухе. Как-то отец велел своим работникам не допускать Аллаяра к конному сараю. Разрешил, если что, даже отдубасить малого. Ничего не вышло! Охотник все равно отправился в погоню за волком. А один из двух работников, ставших у него на пути, целый день потом лежал в сарае для скотины, етая на всю округу. Получил жердью по спине. И другому работнику досталось: сукмар с гвоздями пропорол ему нос.

А через сутки, когда Аптелгалим на заре, с кумганом в руке, пошел за сарай, его встретил там огромный — с годовалую телку — волк. Растопырив передние лапы, стоял на

задних ногах, как человек. Карун, обезумев от страха, повалился на спину и до времени совершил под себя греховное дело...

Оказывается, этого волка привез ночью с охоты Аллаяр. Облил его водой и поставил стоймя за углом сарая на жгучем ветру, заморозил. А сам ушел в дом и улегся спать.

Прошел еще день, и, когда сын на рассвете опять собрался выезжать на охоту, сам Аптегалым с ломом в руках стал у входа в конный сарай. Аллаяр и близко к нему не подошел. Отец даже успокоился: наконец-то образумился сынок. Когда совсем рассвело, оставил свой пост, ушел в дом. А сына-то дома нет. Да еще ввалился с криком мулла: кто-то разбил на воротах его конюшни большой кандальный замок и увел лучшего аргамака. «Чует мое сердце,— кричал мулла,— это дело рук твоего беспутного сына».

На этот раз Аллаяр быстро настиг в пойме Агидели вялого, обессиленного волка. Одним махом прикончил, взвалил на холку коня, сел сам и тут услышал храп разгоряченных аргамаков. Это прилетели по волчьему следу три охотника с другого берега Агидели.

— На готовое заришься? Это же волк, которого гоним мы!

— Я сам гнал за ним два дня! — не уступал Аллаяр.

Спорили недолго. Охотники вместе с волком стащили с коня и егета. Отдубасили и, связав, уложили на коня, хлестнули жеребца плеткой.

— Иди, бей волков за пазухой своей матери!..

Опозоренного Аллаяра жеребец привез к воротам муллы.

Распростившись с надеждой, что старший сын снова войдет в оглобли, карун проклял Аллаяра и, ничем не наделив, выгнал из дома. В ту же ночь Аллаяр и исчез. С ним пропали три самых хороших коня, несколько лисьих шуб и волчьих тулупов. До самой весны от егета не было вестей. Қанул, как иголка в воду.

Лишь в конце мая один русский, возвращавшийся из Орска через Утекэй, сказал за чаем у своего знакомого Файзуллы:

— Будто бы Абдулгалимкина Аллаярку видели в Оренбургской стороне. Гуляет, сказывают. С конокрадами.

Встревожила эта вестъ Аптелгалима. Но вовсе не потому, что сын его стал конокрадом. Старик боялся, что Аллаяр заявится к нему вместе со своими головорезами и разнесет все его хозяйство.

Впрочем, страхи эти оказались напрасными. Год прошел, миновал второй, а Аллаяр не то чтобы вернуться и разграбить отцовское добро — даже вестей никаких о себе не подал.

Тем временем умерла и третья жена Аптелгалима.

Жизнь поползла вкривь и вкось. Хотя он только что перешагнул за пятьдесят, в какие-нибудь два-три года скрутило его, стал кряхтеть и охать. Один за другим ушли работники. Построенный в самом центре аула дом Аптелгалима, соперничавший когда-то с мечетью, начал оседать на один бок — подгнил фундамент. Тоскливо заскрипели, застонали под ветром заплесневелые ворота, готовые вот-вот

упасть. В отсыревших закромах зерно проросло, переплелось ростками, стало как войлок. Как раз наступила весна, и от амбаров Аптелгалима, набитых мясом, потянулась по деревне удушливая вонь дохлятины.

Видно, махнул Аптелгалим на мирские дела. Вспомнил, что когда-то был верующим. Взял свою шишковатую палку, годами стоявшую без дела, и принялся протаптывать тропу в мечеть. И в доме своем он теперь не слезал с намазлыка, тер коленями вышитые на нем священные надписи.

Однажды дошло до старика, что несколько состоятельных человек из округа — все светила мечетей — собираются совершить хадж в Мекку и Медину. «Поеду с ними, — осенило Аптелгалима. — Чем жить в таком состоянии, лучше умереть на святом пути паломничества. Шахитом уйти на тот свет — значит получить место в тюре — красном углу рая».

Когда аллах осенил его душу святой мыслью, в груди Аптелгалима стало шире, вольнее, он почувал силу и выпрямился. С трепетом в сердце отправился в путешествие.

Среди тех, кто возвратился через год из паломничества, хаджи Аптелгалима не оказалось. О нем пришла лишь вот такая славная весть.

Когда корабль плыл по морю, его остановила чудо-рыба. Говорят, такие вещи на святом пути хаджа случаются часто. Схватила чудо-рыба корабль и держит. Всем известно: если рыбе не принесут жертву — курбан, она может разнести вдребезги весь корабль и проглотить людей одного за другим. Поэтому паломники тянут жребий и того, кто его вытя-

нст, завертывают в белый саван и, сотворив погребальную молитву — йыназу, отдают рыбе. Человек этот становится самым святым из всех паломников, шахитом уходит в иной мир.

В этот раз жребий вытащил Аптелгалим. Хаджи, которые вернулись из Мекки, завидуя его счастью, говорили:

— Покойный хаджи Аптелгалим, как только над ним прочитали йыназу, сразу же отдал богу душу... Очень святой дорогой ушел он к всевышнему. Как только принесли жертву, это проклятое чудовище тут же и отпустило корабль...

Иные высказывали и нечестивую мысль, будто бы хозяева кораблей, которые переправляют паломников через море, занимаются недобрым промыслом. Хорошенько выведав, кто из паломников всех богаче, бросают будто якорь и поднимают тревогу: мол, корабль схватила чудо-рыба. Все остальное делают сами паломники, хозяева заботятся лишь о том, чтобы жребий достался тому, кого они наметят...

Словом, все, что собирал и держал в кулаке карун Аптелгалим, осталось без хозяина, стало на глазах у всего аула хиреть и разваливаться.

И вот когда, казалось бы, хозяйству этому совсем пришел конец, в один из жарких дней жатвы появился во дворе заброшенного дома и стал расхаживать рослый мужчина с черными, как крыло ласточки, усами и с черной круглой бородой. Сверкал козырек его черной фуражки. Белая косоворотка с вышивкой по воротнику была подпоясана черной витой

тесью с кистями. Поблескивали черные сапоги, приспущенные гармошкой.

Соседи взгляделись: да это же Аллаяр! Тот самый старший сын покойного хаджи, о котором так и не знал никто — жив он или нст. Каким здоровенным стал мужиком!..

Сын Аптелгалима разговорился с соседями. Мягким человеком оказался! А когда зашла речь об отце, даже слезы выступили на глазах.

Аллаяр сразу же сбросил с себя русскую — кафырскую — одежду, приделся по-мусульмански и перво-наперво отправился в дом сверстника своего отца — муллы. Вручив ему довольно солидное подаяние — хаир-садака и жертву на мечеть, получил благословение. А вечером, прихватив более солидные гостинцы, пошел к старосте. Степенно поведал о том, что вернулся в отчие края насовсем, решил покрепче пустить корни, поправить захиревшее хозяйство. А когда захмелел, похвалил изредка показывавшихся из-за занавески дочерей хозяина:

— Красавицы-то ваши! Поспевают...

— Что верно, то верно, — на лету подхватил его слова просиявший староста. — Когда ты исчез... Да, когда уходил в свое путешествие, той вон, старшей моей, Гюльсагура, было самое большее десять лет...

— Вот ее-то я как раз и узнал...

Староста тут же, светясь радушием, повернулся к занавеске:

— Гюльсагура, прибавь-ка нам, чтоб утолить жажду...

На следующий день Аллаяр оделся во все рабочее и принялся проверять и считать ско-

тину, приводить в порядок запущенное хозяйство. Коровы и овцы, одичавшие, нечищенные, были загнаны со двора в хлев. С пасекой, от которой к этому времени осталась лишь половина, Аллаяр и возиться не стал — тут же сбыл все ульи богатому чувашу из деревни Хайгадак. Так-то оно будет вернее, не к чему распляться. Хозяйство должно быть в одном месте. Принялся разыскивать батраков, которые в последние дни Аптелгалима разбрелись кто куда. Много им наобещал: «Голодать больше не будете. В обносках щеголять не дам, как было прежде. Получите все, что полагается. И для жилья место найдем». Собрал почти всех и тут же приступил к жатве. Хлеба, которые начали уже осыпаться, быстро были убраны и обмолочены. В закромах появилось свежее зерно.

Совсем было угасший двор стал оживать. С раннего утра до темноты стучали теперь здесь топоры, приводя в порядок сараи и навесы. Дом, который начал уходить в землю, выпрямился и даже будто приподнялся после того, как под него подвели новые бревна. Покрытый новым тесом, он опять принял гордый вид, как бы говоря: «Смотрите, это я, я!»

Когда все стойла, крыши и клетки были укреплены и поправлены, Аллаяр распорядился, чтобы весь мед, с давних пор хранившийся в доме, заквасили. Получилась неплохая медовуха, а Аллаяр созвал почти всех мужиков аула на умэ — помочь. Условия этого умэ показались людям странными, но в общем были не тяжелыми: каждый должен привезти по возу сена и по одному-два пудовых туюска овса. Свезли и удивились: за один день в сен-

ник хозяина сложили больше семидесяти воев сухого, зеленого, как лук, сена, а в амбаре выросла целая гора овса!

Люди аула вначале удивлялись тому, что Аллаяр заготовил кормов для скота раз в пять больше, чем нужно, — ведь скотины у него осталось от отца не так уж много. Секрет открылся скоро: когда выпал первый снег, конюх Аллаяра погнал к Ситъелге на водопой вместо прежних трех коней целых пятнадцать! Они появились в его дворе так же, как и он сам: бесшумно, неизвестно откуда, в одну ночь.

Откуда-то вдруг прибыли незнакомые люди и стали что-то проверять во дворе Аллаяра. Но ничего подозрительного не нашли. На каждую лошадь у хозяина была купчая бумага с печатью.

— Может быть, помните — увел я от отца трех лошадей, свою долю. Они-то и размножились. Пришлось, правда, и мне около них похлопотать... И кроме этих у меня есть еще лошади...

Только это и твердил каждому, кто прямо или окольным путем хотел докопаться до источника этого богатства. И пошли по аулу слухи. Будто Аллаяр, покидая двор отца, краснея от стыда, поклялся: «Если я, взяв этих трех лошадей, не увеличу табун в десять раз, если честным трудом не наживу богатства больше, чем нажил отец, — ни за что не переступлю больше родной порог!»

— Жаль, отца не застал в живых... — сочувственно вздыхали в ауле.

Во всяком случае, с каждым днем станови-

лось яснее: вернулся этот егет в родные края не с пустыми руками.

Вот, правда, что еще было странно: как съездит Аллаяр — сначала на какой-то базар, в степных краях, а затем за Агидель, на базар, что собирается в горах, — так половина лошадей в его деннике обновляется. Не увеличивается табун и не убывает — всего лишь обновляется наполовину!

Когда наступила весна и закончился сев — как раз перед сенокосом, — он расширил свой двор за счет соседнего дома, который увезли в другое место. И наново огородился, да таким забором, что и самому высокому человеку не увидеть, что творится внутри.

А топоры и пилы так и стучали не переставая! Крытые тесом на русский образец ворота нет-нет да и распахнутся, и во двор, смотришь, вползает длинная, с роспуском, телега, груженная сухими, как кость, сосновыми бревнами, доставленными на плотях с верховьев Агидели. В ауле даже привыкли к сладкому запаху смолы. Но все же опять удивил людей Аллаяр. Над забором против старого дома поднялся новый сруб и быстренько оперился, стал домом — побольше и покрасивее старого. Это был первый в деревне дом, крытый железом. Крышу его покрасили так, что глаз не отведешь, — в зеленый цвет, а ставни — в голубой. А уж узоров наплели — и по карнизу, и вокруг окон!

Поблек, потерялся рядом с ним старый Аптелгалимов дом... В нем Аллаяр разместил своих работников.

Удивленные соседи только и спрашивали Аллаяра:

— Где же ты мог раздобыть такое богатство?

На что он отвечал:

— Без причины и дитя человеческое не появляется.

Бабы терпели-терпели, да и принялись чекать языки:

— Бай-то наш — все наживает да наживает богатство. А насчет женитьбы и не думает. Ведь в летах уже...

— Долго среди русских жил. Обрусел. Ведь говорили же в старину: «Если русский богатеет — строит дом, если башкир богатеет — женится».

— А старостина Гюльсагура все вздыхает. Скоро желтеть начнет.

— Так не зря же, наверно, болтают, что у него в Оренбургской стороне русская марья есть, только он не привозит, боится — проклянут. Эта марья будто у татарского бая живет, учится по-татарски говорить. Привезет ее как татарку.

Наверно, весь женский пол в этом отношении одинаков: хоть и знают, что от свадебного туя им не перспадет даже чашки чаю, все равно ждут этого события с нетерпением. Хотя бы для того, чтобы услышать рассказ о свадьбе и передать его другим. Скучно ведь им в ауле, куда редко проникают интересные новости.

И что же — дождались ведь! В дом старосты явился сват. Как исстари завсдено, о приходе его знали заранее и встретили как полагається, с угощением. После этого втащили в дом старосты тэпэны — бадьи, долбленные из цельного ствола дерева, — с маслом и медом.

А на них положили кошельки с серебряными монетами. Это выкуп за невесту. С Оренбургской стороны прискакали на конях, так и рвущихся на дыбы, дружки жениха — одни одеты по-башкирски, другие по-татарски, третьи — по-русски.

Опять повезли в дом старосты бочки с медовухой и подарки для невесты. Чего только там не было — отрез бархата для бешмета, черный парчовый елэн, шелковые шали с кистями, «американская ката» — глубокие кожаные калоши, расшитые бисером; нагрудные украшения, унизанные кораллами и серебряными монетами. А уж разных ситцев — и не сосчитать, сколько аршинов. Много разного добра послал Аллаяр родителям Гюльсагуры и всей их многочисленной родне.

После куренеша, когда родня с обеих сторон собиралась, чтобы осмотреть и оценить подарки жениха, определили день туйя. И все состоятельные люди аула стали готовиться к свадебному меджлису. Были вытащены из сундуков суконные елэны, бешметы, лисьи шапки, валенки, расшитые узорами. Из всего этого как следует выбили пыль.

В торжественный день свахи надели платья с оборками, на них — расшитые позументами камзолы, сверху — елэны. На головах у них — кашмау — головные уборы, пришедшие из глубокой старины; в волосах — сулпы, накосники с серебряными монетами. Монеты звенят у них и на груди: в одном ряду рублевые, ниже — пятидесятикопеечные, а там — по двадцать и десять копеек. Звенят монетами и тяжелые ожерелья. Сколько дней ни продолжался бы свадебный туй, сколько бы часов ни

длился меджлис, сколько бы ни пили гости и как бы отчаянно ни плясали, — ничто из этих украшений не будет снято.

И вот начался туй. В почетную половину нового дома прошли и уселись сваты и пожилые гости, аксакалы. Меньшая половина зазвенела серебром монет — там собрались женщины. Старый дом заняли молодые мужчины со своими женами, парни и девушки.

Вдруг — в одну и ту же минуту — в обоих домах установилась тишина. Умолкли все — и тогда в почетной половине нового дома заунывно, человеческим голосом запел курай — башкирская тростниковая флейта. Один из гостей, с лицом, похожим на хорошо пропеченный румяный каравай, проведя рукавом по губам и откашлявшись, затянул:

Чирикая да почирикая-аа, сизый жаворон-о-ок
Поднимается к небу спинкой...

— Хо-о-ой! — подхватили все и дружно закончили:

Будем же есть и пить, играть и веселиться —
Что нам дни золотые впустую теря-а-ать!

— Афарин! Прекрасны твои слова! Продолжай!

И певец, поощренно сияя, залился:

Спое-оом же лучшую из песен,
А сплетни про баев не бу-у-удем разводить!
Ведь если не будем мы сплетни про баев, гей-гей,
разводи-ить,

Все попадем на том свете в рай!

И посыпались в адрес «бая» — жениха хвалебные слова: хорошее угощение поставил!

А до чего же боек был в молодости! Рассмеялись, вспомнив его проделки, — и тут же песня пришла на кончик языка:

Надев волчью шубу, верхом на караковом аргамаке
Бьет волков молодой наш ба-а-ай!..
Стоит на ногах, не сядет, гостей угощает
Учтивый, примерно воспитанный сын своего отца-а-а.

— Хо-о-ой! — подхватили гости. — Что касается волков, то наш Аллаяр-азамат побил их достаточно!..

— Во всей округе, пожалуй, не было равного ему...

— Теперешние не то... перевелись настоящие охотники... — перебивая друг друга, нахваливали щедрого хозяина.

Тем временем кто-то открыл да так и оставил дверь, разделяющую дом на две половины. У женщин тоже пели:

Пока гнедой в стойле, ветер не утихнет,
Пока ветром не продует, туман не растает,
Пока песню вам не спела, сердцу нет покоя...

— Хо-ой, свашеньки вы мои! — закричали хором все, и тут же расплакалась, запричитала одна, — кажется, сестра мачехи Аллаяра:

— Ай-ай, род наш! Чуть не весь перевелся...

Десятки женских голосов принялись ее утешать. И вдруг этот хор сам по себе выстроился в песню-причитание:

Два желтых да один каурый —
Их не пустишь иноходью по дороге...
Слова судьбы, что у тебя на лбу,
Эх, не сотрешь их, не сотрешь рукой...

Тут кто-то из женщин зажал в губах медную пластинку — кубыз, ударил по ней пальцами, и раздался дрожащий, с подвывом голос этого инструмента. С визгом и гамом, выкрикивая частушки, все пустились в пляс.

А в старом доме давно уже все ходило ходуном, доски пола гнулись, стекла в окнах дребезжали.

Эх, куча, куча, куча,
Муравейничек лесной!
А кто ж это к нам подходит,
Не минует стороной?..

Оказывается, Аллаяр уже перешел в эту компанию, его окружили и заставили плясать.

Гости, прибывшие из Оренбургской стороны, сначала сидели в большом доме, с аксакалами. Но и они, один за другим, вышли — будто подышать свежим воздухом — и постепенно перебрались сюда, к молодым. Тут хоть можно крутануться так, что дрогнут огни свеч, топнуть и замереть перед девушкой, вызывая сплясать.

Когда перевалило за полночь, вся компания смешалась. Сначала сошло на нет разделение на мужскую и женскую половины, а потом все, кто веселился в старом доме, вместе с гармонистом и скрипачом ввалились в новый дом — к аксакалам. Вдруг куда-то исчезли парни из Оренбурга. А потом дверь распахнулась настежь, и один из них въехал верхом на коне прямо в горницу. Все отпрянули к стенам, женщины завизжали. Заиграла гармонь, и под гиканье оренбургских егетов всадник поставил на макушку своей лисьей шапки бутылку водки, а конь повернулся вправо и влево — он танцевал! Потом всадник снял бу-

тылку с головы и, не глядя, бросил назад — прямо в девушек, стоявших у печки. Те ахнули, закрылись руками, а товарищ всадника, тоже не глядя, на лету поймал бутылку одной рукой. А конь все продолжал плясать! Ему сунули в рот кусок сахара и выпроводили, ласково похлопывая по крупу.

Гости стали расходиться по домам лишь после вторых петухов. А туй продолжался еще целую неделю. Все начальники, турэ и баи, до которых можно было добраться на коне, были приглашены, никого не миновало свадебное угощение.

Позднее выяснилось: тот, чей конь танцевал на свадьбе, был, оказывается, сыном известного в оренбургских краях торговца лошадьми. А остальные четверо — агенты этого торговца или компаньоны. Аллаяр тоже был одним из таких людей, чуть ли не правой рукой торговца.

Один из этих агентов даже присмотрел себе в Утекэе невесту — дочь муллы. К весне и ее после такой же шумной гульбы увезли из аула.

Стал постепенно понятным смысл невиданной щедрости, с которой Аллаяр провел свадьбу. Отец невесты — староста, перед ним дрожит весь аул. Теперь он — тесть Аллаяра. Отец девушки, которую увез сын торговца лошадьми, — аульный мулла. В общем, «подмазана» вся окрестная власть, все, кто, как говорится, имеет не только язык, но и зубы.

Теперь в открытую потекли через крепко огороженный двор Аллаяра табуны лошадей. Не был глубоким секретом и тот источник, откуда они брались. Разрастались они странным

образом — в дороге. Где-то в дальних местах выгонят Аллаяровы люди пяток голов, а пока доберутся до Утекэя, получается табун. Постоят денек у Аллаяра, а ночью переправляются через Агидель — в горы.

Гюльсагура родила мальчика. Хотя ему и дали имя Муллаян, что означает — «с душой муллы», рос он злым, непослушным. Аульным мальчишкам проходу не давал. Одному нос расквасит, другому так рубаху изорвет, что смотреть страшно. Особенно же умел словом обидеть. А вот ученье ему не давалось.

Как подросток — стали его руки, как говорят в Утекэе, мелькать среди работающих рук. Отец не давал бездельничать — вместе с батраками ни свет ни заря стаскивал с постели.

Постепенно Муллаян привык к отцовской узде — рос человеком, знающим цену тому, что приобретается. Только нрав его не менялся. Отец насаждает на сына, а сын вымещает зло на батраках и их детях — завел такую привычку.

В том году, когда началась германская война, отец женил Муллаяна, еще не достигшего восемнадцати лет. Но жить своим домом не отпускал — и рта не давал открыть. Видел, что на второго сына, Латипа, надежды мало. Этот Латип с самого рождения начал болеть, капризничал, ходить не мог до трех лет, а говорить научился и того позднее. Уже егетом стал, а речь все еще была бсстолкова.

Женил отец Муллаяна и в тот же год велел построить для него новый дом — на месте жилья для батраков. А старый перенести поглубже — впритык к скотным сараям.

Сам же Алляяр все больше стал интересоваться газетами. В ту еще пору, когда пропал в Оренбургской стороне, хорошо научился русской грамоте. В ауле был единственным человеком, выписывающим газеты, умеющим читать даже русскую. Читать-то почитывает, но о том, что написано в газете, ни слова никому не говорит. Читал, задумывался, словно наматывал на ус газетную премудрость. Домашние заметили, что свои самые основательные распоряжения по хозяйству Алляяр стал делать сразу же после того, как, хмурясь и потирая лоб, посидит часа два с газетой в руках.

Еще дольше стал он задумываться над газетами в семнадцатом году...

II

В начале марта семнадцатого года, когда на улице неистово дул снежный буран Акмантукман, о котором говорят в народе: «Акмантукман бушует шесть дней, а равен шести месяцам беды», — в это-то время однажды утром жители Утекэя, как всегда, услышали крик муэдзина — его утреннюю молитву — азан, доносившуюся из окошка минарета.

Прокричав слова повседневной молитвы, муэдзин сквозь порывы ветра возвестил аулу о том, что Алляяр, благородный и благодарный сын своего отца, созывает людей на молебен в память хаджи Аптелгалима и этим совершает священный акт, достойный истинного мусульманина.

Во дворе Аллаяра после молитвы, которую пропел мулла Гайфулла в честь души высоко-

чтимого хаджи, шахитом ушедшего в мир иной, торжественно зарезали заранее откормленную жертвенную корову.

Больше всего хлопот досталось в этот ненастный день женщинам из дома Аллаяра и приглашенным помогать соседкам. Плавно покачиваясь под тяжестью коромысел, они таскали в ведрах на реку внутренности зарезанной коровы и там в проруби полоскали и разделявали их. К концу работы их онемевшие руки даже перестали чувствовать боль. Но не было слышно ни единого слова жалобы — все были серьезны и молчали. Женщины тоже были участницами священного ритуала.

Лишь приемная дочь Аллаяра Салима, быстрая и смышленная девочка-сирота, иногда нарушала молчание — все приставала с расспросами к молодой красивой Гюльюзюм, жене младшего сына Аллаяра — Латипа:

— Енге! Все говорят, что дед умер шахитом. А как это умирают шахитом?

Гюльюзюм приподнялась над прорубью, поправила край пуховой шали, упавшей на дуги тонких, черных бровей. С ласковой улыбкой посмотрела на свою тринадцатилетнюю подругу:

— Шахиты... Это счастливые люди... Ну, которые умирают, совсем-совсем очистившись от грехов... — в улыбке Гюльюзюм сквозит отенок мечты. — Шахиты попадают прямо в рай, они не проходят через Сират-купере.

— А что такое Сират-купере?

Не прекращая прополаскивать кишки жертвенной коровы, Гюльюзюм терпеливо отвечает Салиме:

— А это — мост через бушующий пламенем ад. Он тоньше волоска и острее меча. Все, кто умер, проходят по нему. У кого много грехов, тот падает и вечно горит в аду...

Черные смородины глаз Салимы будто увеличиваются от страха.

— Ой... А как же они не сгорают? Дрова ведь в печке...

Вмешивается соседка:

— А потому... Грешники сверху горят, а изнутри все время растет свежее мясо. Чтоб вечно горели за свои грехи.

— Наш дедушка умер как хаджи. Поэтому он шахит, да?

— Да, красавица моя, да. Дома вдоволь наговоримся, сейчас не до того...

Но соседкам хочется продолжить этот разговор о таких страшных вещах. Уж очень хлещет ветер со снегом — все быстрее время пролетит.

— Не только хаджи умирают шахитами. Вот твой названный отец Аллаяр — он тоже заранее готовит себе шахитскую смерть. Вон какую огромную корову для курбана зарезал! Все грехи смыл! На том свете на спине этой коровы, как на аргамаче, вмиг проскочит Сират-купере и попадет в рай, прямо в объятия хур кызы.

Представив себе, как тучный пятидесятилетний Аллаяр с ходу попадает в объятия юной красивой хур кызы, все разом хихикнули, уткнув рты в рукава, не вынимая красных, как гусиные лапы, рук из проруби. И тут же осеклись, оглянулись в испуге, хоть и знали, что, кроме них, в этом непроглядном буране нет ни одной души.

— Шахитами становятся еще дети, умершие в невинном возрасте, — проговорила одна из женщин и тяжело вздохнула.

— А еще — погибшие на войне, — с грустью добавила другая, тоже молодая. — И мой, наверно, уже там... С хур кызы... Меня-то давно забыл. Написано ведь, что там забывают, что было при жизни. — И разрыдалась: — А я тут... с маленькими...

Задумалась и Гюльюзюм, даже побледнела... «А сколько грехов накопилось за семнадцать лет у меня?.. Попаду ли я в рай? Нет, не попаду, есть, есть грех...» Она вздрогнула.

Еще задолго до замужества она полюбила чужого мальчика. Это было в ауле Тукей, она жила тогда у своих родителей, а дом их стоял неподалеку от большого медресе, и туда съезжалось множество шакирдов. И был там мальчик... Худенькая молчаливая Гюльюзюм только смотрела на него. Специально приходила в дом халфы Валиуллы, у которого шакирд Садрислам жил в самоварщиках, и смотрела из угла, рассеянно перелистывая книгу, взятую с полки учителя. Вот и все... А потом ее просватали в тот же аул, где жил Садрислам, в Утекэй. Выдали за Латипа, младшего сына Аллаяр-бая.

И, будучи уже женой Латипа, она вспомнила о Садрисламе. Сейчас нет его в Утекэе, на войну ушел, но ведь вернется. Грех, грех какой...

Горница ждала гостей. Вдоль всех четырех стен на полу были разложены свернутые в трубку и сплюсненные узорно простеганные ватные одеяла. Там, где должны восседать мулла и муэдзин с другими почетными гостя-

ми, были кроме одеял брошены взбитые пухлые подушки.

Вот собрались и гости. Сначала в горнице шел негромкий мирный разговор. Потом наступила тишина.

— Бисмиллахи р-рахман р-рахим! — вдруг громко запел мулла Гайфулла.— Агуде билла химна шайтан р-рази-им!

Долго читал никому не понятные арабские слова, то повышая голос, то снижая до шепота. Все слушали затаив дыхание. Слушала на кухне и Гюльюзюм, боясь даже шевельнуться, хоть и не понимала ничего.

Вот наконец мулла закончил чтение Корана. Вслед за ним, закрыв лица ладонями, гости зашевелили губами — молились. Хором завершили: «Аллахиакбар» — и неторопливо стали есть жирную кулламу. Потекла мирская беседа.

Тут и начал Аллаяр свой полный скрытого значения и странных намеков разговор, ради которого, похоже, он и собрал такой высокий меджлис:

— Достопочтенные миряне! Ямагат! Всегда я держал с вами совет во всех своих делах — мирских и духовных. Никогда в своей жизни, сами знаете, не обидел ни одной живой души. Свидетель тому аллах. Не в обиде от меня и храм божий — мечеть.

— Истинно, истинно так! — зашумели гости.

— Пришла пора и мне отвлечься от греховных мирских забот и подумать о своем месте на том свете...

— Бэрэкалла! — мулла, как всегда, выражал одобрение в возвышенных словах. —

Жизнь на этом грешном свете дана человеку только для его испытания.

— Истинно, истинно, хазрет! ¹

Помолчав, чтобы не подумали, будто он позволил себе прервать наставления муллы, Аллаяр растроганно продолжал:

— Не дает мне покоя душа почтенного моего отца. Его высокий дух требует, чтобы я поскорее избавился от мирской суеты и не гнал больше за суетным богатством, не шел на поводу у нечистого искушителя Иблиса. Устал я от всего этого. Буду теперь искать утешения не на гумне и не на скотном рынке — только в мечети и на намазлыке...

Голос Аллаяра дрогнул. Наступила глубокая тишина. Гости перестали есть, даже не жевали то, что было во рту. Из полураскрытой двери отчетливо донеслось всхлипывание Гюльсагуры — жены хозяина.

Весть о решении Аллаяра так основательно переменить свой образ жизни поразила не только жителей аула. Разговоры об этом пошли далеко за его пределами. Аллаяр щедро одарил мечеть, муллу и муэдзина. Раздал хаир — подаяния сиротам. Табуны лошадей и другой скот Аллаяра, составлявший добрую половину аульного стада, — все исчезло. Бай распорядился угнать и лошадей и скот в далекие богатые места, и там эта живность была превращена в менее объемистые и хлопотные вещи из золота и серебра, которые не просят

¹ Хазрет — обращение к высокому духовному лицу.

день и ночь еды, не ржут, не мычат и не усти-
лают двор кизяком. Позаботился Аллаяр и
о том, чтобы эти блестящие вещицы были
спрятаны подальше от аула, чтобы их шайтан-
ский блеск не мешал ему общаться с всевыш-
ним.

Сократив хозяйство, старший Аптелгали-
мов резко уменьшил и число работников.
Правда, особенного усердия на тропе мечети
Аллаяра не проявил. Но к лету и особенно к
началу зимы семнадцатого года его хозяйство
почти ничем не отличалось от тех дворов, где
от зари до зари трудились расторопные и тол-
ковые мужики среднего достатка.

В начале лета девятнадцатого года, когда
белые в последний раз, отступая, проходили
через Утекэй, Аллаяр очень вовремя куда-то
пропал из аула — чтоб не забрали лошадей.
Когда вошли красные, вовремя же, вместе с
народом, встретил их. Здесь, в толпе своих
аульчан, он и по одежде ни от кого не отли-
чался.

Между прочим, те восемь лошадей, кото-
рых он прятал от белых в лесу Кузбеляк, он
сам и привел. Пять из них было без жеребят,
и Аллаяр, даже не охнув, запряг их красным
в обоз. К тому же с одной из этих лошадей
он отправил и своего Муллаяна, хоть тот и
упирался. «Поезжай, поезжай! Это же наша,
своя Красный Эрмие!» — слышали все его
голос как раз в ту минуту, когда обоз, окру-
женный возле мечети толпой провожающих,
вот-вот должен был тронуться.

Вернулся Муллаян в аул самым последним
из всех, кто отправлялся с обозом. На шапке
у него краснела нашитая наискось лента. Он

был подпоясан широким ремнем, на ремне висела блестящая кобура, а в ней — самый настоящий наган, правда, без патронов. Ходил прихрамывая, а тем, кто обращал внимание на это, приспустив штаны, показал и белую повязку на ляжке. Рассказывал, что при взятии Уфы большую помощь оказал красным. Сел верхом на сивого жеребца, которого запряг в обоз, и одним из первых, размахивая шашкой, ворвался в город. А наган подарил ему на память самый большой командир. Хотел было Муллаян и совсем остаться в Красной Армии, гнать врага дальше, да вот пуля угодила прямо в ляжку, насильно отправили домой.

Те, кому пришлось побывать на войне и повидать кое-что, чесали затылок. Но большинство поверило. Некоторые даже рассказывали, с добавками от себя, о героических делах Муллаяна. «Все, все может быть, ведь он такой отчаянный малый!» — к такому выводу пришли в ауле.

Все это подняло авторитет Аптелгалимовых. Да и лошади — четыре из пяти отправленных с обозом — вернулись невредимыми в их конюшню.

III

На самом горбу сырта Шишме-башы появился невысокий сухощавый человек в старенькой солдатской фуражке, в выгоревшей на солнце гимнастерке и в таких же бесцветных галифе, заправленных в запыленные сапоги. Он нес под мышкой шинель, заметно

хромал, сильно налегал на палку. Увидев внизу растянувшийся вдоль реки аул Утекэй, хромой солдат остановился около кучи сухой полыни, оставленной здесь после прошлогодней прополки. Бросил на полынь шинель и легонький заплечный мешок. Сел и сам — отдохнуть — и долго осматривал лежащий у его ног аул, проходясь взглядом из одного его конца в другой. Задумался, переломив жесткие и щетинистые, как ячменный колос, рыжевато-черные брови. Улыбнулся, опять погрузился. Даже когда увидел дом, в котором родился и вырос, не вскочил, не бросился вниз. Видно, этот двадцатидвух-, а может, и двадцатитрехлетний солдат уже научился сдерживать свои чувства.

Словно бы проверяя, все ли на месте, он из-под ладони окидывал взглядом родные места. Справа, за лугами Агидели, как и прежде, синевато-зеленой полосой тянулся лес, а дальше туманились несколько горбов — Уральские горы.

Да, все на старом месте — и гора Назыкай так же отлого поднимается за аулом, и гора Караул, чуть-чуть левее, зияет черной пастью пещеры. Рядом — гора Кыяюл, косо рассеченная чуть заметной ниткой дороги. Два года назад, когда Садрислам в первый раз возвращался сюда, — уже тогда ему показалось, что лес Кузбеляк вроде бы отступил от аула. А сейчас, побывав на чужбине лишь немногим больше года, он сразу заметил: берега Ситьелги совсем стали голыми. А ведь совсем недавно там буйно росла ольха, а осокори стояли такие толстые, что можно было из них рубить дома.

Это все бедствия военного времени. Лошадей нет, народ обессилел. Видать, пошла на дрова урема, когда-то шумевшая по берегам Ситъелги. Ведь пока Садрислам воевал, и здесь, по его аулу, четырежды прокатился фронт... Прошлым летом сожесточенными боями прошли наступающие белочехи. А в начале зимы, гоня их назад, пронеслась Красная Армия. Нынче, в марте девятнадцатого года, через этот аул прошли к Стерлитамаку колчаковцы. И всего лишь неделю назад гремело здесь сражение — красные сломили белых и погнались за Агидель, в горы.

Все вокруг Садрислама по-весеннему голо, неприглядно. Леса только лишь начинают зеленеть. На полевых межах, расчертивших весь горб Шишме-башы на клетки, сквозь кучи сухого сорняка пробились слабенькие ростки травы.

Невеселой, полной тревог была для крестьянина весна девятнадцатого года. В первые же дни марта вдруг потеплело. Снег быстро растаял, реки поднялись, вышли из берегов. Не понравилось это старикам. Так и приговорили: нечего ждать добра от такой весны. И догадки их оказались верными. Весна выдалась холодной и какой-то неустойчивой. Сначала целыми днями шел дождь перемежку со снегом. Потом перестал, и люди подумали: «Слава аллаху». Но тут ударили заморозки. Днем и ночью стал дуть пронизывающий северный ветер. Особенно худо пришлось скотине. В былые времена ее уже выгоняли, могла хоть размяться, понюхать оживающую землю. А нынче — толкаясь в хлеву, грызла плетень. Когда истощенные животные

начали валиться с ног, козы и коровы пошли под нож — это были кости да кожа с линяющей шерстью. Надежда крестьянина на суп из борщевника, забеленный катыком, не оправдывалась — долго пришлось ждать травяного супа...

Но все же люди высеяли на своих клочках земли ту малую толику семян, что берегли с прошлого года. У кого сохранилась лошадь — бороздил землю сохой, у кого не было — вскопали лопатами. Все под дождем да под снегом.

А природа будто только этого и ждала. Дожди как обрезало, и подул горячий сухой ветер, горизонт покраснел от облаков пыли. Началось жечь, палить — и ростки, не успев пробить землю, засохли...

Над клетками полей на взгорье Шишмебашы, крутясь и изгибаясь, медленно движутся темно-коричневые пыльные столбы. Посмотреть на них со стороны — и то страх берет. А для крестьянина это знак большой беды, основная примета засухи. Эти вихревые столбы поднимают к небу все, что попадает на пути, и рассыпают на другом месте. Пронесясь над полем, иссушенным в пыль, они как насосом втягивают почву вместе с посеянными зернами и уходят, оставив чисто подметенное место.

Тронул ветер и Садрислама, погруженного в думы. Заставил наклониться вперед, прижать рукой выцветшую фуражку. Вихрь окатил его пылью, обсыпал прошлогодними сорняками, полевым мусором. Подхватив шинель, поднял, развернул, как крылья, и растелил на другом месте.

Унесся вихрь, и хромой солдат долго смотрел ему вслед. Он был крестьянином и хорошо знал, какую беду несут хлеборобу эти гуляющие по полям вихри, эти «пэрневы свадьбы», как их прозвал народ.

Шарифулла с Хаирзаманом уже полдня сидели у ворот при въезде в аул.

В базарный день через Утекэй проезжает много людей из других аулов. Сторожить ворота при въезде в аул — давний обычай у мальчишек. Перед каждым проезжающим они широко распахивают ворота — это называется открыть «акулсу». С телеги бросают мальчишкам за это несколько конфет или пряников, а то и калач. Эх, какая борьба, какой шум тут поднимается! Если пряников и конфет брошено столько, что достается каждому, ребяташки дружно кричат вслед проехавшей телеге:

— Спасибо! Будьте богатым!

Ну, а если возвращающийся с базара бросит мало, его провожают разноголосым кошачьим концертом. Голодны ли, сыты ли — аульные мальчишки всегда гурьбой дежурят у ворот.

Сегодня здесь никто не шумит. Некому и пожелать богатства. Во-первых, здесь только двое — Шарифулла с Хаирзаманом. Да и базарная дорога в последнее время отошчала, почти замерла совсем. Утром «марья» — русская женщина, шедшая пешком, дала мальчишкам по куску хлеба. Затем какой-то агай из соседнего аула остановил лошадь, разде-

лил между ребятами горсть мелких семечек. Вот и все. Настроение мальчишек постепенно падало.

— Вот еще одна пэриева свадьба несется! — Шарифулла с тревогой показал на сырт Шишме-башы. Широко раскрыв глаза, оба стали наблюдать за черным колеблющимся столбом, который медленно двигался через поле.

— Ты слышал? — шепнул Хаирзаман.

— Что?

— Хусаин-агай говорит... будто внутри этого столба полно пэри и шайтанов. Бесы да черти. Пищат, музыку играют, — в общем, свадьба. А если человек им попадет, повыворачивают руки и ноги и бросят. Иной, говорит агай, может и слепым остаться. Или глухим...

— Бывают среди них и хорошие пэри, — заметил Шарифулла. — Бабушка Сакина-эбей говорит, что пэри, живущие в мечети, приносят человеку только пользу. В одном ауле, говорит, бай — вроде Аллаяр-бабая — выгнал своего работника и ничего ему не заплатил. Мечетные пэри, сам понимаешь, рассердились, собрались все вместе в столб, такой вот, как эта свадьба. Закрутились, прилетели и снесли крышу на амбаре этого бая. И закинули в другое место. А потом вернулись, мигом всосали все зерно, что было под крышей, унесли и высыпали прямо перед крыльцом работника, которого бай прогнал!

— Во-он!.. Вон идет! — закричал Хаирзаман, широко раскрыв глаза и вцепился в руку товарища.

Со стороны Шишме-башы, крутятся и выгибаясь, прямо к воротам быстро шел пыльный вихрь.

— Айда, убежим!

— Нельзя! Догонят — это еще хуже.

— Ай, подходит уже! Под плетень ложись, под плетень!

— Держись покрепче!

— Глаза, глаза закрой!

Припав друг к другу, мальчики вцепились в плетень, прижали головы. «Ижжи-и-у, ижжи-и-у!» — запели, засвистели пэри, ударили по ребятишкам. Было совсем не больно, руки-ноги выворачивать не стали. Только пахнуло степным запахом, осыпало спины и уши мелкой пылью и мусором. Лизнуло сухим теплым языком.

Боясь открыть глаза, мальчишки долго еще сидели под плетнем. Потом осмелели, поднялись и... опять схватили друг друга за руки, затряслись. Там, где пронесся вихрь, у ворот стоял пэри, точь-в-точь как настоящий человек. Даже и не подумаешь, что выпал из «пэриевой свадьбы!» Все на нем солдатское, за плечами мешочек, в руке простая палка.

Пэри в человеческом образе засмеялся, голос у него был очень знакомый:

— Что же это вы тут лежите? А акулсу кто мне откроет? — и сам открыл себе ворота.

Хаирзаман совсем ослабел от страха. Этот пэри принял образ самого близкого ему человека. «Из могилы выбрался...»

А тот поднял брови, широко раскрыл глаза:

— Бэй, бэй! Не ты ли это, родной мой Хаирзаман-туганым?! — и крепко обнял. — Даже не узнать тебя!

А потом отбросил палку и другой рукой притянул к себе Шарифуллу.

— А ведь ты, по-моему, сын Файзуллы-агая Шарифулла!

— Садрислам-агай! — завизжал Хаирзаман. — Это правда ты? Правда? Ведь говорили же, что ты умер...

— Я, я, самый настоящий, — и Садрислам погладил его по нечесаной голове. — Умер, говоришь? Не-ет, умирать я и не собирался!

Пожелтевший кусок сахара, который Садрислам достал из мешка, оказался очень сладким и окончательно развеял остатки сомнений в ребячьих душах. Оба, перебивая друг друга, напали на солдата с расспросами. Садрислам ответил коротко:

— Вот придем домой, там все и расскажу.

А сам так и припал к ним с расспросами — о здоровье родных...

Шарифулла, конечно, побежал вперед: чтобы получить суюнсе — подарок за радостную весть.

— Сафура-эбей! Садрислам-агай домой идет!

— А-ах... — у Сафуры-апай подогнулись колени. Она так и присела на каменные плитки, уложенные перед крыльцом. — Что, что ты сказал, сынок?

— Приехал Садрислам-агай! Прямо на пэриевой свадьбе! У акулсы слез, сам видел!

— Не морочь мне голову, сынок, не заставляй меня бредить.

— Нет, нет, он! Живой! Только пэри ему ногу вывернули.

— Кит, кит! Прочь! — Сафура-апай за-

шептала молитву и, плюнув налево и направо, закрыла глаза.

И в самом деле можно голову потерять. Год назад, когда на аул вдруг нагрянули белые, ее сын, прыгнув на коня, ускакал в сторону горы Кыяюл. Четверо в лохматых папах пустились за ним в погоню. Началась стрельба. На третий день игрневая кобыла, наступая на поводья, одна вернулась в аул. На ее крупе глубокая рана кишела червями. И на седле, и на боках игрневой темнели пятна запекшейся крови. Когда тучу нашествия унесло и в округе стало спокойнее, Галиакбер-агай, сев на игрневую кобылу, три дня рыскал по лесным тропам. Но не только тело сына — и следов его не нашел.

— Куда же они, проклятые, дели моего сыночка? — причитала Сафура-апай. — Где же они лежат, дорогие его косточки — непогребенные, неоплаканные?

Целый год, то загораясь надеждой, то теряя ее, ждала Сафура вестей о сыне. Жила, как говорится, глотая огонь. А тут — надо же! — Шарифулла вдруг приносит такую весть.

Когда Сафура-апай пришла в себя, сам сын ее Садрислам, ведя за руку Хаирзамана, прихрамывая, уже входил во двор.

— Здравствуй, инэй!

— Сыночек, ты ли это?! — Сафура залилась слезами, припала к груди сына. — Может, это все мне привиделось?

— Я, это я, инэй!.. Успокойся, видишь же — жив я и здоров. Зайдем лучше в дом...

Они вошли, присели на край хике — деревянных нар, застеленных кошмой. Сафура-

апай провела руками по лицу, зажевала губами, благодаря аллаха за возвращение сына.

— А где же отец? — спросил Садрислам. — Как он — здоров ли?

— Ай-й-й! Вместе с твоим Файзуллоагаем только что побежали на нижнюю улицу. Вслед за сыновьями Аллаяра. Будто бы сын покойного Сабирьяна Тахаутдин украл их пестрого теленка и зарезал. Упаси аллах, отец твой ведь наверняка разнимать примется. Как бы и к нему руку не приложили. Этот Муллаян распоясался в последнее время. Глаза как у бешеной собаки — кровью всегда налиты...

Быстро поднявшись с места, Садрислам потянулся за своей палкой.

— Куда же ты, сынок! — Сафура протянула вслед ему слабую руку. Все еще боялась проснуться и потерять сына. Но палка Садрислама уже стучала по крыльцу, по камням — к воротам. Сын торопился, подпрыгивал на здоровой ноге.

...Полумрак. В очаге пылает огонь. Сильно пахнет вареным мясом. В переднем углу на хике лежит больная Малика, слабо постанывает. Тахаутдин ушел копать в огороде — собрался посадить срезанные картофельные верхушки, которые принес из русской деревни. Вернется и нальет матери в деревянную чашу — ашлау горячего бульону. Малика даже забыла, когда она в последний раз брала в рот мясо. Вот выпьет бульону, смотришь — и свободнее станет в груди, надеется она. Теплый мясной дух заставляет ныть десны, рот наполняется слюной.

Открылась дверь. Пузырь, которым затянуто окно, хлопнув, выпучился внутрь.

— Сыночек... Тахаутдин... Наверно, уже сварилось — поешь, — проговорила Малика, не поднимая головы.

— Какой еще тебе тут Тахаутдин! — рыкнул кто-то гортанно. — Ишь, воры! Мясо им понадобилось!

Больная Малика, вздрогнув, с трудом поднялась на локте.

— А-а... Не ты ли это, Муллаян? Здравствуй, туганым.

— «Туганым»! — захрипел Муллаян. — Не хватало еще стать другом ворам! Вон твои туганы, по лесам шатаются, грабят людей! — Он бросил на хике свежеснятую шкуру пестрого теленка, которую подхватил в сенях. Бросил и плюнул: — Оказывается, и ты науськиваешь своего, чтоб резал чужую скотину! Ишь, убырлы! Баба-яга!

Прогибая тонкие доски пола, Муллаян тяжело зашагал к котлу. Сбросив дощатую крышку, начал выгребать мясо в ашлау.

— Что это ты делаешь, туганым? — простонала, ничего не понимая, Малика. — О каком воровстве говоришь?

— Ишь, ведьма! Как будто ничего не знаешь!

— За что обижаешь? Это же теленок... Теленок, говорю, моего брата из Алайгыра. Он его нам давно обещал. «Выращу — и будет ваш», — говорил. А когда мы дошли вот... до крайности... Ох, когда дошли... тут Тахаутдин мой пошел и зарезал...

— Не ври, убырлы! Будто я сам не знаю свою скотину! — Оставив дверь открытой, Муллаян унес ашлау с собой. — Буребыу! — позвал во дворе. Вывалил полусырос мясо

своей огромной, с телка, собаке, которая всегда плелась за ним по пятам.

Во дворе заорали в несколько голосов. Послышалась хриплая брань Муллаяна. Отчаянно закричал Тахаутдин.

Малика задвигалась. Ее тело, состоящее из одних костей, грохнулось с хике на пол. Полежала в беспмятстве, потом поползла к двери, свесила голову через порог.

Во дворе полно народу. В центре возятся, толкутся, только не видно кто. Плотная толпа тревожно гудит. Кто-то, размахивая руками, хочет пробиться в центр. Его удерживают.

— Ямагат, миряне! — это Галиакбер-агай. — Давайте же хоть разберемся хорошенько!

Люди кидаются друг на друга, хватают за ворот.

— За вора заступаешься?

— Душу из тебя вытрясу!

Мир начинает кружиться перед глазами Малики. Разъяренная толпа то плывет в одну сторону, то поворачивается вверх ногами. Вдруг отчетливо увидела: Муллаян, захлестнув шею Тахаутдина ремнем, как-то непонятно подвешивает, поддергивает его. Странно движется, приседает около них Латип. Глаза старухи закрылись. В гаснущее сознание ворвался требовательный крик:

— Стой!

Гомон не унимался. Он как бы отходил вдаль. И совсем вдали, чуть слышно — прозвучал выстрел. Малика потеряла сознание.

Толпа, вдруг встрепенувшись, затихла. Круг раздался. У ворот, все еще нацелив в

небо наган, из ствола которого тянулся дымок, стоял солдат. Лицо его было знакомо всем.

Пока люди, оглушенные внезапным выстрелом, приходили в себя, откуда-то появился Аллаяр. Твердыми локтями расталкивая толпу, прошел в центр круга. Выдернул из рук старшего сына кнут со свинцовым шариком на конце. Латипу отвесил такую затрепину, что у дурачка из глаз брызнули слезы.

— Кто позволил?! Убьете ведь! Беспутные! — заорал, брызгая слюной, так, чтобы услышали все, и особенно — солдат с наганом.

Тем временем народ узнал Садрислама. Человек, которого уже год как считали отошедшим в объятия земли, стоял перед ними с наганом в руке. Будто гром ударил среди ясного неба. Кулаки разжались.

— Сынок!.. Садрислам!.. — Галиакбер-агай, по подбородку которого стекала струйка крови, бросился к сыну. Остановился, не веря глазам.

— Ну, ну, отец! Чего пугаешься — я это, я! Здравствуй! — Садрислам сунул наган в карман галифе и крепко обнял старика.

Избитый Тахаутдин неподвижно лежал в стороне. Его как будто забыли. Сбитые с толку люди постепенно приходили в себя, проталкивались к Садрисламу — поздороваться. Свояк Аллаяра Сафаргали, который только что размахивал над головой людей большой дубиной, потоптавшись, тоже протянул руку, но Садрислам ее как будто не заметил. Осталась незамеченной и протянутая к нему рука Аллаяра. Мелькнул в толпе Муллаян. Лишь

взглянул из-под нахмуренных бровей и отступил, поспешил скрыться.

— Вора, говорите, поймали? — медленно цедя слова, спросил Садрислам. — А кто, интересно, позволил вам устраивать самосуд? Разобрались хоть, в чем дело?

— Я-то даже не знал, — старший Аптелга-лимов горько поморщился. — Это же вот кто! Вот эти непутевые заварили кашу! Сорвались, побежали — нет чтоб отцу сказать! А потом — кто же любит воров? Вот и ямагат поддержал. Попробуй-ка останови...

В это время в воротах показалась младшая невестка Аллаяра Гюльюзюм. Закрыв лицо уголком белой шелковой шали, приблизилась к баю.

— Кайным! Ошибка, говорю, вышла... Пестрый теленок вернулся. Из Дуровки Емелька пригнал — приبلудился к стаду русской деревни...

Вскинув выгнутые дугой брови, молодая невестка незаметно метнула огненный взгляд на незнакомого солдата. Стоявшим близко показалось, что она чуть слышно охнула. Совсем закрыла лицо шалью и, держа прямо красивый стан, направилась к воротам, где ждала ее Салима.

И Садрислам, видать, что-то вспомнил. Повел глазом вслед молодой женщине.

Народ снова зашумел. Муллаян метнулся к Тахаутдину, который силился встать. Помог подняться. В этот момент Аллаяр заметил Малику, тело которой вяло свесилось через порог.

— Малика-килен! Сношенька! Ай-яй-яй... —

Он со слезами на глазах нагнулся к старухе и отпрянул.

Малика уже не была человеком этого мира. Ее легонькое худое тело, похолодев, начало коченеть...

— Инэй! — Тахаутдин бросился к ней. Люди опустили головы...

Через час в доме Тахаутдина уже распоряжались старики и старухи — готовили покойницу в последний путь.

Но каким ласковым, душевным стал вдруг Аллаяр! Принялся хлопотать, снарядил людей копать могилу. Послал за ломами двух своих сыновей вместе со свояком Сафаргали. По его распоряжению Гюльюзюм и Салима принесли в дом покойницы ведро простокваши, два больших каравая. А Латип пожертвовал пеструю курицу со связанными ногами. Сам Аллаяр, наведавшись в дом, опорожнил карман — высыпал на шесток печи горсть медных монет.

— Сынок Тахаутдин, это тебе на хаир. Раздашь на похоронах, ладно?.. Последняя свадьба твоей матери... Пусть уходит, не тая обиды. Что поделаешь — не умирать же всем вслед за покойницей.

IV

Семья Галиакбер-агая Имангулова была в Утекэе одной из самых бедных. Пятеро детей, а надел — всего на две души. Да еще половина этой земли сдана под посев богачу из Дуровки. Сам Галиакбер по году пропадал в этой русской деревне. И его Сафура, отличавшаяся особенной худобой, что ни зима — са-

дилась ткать для русских холстину. Когда ходила в Дуровку сдавать готовую работу, всегда приносила от хозяев обноски, из них шила рубашки и штаны для своих детей. Хоть и больно колют сердце иголки горя — смеялась: «Бедняку хорошо — зашьет дыру и радуется!»

Обзавестись коровой никак не удавалось. Все же привезли из Дуровки и корову — сена у русских было маловато, отдали корову на время в Утекэй. Конечно, не без выгоды: масло будешь носить в Дуровку, катык бери себе...

Когда старший сын, обзаведясь семьей, отделился, жизнь стала еще труднее. Потому что земля выделяется лишь мужчине. С сыном ушла половина надела.

С тех пор как Садрислам помнит себя, он вместе с матерью и двумя старшими сестрами работал на полях богачей в этой самой Дуровке: полел хлеба, вязал снопы. В затвердевших ладонях мальчика сидело множество заноз. На его ногах, изодранных стерней, не было места, где не чернели бы свежие струпы.

Но все же было у семьи одно-единственное, но немалое богатство: глаза отца разбирали письмо, мать тоже умела и читать и писать. На вечернее чтение молитвы к ним всегда собирались соседки, и Сафура нараспев читала им книгу «Фазали эш-шухур». Вряд ли слушательницы понимали что-нибудь, но всегда во время чтения всхлипывали...

С детских лет учила мать арабской грамоте и Садрислама. Заставляла наизусть повторять: «Эл-абсен, элэмгэ-сэкен...»

Но вот пришла пора ученья. Галиакбер-агай отвел Садрислама в медресе и, сказав: «Мясо тебе, кости мне», сдал его мулле.

Как раз в эти дни в ауле появился молодой халфа Валиулла Кулумбетов, окончивший какое-то большое медресе в самой Уфе. С первых же дней начались у него споры со старым муллой. А все потому, что учитель внес в медресе школьную черную доску. Увидев ее, мулла закричал: «Это то же самое, что внести сюда крест!» И велел немедленно выбросить выдумку кафыров. Доску то вносили, то выбрасывали. И все же, несмотря на помехи, в медресе началось преподавание и мирской грамоты.

Молодой халфа не только своими знаниями, но и по манере одеваться отличался от тех людей, которых Садрисламу приходилось видеть в медресе. Он носил черный пиджак и белую рубашку с черным галстуком. На голове — шляпа, на ногах блестящие черные ботинки. Говорили, что он будто бы печатал статьи в уфимских газетах. Это было похоже на правду — каждое лето халфа уезжал в уфимские края.

Садрислам оказался смышленным шакирдом, халфа Кулумбетов отметил это. «Из мальчика будет толк», — говаривал он. Как-то так получилось, что учитель стал навещать и в дом к Садрисламу. Понравилось ему беседовать с Галиакбер-агаем о мирских делах.

Но недолго пробыл Валиулла в Утекэе. То ли ужиться не мог со старым муллой, а может быть, медресе было слишком мало по его талантам и образованию. Словом, в одну

из весен халфа Валиулла переехал в аул Тукэй, что за рекой Агиделью. Там было большое медресе. Учитель посоветовал Галиакбер-агаю послать вместе с ним в Тукэй и Садрислама: «Будст жить у меня самоварщиком. Слишком нагружать не буду. Там он хоть поучится у настоящих, образованных учителей. Здесь ему делать нечего, сын у вас — способный мальчик».

Новое медресе и в самом деле не шло ни в какое сравнение с медресе в Утекэе. Сюда шакирды съезжались из далеких далей. И учителей было много. Халфа Валиулла попал в желанную среду. Он работал здесь как-то радостно, всегда с улыбкой. А своего самоварщика учил с особенным старанием. Так что вскоре Садрислам стал получать только высшие отметки — «имтияз». Дома Кулумбетов даже научил его немного читать и писать по-русски.

Через год на весенних экзаменах, для участия в которых съехали в Тукэй многие муллы, учителя и другие почтенные люди, Садрислам написал сочинение. Один приезжий мулла, прочитав труд шакирда, оценил его, написав по-арабски: «Бэрэкалла!» — что значит: «Весьма восхищен!»

Однако на этом «Бэрэкалла» и закончилось ученье Садрислама. Отец увез его в Утекэй. Выросшие две дочери Галиакбер-агая вышли замуж, и семье срочно нужна была опора.

В Утекэе мулла взял Садрислама в аульное медресе — халфой. Пока новый халфа работал, он и в самом деле кое-чем поддерживал семью, помог наладить хозяйство. Галиакбер-

агай купил тощенькую лошадь и корову, несколько голов коз и овец.

И вот когда Имангуловы на своей земле, впервые не сданной богачу из Дуровки, собирали урожай, который получился немалым, и везли его с поля, погоняя собственную лошадь, судьба опять подшибла их под коленку. Началась германская война.

Сразу же забрали старшего брата. Снова началась бесхлебица. И вдруг извещение: старший брат погиб. Еще не выплакали горе — проводили со слезами в армию и Садрислама.

Недолго муштровали его в учебной команде: повесили унтерские лычки, в вагон — и на фронт. Больше двух лет кормил в окопах вшей. Но и его нашла пуля — ранили в бок. Привезли в один из уфимских госпиталей. Здесь в феврале семнадцатого года и услышал он весть о свержении царя. А в апреле Садрислама отпустили для поправки домой.

Совсем разорился, захирел аул за годы войны — не узнать. И корова старика Галиакбера, их мелкий скот, и Садрисламова довольно приличная одежда — все ушло на базар.

Всего же удивительнее то, что цветущее хозяйство Аллаяр-бая тоже резко пошло на убыль. Солдат, уже успевший многое понять, сразу почуял: Аллаяр прибудняется. Хозяйство хозяйством, а сына от войны уберег. Ладно уж Латип — этот ни на что не годится. Но вот Муллаян — его ведь только щелкни, и кровь брызнет, — Муллаян почему остался, не поехал на фронт?

Весть об Октябрьской революции встрянула, пробудила аул, дремавший под навесом

леса Кузбеляк и видевший в своих снах богатую ниву и полный скотины двор. Все перевернула вверх дном. Каждый день — собрания, крики, шум. Садрислама выбрали начальником вооруженной дружины Бишкаинской волости. Всю зиму в аулах шли споры, хватали друг друга за грудь — спорили о земле.

— Значит, нищим землю отдадим?

— А что ж, и отдадим!

— Что же они с нею будут делать? Лодыри ведь сплошные!

— Теперь-то мир узнает, что такое настоящий голод!

— Что надо, то и сделают с землей. Работать будут!

С бедняками беседовали отдельно:

— Земля принадлежит тому, кто ее обрабатывает. Вот тебе дадим. Только знай паши и сей!

— Сил ведь нет...

— А вы все вместе! Безлошадные с лошадыными. У одного лошадь, у другого — плуг. На худой конец, временно сдай половину. А к будущей весне обязательно приготовься к севу. А то ведь опять лишимся земли...

Волостной комбед снарядил обоз в один из хлебных районов. Привезли зерно, раздали по мешку — на семена. Откуда-то пригнали и в долг раздали лошадей.

А что было в апреле — когда начали делить землю! В аулах крик, драки, даже резня. Но землю все же разделили — поровну на каждую душу. Тут же и засеяли. И вошло дружно. Вовремя приспели дожди.

Но у маленькой дружины Бишкаинской волости заботы не убавилось. Было в ней сорок три человека — все добровольцы. Так что их начальнику Садрисламу не каждую ночь удавалось поспать. Зато и кулакам спать не давали.

Здесь, в дружине, приняли Садрислама в партию...

А в июле восемнадцатого года вдруг пришло сообщение из Богдавленска: «Стерлитамак заняли белые». Дружина получила из уезда приказ: «Оружие спрятать, разойтись по аулам и принять меры самосохранения. Между собой поддерживать связь».

Садрислам верхом на своей игреневой кобыле, с винтовкой за спиной и наганом за пазухой ночью прискакал в Утекэй. Здесь он хотел дожидаться отступающих красных и уйти с ними.

Прошел день, минул второй... И на волость неожиданно нагрянул конный отряд белых. Привел его сын богача из Дуровки Митька Горохов. Окольными дорогами вырвался в тыл — не терпелось порубить тех, кто разорял его хозяйство.

Братишка Садрислама Хаирзаман первым увидел растянувшийся по склону Шишме-башы, летевший на деревню отряд. Садрислам прыгнул на коня и поскакал в сторону горы Кыяюл. Его увидели, пустились в погоню. У Назыкаевского овражка стали нагонять. Показалось — у самых ушей засопел конь преследователя.

Пули со свистом пролетели мимо. Садрислам обернулся и, кажется, узнал всадника, который быстро настигал его. Кто же это —

уж не сам ли Митька Горохов? Всадник в лохматой папаше на скаку поднял наган, прицелился в Садрислама. И Садрислам поднял наган. Умерив бег коня, поудобнее развернулся, прицелился как раз под папаху. Чуть раньше грохнул выстрел беляка. Пуля опалила бедро Садрислама. А его пуля оказалась более меткой — всадник, преследовавший его, медленно стал падать. Нога осталась в стремени, конь проволок его и, тревожно заржав, повернул назад. Преследователи остановились возле товарища. Спешились, стоя принялись стрелять.

Доскакав до опушки леса, Садрислам вместе с конем схоронился за дубом, выстрелил несколько раз. Еще один бандит в папаше, бросив винтовку, осел на землю. Проворный конь Садрислама пустился вскачь по дороге, пролегшей в мелкоколесье. Звуки выстрелов отстали, стихли совсем. Тут почувствовал Садрислам, что силы быстро покидают его. Сапог, наполнившись теплой кровью, отяжелел. Бедро одеревенело, стало как бревно. Перед глазами сгущался туман.

«Только не падать с седла здесь, в лесу. Упаду — пропал!» Садрислам припал лицом к холке своей игреневой, вцепился пальцами в золотистую гриву.

Долго носила лошадь своего хозяина, то теряющего сознание, то ненадолго приходящего в себя. Брела тихими тропами, а иногда и по бездорожью. Перед рассветом вышла на опушку — к большаку. И здесь обмякший седок мешком свалился в придорожную канаву. Игреновая кобыла, пофыркивая, долго топталась около него. Обмахивалась хвостом —

жгла рана на крупе. Потом, вздернув голову, насторожила уши. И, всхрипнув, затрусилась обратно по лесной тропе.

Очнулся Садрислам в телеге — он лежал на соломе, стиснутый двумя другими ранеными в шинелях. На одной из шинелей прямо перед глазами алела красноармейская нашивка.



На зеленом яйлэу Аптелгалимовых, расположенном как раз там, где обнимаются речки Ситъелга и Кузьелга, сегодня стоит особенная тишина. Сегодня здесь всего лишь трое: Гюльюзюм — молодая килен Аллаяра, Салима — его приемная дочь — и молчаливый работник Касим — юноша шестнадцати лет, живущий в байском доме тоже на правах приемного сына. Место Касима — там, где пасутся кобылы. А если и подойдет когда по какому-нибудь делу к войлочной кибитке — молчит, будто его нет.

Гюльюзюм и Салима сегодня тоже работают молча — каждая будто сама по себе. Дела хватает. Сначала — рано утром — они убрали кибитку и перемыли всю деревянную посуду для кумыса. Уже четыре раза Касим пригонял кобыл, и подруги, подоив их, собрали и заквасили целый батман молока.

Вот Касим пригнал еще двух кобылиц. Гюльюзюм прислонила к старой буланке курок — палку с волосяным арканом на конце, присела доить, и опять, как вчера, подступили к ней знакомые, неотвязные мысли.

«Нет! Это не тот стеснительный мальчик-шакирд, который жил у халфы Валиуллы. Совсем другой человек, взрослый мужчина. Да еще с таким страшным наганом! Разные люди — только имена у них одинаковые. — Она старалась отогнать навязчивые думы. — Такого Садрислама я никогда не встречала, да и он меня не знает. И вообще грех думать о чужом мужчине. Не хочу! Не хочу!..»

— Енге-е-е! — услышала она ласковое и лукавое над самым ухом. — Что с тобой сегодня?

— Ау, Салимакэй, что такое? — Гюльюзюм привстала.

— Как будто ты впервые доишь кобылу! Учила меня, учила, а сама сидишь с правой стороны, словно перед тобой корова! Видишь, твоя буланая дергается, обиделась, а ты и не замечаешь!

— Ай-й, непутевая, совсем голову потеряла! — Гюльюзюм обняла Салиму. Взгляд уронила от стыда, затрепетали черные-пречерные ресницы. — Салимакэй, прошу тебя, ради аллаха, не говори уж никому. Ведь глаза открыть не дадут...

— Ладно, ладно, — сказала Салима, играя и любуясь толстыми косами Гюльюзюм. — Это у тебя потому, наверно, что ты с самой зимы доила каждый день по нескольку коров. Да я и сама тоже...

— Давай поторопимся, туганым, — перебила ее Гюльюзюм, чтобы скрыть смущение. — Вон еще две кобылы, сами явились...

В середине дня кобыл не нужно пригонять с пастбища, Сами прибегают, спасаясь от мух

и оводов, и прячутся под навес, что стоит на четырех столбах неподалеку от кибитки.

Вот уже неделя, как Гюльюзюм с Салимой приехали сюда, на яйлэу Аллаяра, и ночуют в старой войлочной кибитке. Наступила та пора, когда готовят кумыс. Если сравнить с домашними работами, дел здесь вдвое больше. Одних только кобыл приходится доить раз десять на день. В жару — под тенью навеса, если погода помягче — у реки, где пасутся. Кумыс! Его ведь надо взбивать и днем и ночью. Так и бегают Гюльюзюм с Салимой — из кибитки под навес, из-под навеса к реке, от реки — к кибитке. Но, несмотря ни на что, Салима дожидается этих дней так, что готова приблизить их каждым своим вдохом. После чадной кухни дедушки Аллайр-олатая и зловонного скотного двора она чувствует себя здесь птицей, выпущенной из клетки. Потому и бегаёт все время. Нет, не бегаёт — летает, трепеща крыльями. Ноги ее не касаются земли. Салима переживает свое шестнадцатилетие. Настроение ее все время меняется. Вот слышен ее звонкий смех. Вот она, напевая и притопывая, кружится, словно веретено. И вдруг все переменялось: плясовой напев стал протяжной мелодией; по долинам двух рек разливается грустная песня, она будто рвется из груди молодой девушки:

Отчего я задумалась — ум за разум заходит...
Жизнь — она ведь и сводит, она и разводит.
Расцветают и вянут цветы...

Потом и песня смолкает. И целыми часами не слышно Салимы. Теперь девушка, наверно, слушает птиц. А может, прислушивает-

ся к самой себе — чего только не может быть в душе шестнадцатилетней девушки...

— Когда доишь — стой на одном колене. Все время согнувшись, надсадишь поясницу, — посоветовала Гюльюзюм Салиме, которая массировала вымя гнедой кобылы. — Погоди, еще начнешь беречь свой стан... Ну и непутевая, прямо на глазах хорошеешь. Счастливо бы тебе...

— Не говори-ка пустое, енге... — Салима тряхнула длинными косами.

— Не особенно попадайся на глаза Муллаяй-кайнаге. И так-то глаза у него готовы выкатиться, — прошептала Гюльюзюм плутовато и ущипнула Салиму.

— Такое говоришь, енге, никак в ухо не идет...

— Да ты не торопись, — Гюльюзюм дернула девушку за косу.

— Енге, сама торопишь, сама останавливаешь...

Гюльюзюм, взяв Салиму за плечи, повернула ее к себе.

— Успеем. Лучше дослушай, для твоей пользы говорю. Хотя ты и не чувствуешь этого, — про Муллаяй-агая говорю, — когда ты проходишь мимо него, он так на тебя смотрит, будто языком готов лизнуть твои икры. — Гюльюзюм снова перешла на шепот: — Весь род у них такой. У Аллаяра-кайным и то глаза как масло...

— Енге, что ты такое говоришь? Мне же стыдно! — Салима так покраснела, что краска эта будто передалась и ее серьгам.

— Как меня сюда невесткой привезли, Муллаяй-кайнага просто прохожу мне не да-

вал... И по делу заходит, и без дела врывается. Специально чтобы вызвать меня из кухни, то и дело воды просит. Ковш в руки не берет, из моих пьет. Пьет, а сам в глаза мне заглядывает без всякого стыда. А мой тюфяк — про твоего Латип-агая говорю — ничего не чувствует. Даже до того дошел Муллаян-кайнага — заметил, что я одна в горнице, и входит. «Килен, говорит, шнурок вот на рубахе порвался, пришей». — «Кайнага, — я ему, — сними рубаху и оставь. Пришью — возьмешь». — «Нет, говорит, как же я выйду голый. Пришей на мне». Нечего делать, взяла я иголку с ниткой. Стоит и дрожит, ишак, слюной истекает. Прямо в лицо дышит зловонным духом. Я уж было закончила пришивать, а он как схватит меня за руку и к себе тащит. Тут со злости-то сила откуда только у меня и взялась. Вырвалась и к двери. Все, мол, свекру сейчас скажу! Ну конечно, я ему отомстила. Когда ложились спать, мой недотепа спрашивает: что это у тебя на руке? Я со злости и скажи ему: «Настоящие мужчины вот так хватают». Тут он и взвился: кто да кто хватал. «Не чужой, говорю, человек. Старший твой брат». Хотел было Латип ударить меня, но ты же знаешь, у него в руках мускулов — воробью склюнуть и то не будет. Схватила его за руки, он и обмяк. Только скинул на пороге чувяки и в меня швырнул оба. В одних носках выскочил. Что уж там у них было, не знаю, но с той поры кайнага и близко не стал подходить. — Гюльюзюм рассмеялась. — Разве живешь на земле, вот как надо жить!

— Енге, давай лучше поторопимся. Вот гнедой кобыле не терпится...

— Да, да, я ведь тоже говорю — надо поспешить. Пока свекор не приехал, надо вчерашний кумыс отделить и новую закваску сделать. Да еще прибраться надо, а то ведь свекор если войдет в кибитку, а там как у шайтана в гнезде — что он нам скажет!

Хоть Гюльюзюм приехала в чужой дом, когда ей только исполнилось семнадцать лет, можно подумать, что она с детства обучалась ремеслу невестки. Молча всегда спешит по какому-нибудь делу, чуть пригнув голову, взявшись пальцами за кончик платка. Скотина у нее ухожена, дом блестит, как картинка. А здесь, когда приехали на яйлэу, на нее обрушилась полная свобода — будто открылись ворота небес. Платок за ушами, сдвинут назад, к затылку. Рукава засучены выше локтей. Платье подобрала, подоткнула за пояс. Ходит, поблескивая крепкими круглыми икрами, как кобылка, входящая в свою первую весну. Грудной голос играет здоровьем, и когда она смеется, там, где встречаются две реки, грачи тучей поднимаются над тополями. Можно подумать, что здесь, вырвавшись на свободу, Гюльюзюм мстит той своей молчаливой жизни.

Одно лишь и здесь туманит печалью самые счастливые ее минуты. Вот уже два года, как она в невестках, а до сих пор не испытала радости материнства...

Подбив кобыл, Гюльюзюм и Салима внесли в кибитку полные до краев деревянные ведра — кунэки. Еще раз с шумом взбили вечерний кумыс и перелили его в башкунэк — бурдюк из конской кожи. На дне опорожненной кади — батмана уложили свежие вишне-

вые прутья — наломал Касим. От них кумыс будет вкуснее, да и взбивать удобнее — не слышно стука. С шумом перелили в батман теплое кобылье молоко, и Салима принялась взбивать его.

Тем временем Гюльюзюм, выглянув из кибитки, позвала Касима:

— Туганым, полдень, по-моему, а? Зайди, подкрепишь малость...

Касим нехотя приблизился к входу в кибитку. Но внутрь не вошел — словно что-то держало. Гюльюзюм пришлось поругать его:

— Если всегда будешь вот так медлить, когда к еде зовут, совсем из сил выбьешься. Разве мужское это дело — так стоять, набрав в рот воды? Надо все крушить на ходу!

И строгое слово не помогло. Тогда Гюльюзюм сильной рукой схватила Касима и втащила в кибитку.

Касим — хоть и подросток, а малый все же плечистый. Глаза узкие, подбородок квадратный и с ямочкой посредине. Под носом уже рыжеватый пушок пробился. Похоже, что парень будет с характером. Видно, время еще не наступило, робеет малый перед своими хозяевами. Перед женщинами и девушками прямо дрожит — того и гляди, рассыплется. А если еще Гюльюзюм примется его щекотать, называя своим кайнешем — младшим братом муженька, — тут уж Касим совсем теряется, не находит дырки, куда спрятаться.

Салима поставила перед ним деревянную чашу с кумысом, положила две просяные пышки. Но принялся парень за еду лишь после того, как она и Гюльюзюм ушли на реку.

Поел — и тут же войлочный полог приоткрылся. Это Салима...

— Каси-им, — покраснев, ласково пропела, — дай платочек, постираю...

Парень промолчал. Может, не расслышал?

— Каси-им, слышишь? Платочек...

Из юрты донеслось угрюмое:

— Нет у меня здесь... Дома остался.

— Эй-й, жаль! — Салима торопливо сунула руку в горловину платья, достала из-под плоского лифчика платочек, сложила вчетверо и протянула из-под полога Касиму: — На вот, пусть будет твой, ладно-о?

Видя, что парень не берет, сама вошла в кибитку, насильно вложила платочек в его руку. Белый платочек, на котором вышиты красные цветы. От него и пахло цветами! Касим поднялся, стоял, растерянно глядя на девушку.

— Ведь новенький же... Испачкается...

— Ладно, испачкай. А я его тебе опять выстираю! А истреплется — новый вышью. — Она вышла. Наступила тишина. Потом снаружи опять донесся ее голос: — Каси-им... Слышишь? Вчера Латип-агай душистое мыло привез. Мы его оставили на мостках. Пойди на речку, с мылом помойся. Лицо будет мягким, и на душе станет веселей.

Вымыв кунэки, Гюльюзюм и Салима надели их на развилки столбика, вкопанного перед входом в кибитку. Салима погрузилась, делала все молча.

— О чем опять задумалась? — спросила Гюльюзюм.

Салима не ответила. Долго молчала, потом заговорила сдвоенно:

— Енге.. Вчера вечером, когда приехал Латип-агай и увез тебя ночевать в аул, так грустно, так грустно стало мне здесь одной... Касим на ночь угнал кобыл на склон горы возле кладбища — тут даже страшно стало. Как услышу издали голос Касима или донголдак на шее у кобылы загремит — душа опять возвращается... Полежала я, полежала, все разные думы в голову лезут. И знаешь, что придумала? Что-то вроде бейета сложила. На самом деле, енге! Я еще не забыла, послушай:

На красивой улице милого аула
Детство мое летней бабочкой мелькнуло...

Две крупные капли набухли и задрожали на ресницах Салимы.

Все в цветах поляны, все в росе рассветы.
Пролетело детство, как проходит лето.
Стало мне одиннадцать, стала я большая...
Матери не вижу, а отца — не знаю.

Отняли от детства, увезли из дому,
Говорить «отец» — теперь должна чужому.
Не успела радостью, солнцем надышаться.
Было мне одиннадцать, стало мне шестнадцать...

— Енге, не могу больше! — разрыдавшись, Салима уткнулась головой в грудь Гюльюзюм.

— Ну что же ты... Успокойся. Совсем ты еще у меня ма-а-ленькая, — попробовала ее утешить Гюльюзюм. Похлопала по спине.

Салима, сквозь рыдания, захлебываясь, продолжала:

Мне б туда уехать, мне б домой вернуться
И однажды утром на заре проснуться —
Чтоб стояла рядом мать, меня лаская,
И шептала б тихо: «Встань, проснись, родная».

— Эй-й, енге... много еще у меня, без конца могу...— Девушка совсем ослабла. Гюльюзюм усадила ее на табуретку, сколоченную из нестроганой доски. Обняла, гладила по голове...

Салима — единственная дочь халфы из аула Самыш, что на том берегу Агидели. Когда молодой халфа, отправленный на германскую войну, в первый же год «сложил голову за его величество царя и отечество», его молодую, красивую жену увез один еще не старый мулла по имени Хисаметдин. Увез в Стерлитамак. Когда сватали — говорили, что этот человек когда-то учил в медресе ее покойного мужа. Очень образованный человек. Однако ученость нисколько не помешала мулле отказаться от осиротевшей дочери его молодой жены.

Тут как раз подвернулся Аллаяр, приехал на Самышский базар продавать лошадей. Оказалось, что его жена Гюльсагура приходится халфе дальней родственницей. Жаль стало Аллаяру сиротку, и он сказал: если дом и все надворные постройки оставят девочке, то он, пожалуй, возьмет ее к себе на воспитание, пусть будет приемной дочерью. Так что с базара Аллаяр приехал приемным отцом шустрой девчонки с лохматой головой и вдобавок прихватил цену шестистенного дома, который был построен покойным халфой как раз перед началом войны.

Доверчивая девочка, хоть и не нашла в доме Аллаяра той теплоты, которая помогла бы забыть материнскую ласку, все же росла здесь без притеснений. Хрипящая оттого, что сердце ее обросло жиром, Гюльсагура постоянно держала Салиму возле себя: смышленная девоч-

ка по одному только взгляду узнавала, что требуется хозяйке. Соберется выйти из дома — девчонка уже несет ей калоши, которые успела и вымыть и начистить до блеска. И палку в другой руке несет. Захочет в баню — Салима уже тащит веник и кумган. Разденет хозяйку, вымоет и напарит. Когда подросла, стала и в работах помогать — на дворе и в хлеву. Не ждала, пока попросят, сама бралась. А с приходом в семью Аллаяра молодой невестки Гюльюзюм Салима стала еще понятливее — так и горит в работе. Гюльюзюм многому научила ее — с самого начала они стали подругами: куда одна, туда и другая...

— Ишь ты, как по печатной книге! Складно ты сложила свой бейет! — сказала Гюльюзюм, когда Салима немного успокоилась.

— Ай-й, енге! Ты вот и писать и читать умешь. Хоть бы научила меня. А я бы, смотришь, и записала, прежде чем забыть.

Гюльюзюм вздохнула:

— Туганкайым, много ли я знаю? Да еще чтобы других учить... Как курица слепаяковыряюсь, ощупью букву за буквой клюю. А время? Сама ведь знаешь, бываем ли мы свободны. И зимой и летом крутимся, как веретено, никак не покончим с делами.

— Да, оно, конечно, так... — Салима задумалась. И вдруг просветлела: — Учительница-то, Ямиля-енге! Вернулась ведь к нам! Зимой буду ходить к ней учиться. Научусь и перепишу этот бейет три раза, на трех листах. Один пошлю маме в Стерлитамак, второй — подружкам в Самыш. Третий себе оставлю.

Неподалеску от кибитки слышалось дре-

безжанье колес. Запряженный в тарантас молодой жеребец, увидев кобыл, заржал.

— Ай, кайным приехал! — Гюльюзюм торопливо стала убирать в кибитке. Но встречать приехавшего не вышла: неприлично выбегать к мужчине, пока не позовет.

Тарантас остановился. Послышался гневный, гортанный голос Аллаяра:

— Эй, кто там есть! Подошли, что ли, все?

Кончиками пальцев держа у лица платок, Гюльюзюм вышла из кибитки.

— Ау, кайным?

— Вынеси скорее чего-нибудь попить. Горло скоро треснет.

Накренив своим тяжким телом тарантас, Аллаяр спустился на землю. В этот же миг из-под навеса для жеребят бесшумной тенью вышел Касим. Освободив жеребца от удил, выпряг, увел в тень. Гюльюзюм, все так же держа у лица кончик платка, вынесла из кибитки глубокую деревянную чашу с кумысом.

— Ладно, здесь очень жарко, выпью-ка в прохладе... — Аллаяр обхлопал кнутом пыль на голенищах и, переваливаясь с боку на бок, зашагал к кибитке. Остервенело рванул войлочный полог, будто хотел совсем его содрать.

Видно, не в духе был хозяин. Но не торопился выпускать наружу комок, который мозолил, тер его душу. Неторопливо уселся на хике, снял свою черную каракулеву кубанку вместе с вложенной в нее тубетейкой. Растегнув ворот длинной белой рубахи, которая доходила ему почти до колен, вытер вспотевшее лицо и бритую голову. Затем вынул из шапки тубетейку, до того засаленную, что хоть правь на ней бритву, — и надел. Стал

шевелить губами, подрыгивая круглой бородкой, которая сливалась с усами в одно черное полуседое кольцо. Сотворив молитву, провел по лицу широкими мясистыми ладонями и прокашлялся. Некоторое время, хмурясь и зло поблескивая из темных глубин, где у него были спрятаны глаза, оглядывал свою невестку с ног до головы. А Гюльюзюм, стоя к нему боком, взбивала в кадке кумыс.

Салима, которая при Аллаяра-олатае всегда чувствовала себя неловко, давно уже убежала из кибитки.

— Что же получается? — проговорил наконец Аллаяр, почти прошипел, медленно чеканя слова. — Как полагается по нынешнему времени, и ты решила поднять бунт?

Гюльюзюм молчала, ждала, когда он кончит говорить.

— Язык, что ли, проглотила? Ишь каким барашком прикидывается! А в другое время язык как у змеи... Ха!

— Что случилось, кайным? — спросила испуганная невестка, не оборачиваясь к нему.

— Что случилось? А то, что среди ночи, оставив девчонку одну, понеслась домой, готовая вскочить верхом на мужа! Ведьмы, думаю, не утащили бы твоего Латипа.

— Да он же сам... — чуть слышно произнесла Гюльюзюм.

В сущности, у Аллаяра не было причин гневаться на невестку. Во всем виноват был Латип. Но баю нужно успокоиться, отвести душу...

Сегодня утром Аллаяр сразу заметил, что Латип не в себе. Молча ходил с насупленными

бровями — то впереди отца, то вдруг оказывался за спиной. Пыхтел, пыхтел и выпалил:

— Атай, отвези свою Гюльюзюм обратно. Я Салиму возьму.

— Что-о? Ну-ка, подойди поближе. Да повтори..

Латип послушно приблизился.

— Отвези, говорю, свою Гюльюзюм...

Аллаяр больно шлепнул своего младшего сына по обеим щекам.

— Вот тебе Гюльюзюм! А это — Салима. Ишь! — Схватив Латипа за ворот, встряхнул, притянул к себе, заглянул на самое дно души. — Чем еще тебе не угодила Гюльюзюм-килен?

Дрожа всем своим худеньким, хилым телом, Латип захныкал:

— Сильная, как медведь... Толкается... Что я ей — кукла? Смеется надо мной...

— Бесстыжий, вот кто ты! Худая тварь, рожденная от хороших людей! — Аллаяр оттолкнул сына. — Если еще скажешь плохое слово о килен, язык оторву! Сильная! Хвалить надо, раз сильная. Тебя, тебя, дохлятину, выгнать надо взашей! А килен я оставил бы дочерью.

Неспроста так громко говорил все это Аллаяр во дворе. Прошли времена, когда можно было держать сколько угодно работников. Эта «как медведь сильная» невестка была нужным человеком в хозяйстве. Конечно, куда этому дураку Латипу додуматься до таких вещей! Ведь Аллаяр как раз боялся, как бы невестка — молодая, здоровая кобылка — сама не ушла, невзлюбив хилого Латипа. Вот

что тревожит! О том, что первым заговорит об этом сын, и в голову не приходило.

— Смотри, малай! Закрой свой дурацкий рот и молчи, не суйся в такие дела. У тебя нет еще ничего, что ты добыл бы своим пóтом. Доведете — возьму обоих за руки и выгоню. Плетенной из прутьев лачуги не дам! Вон ваша дорога, ждет вас!

Высказав все это, Аллаяр ушел на конюшню. «Салима... — ворчал, снимая с гвоздя уздечку. — Дам я тебе Салиму!»

В душе Аллаяр-бая, которому, как он сам говорил, революция оставила от штанов один только гашник, Салима тоже черным по белому занесена в прихода-расходную книгу. «Допустим, что ты, дурак, разведешься с Гюльюзюм-килен. Или сама килен бросит тебя и уйдет. Значит, станет меньше парой рабочих рук. Да еще каких! Теперь предположим, что мы взяли тебе в жены Салиму. Хозяйству от этого никакой прибавки. Только убыток. Ведь Салима сама — дитя нашего дома. Вот к Салиме бы да ввести толкового — не чета тебе — парня! Да послушного. И чтобы он был из этих... из новых. Тут, пожалуй, кое-что отхватил бы твой отец...»

Попив кумысу, Аллаяр немного успокоился. Нет, Гюльюзюм, конечно, не виновата ни в чем. Да и приехал он сюда не бранить ее, а осторожно поговорить, успокоить, чтобы сама, чего доброго, не взбеленилась и не поломала оглобли.

— Ладно, килен, сама ты — дитя, воспитанное хорошими родителями. Что отец, что мать у тебя — замечательные, почтенные лю-

ди. Мы с моей старушкой тебя очень любим. Гм... нда... Как бы, ссорясь вот так-то, перед людьми не опозорились. Сам-то я что... — Аллаяр заговорил растроганно: — Ночами ведь не сплю, все о вас да о вас думаю. На кого мне теперь положиться? С твоей свекровью мы уже отжили свое. Что положено, можно сказать, съели. Если человеку под шестьдесят, если одна нога его стоит уже в могиле, много ли ему надо? Пятнадцать аршинов на саван, да чтоб раздать приличный хаир на похоронах... Вы вдвоем чтоб после нас пожили, не зная нужды, — вот что еще держит меня на этом свете, заставляет проливать пот.

Гюльюзюм тоже оттаяла. Уже и кончик платка выпустила из рук.

— Эй-й, кайным, вам ли думать о смерти!.. — в голосе ее дрогнула застенчивая ласка.

— Нет, не говори так, килен... — Тут Аллаяр вдруг словно лишился языка. Похоже, что он впервые увидел свою невестку с открытым лицом. Ее облик, пышущий здоровьем, силой, обдающий сияньем молодости, сразил его. До этого дня он смотрел на свою невестку лишь как на рабочую лошадь.

«Субханалла! — он еле удержался, чуть не выкрикнул это слово. — Бог ты мой!» Тут же принялся поносить своего сына:

— Недоваренный! Слизняк! Имея такую золотую жену, ходить бы ему, вознося при каждом вздохе благодарность аллаху. Вот я сам... Такой самоцвет да попался бы мне... Хе-хе-хе... Пожалуй, и сам взял бы тебя, килен... женой... И свекровь твоя не сегодня-завтра, как говорится, станет хозяйкой могилы... Сердце-то ее совсем уж...

— Не надо так, кайным... — проговорила невестка. Сильно покраснев, принялась переставлять посуду с одного места на другое.

Хотел было Аллаяр продолжать разговор в том же духе, но Гюльюзюм перебила его:

— Кайным, тебе не налить ли еще кумысу?

— Нет, нет, красавица моя! Я и сам, хоть и старик, как говорится... Ты послушай чуточку...

— Кайным, ты уж не сердись. Сейчас я тебя послушаю, — сказала Гюльюзюм и, выглянув из-под полога наружу, крикнула: — Салима! Салима-а-а! Куда же ты пропала? Надо скорее взбить хаумал. А то ведь свернется.

Салима вошла в кибитку. И сразу же обе, схватив липовые песты, принялись взбивать хаумал — парное кобылье молоко. Переведя дыхание, Гюльюзюм проговорила:

— Кайным, ты уж не сердись. Прервала я твое слово. Работа ведь. Если не обиделся, до скажи, что хотел...

— Да что уж говорить... — Аллаяр замаялся. — Учить вас, вижу, нечего. Сами с головой. Куда уж... Если будет угодно аллаху, завтра созовем мир и дадим людям отведать первого кумыса. Приготовьтесь получше. — И с необычной для его тяжелой фигуры проворностью он поспешил выйти из кибитки. — Сынок, Касим! Поторопись с лошадьё!

VI

Пришел праздник и в дом Имангуловых. Сафура-апай все еще не могла привыкнуть к тому, что ее старший сын Садрислам жив, про-

тяни руку — и вот он, рядом. Сегодня ночью так и пролежала с открытыми глазами — боялась, как бы Садрислам не ушел от нее в мир снов. Проснется, а его уже нет: привиделся и улетел... Лежа спиной к спине с крепко уснувшим Галиакбер-агаем, Сафура-апай вся ушла в слух, ловила тихое дыхание Садрислама, спавшего здесь же на хике, но у другой стены, в обнимку с младшеньким. Хаирзаман тоже истосковался по пропавшему без вести брату, крепко обнял за шею, даже во сне не отпускал.

После утреннего чая Галиакбер и оба сына отправились на похороны Малики. Сафура приготовилась стирать белье «вернувшегося из могилы» сына. Согрела воды, но со стиркой медлила. Стоя в чулане у деревянного корыта и воровато поглядывая на полуоткрытую наружную дверь, прижимала к лицу пропахшую мужским потом рубаху сына. Дышала и не могла надышаться.

Но вот и покончено со стиркой. Белье висит на плетне. Сафура поставила самовар и стала ждать своих мужчин, ушедших на йыназу. Неужели всегда так долго тянется обряд погребения?

Ушли трое, вернулись — вчетвером. За Садрисламом, чуть отстав, понуро брел высокий худощавый подросток — Тахаутдин, сын погибшего на фронте Сабирьяна и Малики, которую похоронили сегодня. Тахаутдин то и дело вытирал рукой под припухшими, покрасневшими глазами, отводил взгляд в сторону. Как-никак взрослый человек, уже и пух над губой чернеет — негоже показывать слезы перед людьми.

Посредине хике Сафура-апай постелила ашъяулык — домотканую холщовую скатерть, на нее поставила весело клокочущий самовар, начищенный хозяйкой до яркого блеска. Разложила ржаные лепешки. Порезала на тонкие ломти половину зачерствелой буханки, привезенной Садрисламом. Принесла мелкую вареную картошку — с голубиное яйцо. Галиакбер-агай, усевшись в почетном углу хике и привычно подобрав под себя ноги, расколол на мелкие части желтоватую глыбку сахару, найденную в мешке Садрислама. Положил по осколку у каждой чашки, следя за тем, чтобы величина доли соответствовала возрасту пьющего чай. Только для гостя было сделано исключение — ему Галиакбер-агай положил кусочек побольше.

Первое приглашение занять место у ашъяулыка Тахаутдин, как полагалось в ауле, пропустил мимо ушей. Стоя у дверей, все искал глазами, чем бы занять время, пока не пригласят повторно.

За мать распорядился Садрислам, коротко и просто:

— Садись. Маленький, что ли?

Взял за руку и усадил на табуретку у края хике. А для себя выдвинул из-под хике круглый чурбак и занял самое удобное, с детства «насиженное» место возле ашъяулыка. Сказал при этом:

— Если не сяду на свое место, не наемся.

Сафура-апай тоже заняла свой край хике и принялась заваривать и разливать по чашкам бурый морковный чай. Добавила в каждую чашку по ложке молока. Последней «за-

белила» чай себе. Помедлила и добавила в чашку гостя еще пол-ложки.

— Ну, кого еще ждем? Приступайте! — приказала своим. А гостю улыбнулась ласково: — Тахаутдин-туганым, не чужой же, у своих сидишь. Двигайся поближе к ашъяулыку и ешь, что перед тобой.

Первые чашки выпили молча. Да и о чем говорить? Напомнить лишний раз о сиротстве гостя? Каждый знает, что этого делать нельзя.

И все же Садрислам, идущий всегда напрямик, начал разговор именно с этого:

— Ну, браток Тахаутдин, как думаешь дальше жить?

Отодвинул чашку и, повернувшись лицом к подростку, уставился на него, как бы призывая к прямому мужскому разговору.

Тахаутдин молчал, даже перестал жевать и слегка отодвинул блюдце с недопитым чаем.

— Что ты пристал к человеку? — Сафура-апай впервые после приезда сына посмотрела на него с укором.

— Как будет жить? Как все живут! — поддержал ее Галиакбер-агай. — Разве сын покойного Сабирьяна хуже других? Вон какой бахадир, весь в отца! Есть дом — хоть маленький, да свой. Надел тоже есть — хоть и с трудом, но засеян. И огород — хоть с ладошку, а все — своя картошка!

— Аллах даст, осенью, в достаток, приглянется красивенькая работающая девушка из хорошего дома, — вставила Сафура. — И станет наш Тахаутдин настоящим хозяином!

Подросток густо покраснел, буркнул под нос:

— И скажешь такое, апай...

Садрислам не мог согласиться с матерью и отцом, пророчившими Тахаутдину этот знакомый издавна «открытый путь». Законы старины писаны не для Тахаутдина и ему подобных. Настали иные времена... Правда, Садрислам не мог сейчас ничего посоветовать молодому человеку. Знал: получатся лишь общие слова.

Но путь должен быть иным. Вот сегодня во время похорон Малики-апай Аллаяр несколько раз подходил к Тахаутдину. Смотрел с таким участием. Ничего плохого не желал он сироте — все говорил по доброте, по-человечески. В самом деле, разве можно таить недобрые чувства против того, кто говорит такое:

— Сынок мой, Тахаутдин... Мы ведь были с твоим отцом очень близки. Закажу сегодня, пусть мулла почитает Коран во спасение душ твоих отца и матери. Поминки третьего и седьмого дня и сороковины устрою в своем доме, хоть вы мне и не родня. Захочешь — можешь все эти дни жить у меня, как наш дорогой кунак. Так и не заметишь, как поспеет рожь — наше спасение от смерти. Не горюй, сынок, говорят же — вслед за умершим умирать не годится. Жизнь остается для живых. Разве брошу я тебя? Если понравится, можешь у меня и остаться, будешь приемным сыном, как вот твой дружок Касим. Он, по-моему, не жалуется на жизнь...

Как будто все сказано ради спасения Тахау, в его пользу. Недаром все на кладбище одобрили слова Аллаяра:

— Рас! Рас! Верно! Хороший ты человек, Аллаяр-бай! Тысячи раз отблагодарит тебя

аллах, получишь место в красном углу рая!..

Садрислам задумался, мелкими глотками тянул из блюдца остывший чай. Потом опять спросил Тахаутдина напрямую:

— Как решил? К Аптелгалимовым пойдешь?

— Низнай... — русским словом ответил тот, помолчав.

За него, перебивая друг друга, опять заговорили отец и мать. Еще на одну ступеньку прибавили строгости в голосе:

— А что же плохого, если и пойдет?

— Аллаяр не волк, живьем не съест!

— Неужели не понимаете? — начал было Садрислам объяснять им. — Аллаяр ведь заманивает его к себе в работники.

— А что плохого, если и Тахаутдин немного поработает у него в благодарность за еду, за одежду? Он же не лентяй!

— Он же будет член семьи! У Аллаяра и родной сын работает. Посмотрел бы, как он заставляет работать своих родных сыновей!..

В пылу спора Галиакбер-агай, уверенный в своей правоте, даже с открытой издевкой уставился на сына:

— Что-то я не слышал, чтобы советская власть собиралась кормить вас задаром, за спасибо...

Подошла очередь и Садрисламу повысить тон:

— Отец, не трогай советскую власть...

— Ладно, ладно, не трону, сынок, — тут же смягчился Галиакбер-агай, будто испугавшись. — Оставим ее в покое. — И опять, резко повысив голос, поставил прямой вопрос: —

Хорошо! Скажем, Тахаутдин послушался тебя, раз ты коммун — большой и правильный человек. Ну и что ты ему предложишь взамен того, что дает ему Аллаяра? Что ты ему дашь, чтобы он не умер с голоду?

Не нашлось у Садрислама ответа. Он побежден. Сражен жестокой правдой отцовских слов. Но как же это горько — признать, что сию минуту, сейчас он ничего не может выставить против Аллаяра!

Садрислам покраснел, резко встал со своего чурбака. Губы его дрожали. Все понимали его состояние. Отец торжествовал. Мать смотрела участливо, с жалостью.

Видно, и Тахаутдин сочувствовал Садрисламу. Тоже встал со своего места, и они вышли во двор.

— Не закурите, Садрислам-агай? — предложил подросток, щупая карман поношенных брюк.

Ишь ты, такой молодой, а уже курит.

Но Садрислам не стал распространяться по этому поводу. Ответил просто, как солдат — по-русски:

— Давай!

Хотя курил редко, но сейчас почувствовал: этого только и желал.

Затянулись дымом. Помолчали. И вдруг Тахау, уставившись прямо в глаза Садрислама, произнес:

— А к Аллаяру я не пойду.

И собрался уходить. Садрислам так и не разобрал, сказал ли это Тахау просто так, от жалости к нему, или у него сложился уже твердый взгляд на Аллаярову доброту.

— Если что будет нужно, приходи. Обяза-

тельно приходи, — наказал подростку, пожимая руку.

Войдя опять в дом, снял свой вещевой мешок с гвоздя. Хоть хлеб и сахар были вынуты еще вчера, взоры домашних нет-нет да оставались на нем. Было интересно — какие же еще богатства привез Садрислам из далеких странствий и почему медлит, не выкладывает их. «Наган уже видели, даже слышали первый выстрел из него. Хорошо палит. Кого угодно можно пугнуть. Но что проку от него в хозяйстве? Один страх», — размышлял недовольный Галиакбер.

Первым был развернут головной платок из цветастого ситца.

— На, инэй, носи на здоровье! Вчера в суматохе забыл.

— Ой, спасибо, спасибо, сынок! — запрочитала Сафура и тут же набросила платок на голову, собрав под него седые, поредевшие волосы.

Галиакбер-агай держал себя с подчеркнутой гордостью и старался не смотреть на мешок. Но второй подарок все-таки был предназначен ему.

— Вот, атай, это тебе, — Садрислам развернул и передал отцу совсем новую да к тому же суконную гимнастерку. Отец небрежно взял и, даже не взглянув, положил ее в сторону. — Атай, вижу, ты не рад. Неужели, думаешь, гимнастерка не подойдет тебе?

— Я думаю, что гимнастерка больше подойдет Муллаяну Аптелгалимову. Может, зачет за пуд муки, которую давеча я взял, чтоб твой приезд отпраздновать...

Садрислам вздрогнул. Вот еще чего не хва-

тало! В его красноармейской выходной гимнастерке завтра будет щеголять его непримиримый классовый враг, байский сын Муллаян! Еле удержался Садрислам, так и хотелось схватить гимнастерку и бросить назад, в мешок. Но теперь поздно — вещь подарена, только отец может распоряжаться ею.

— А то, может, возьмешь обратно? — Зоркий глаз Галиакбер-агая уже подметил движение Садрислама. — Может, сам будешь носить? Твоя-то гимнастерка вон как обносилась. И сапоги тоже...

— Зачем же... Только, пожалуйста, атай, не спеши отдавать этому... Муллаяну. Если не хочешь меня обидеть. Как-нибудь обойдется...

— Просто так не обойдется...

Хаирзаман давно уже смотрел на мешок, не отрывая от него горящих глаз. Когда же и для него будет вытащен подарок из этой таинственной солдатской котомки? И дождался — блеснули наконец радостью глаза мальчика. Вот ведь какой хороший у него брат! Как он догадался выбрать для него именно то, что больше всего нравится мальчишкам! Садрислам вытащил из мешка ремешок для брюк — тонкий, кожаный, с блестящей медной пряжкой.

— Ох! — вырвалось у счастливого Хаирзамана.

Но что за люди эти взрослые! Как будто другие у них глаза, совсем не замечают счастья. Отец быстро нашелся, оценил по-своему и этот подарок:

— Да-а, подарочек как раз по нашему времени. Поддержать есть чем, осталась самая ничтожная малость — купить штаны!

Садрислам все еще не мог разобраться, что за шайтан вселился в отца. То ли до сих пор торжествует старик свою победу над ним? Или, может быть, это в нем глубокая горесть? Может, просто горькую правду выкладывает отец?

Удержался, смолчал. Посмотрел на Хаирзамана и сам почувствовал: жидковат подарок для мальчишки. Вскочил, снял с гвоздя свою выдавшую виды солдатскую фуражку с блестящим козырьком и нахлобучил ее на голову брата. Вряд ли сегодня во всем мире можно было найти другого мальчика, счастливого, как Хаирзаман!

— Ай-хай-хай, — с жалостью и на этот раз мягко укорил отец. — Сам-то с открытой головой будешь ходить?

— Ничего, — отшутился Садрислам. — Думаю, сейчас не от кого мне прятать голову. А наступят холода — поймаю зайца, такого же хромоногого, как и я сам. Вот и будет шапка...

Усмехнулся отец и ласково похлопал старшего сына по не очень-то мясистой спине. Нет, похоже, и у него болит душа от того, что не дает покоя Садрисламу. Правда, у старика эта боль дает о себе знать немного по-другому. Ему вынь да положь все, чего он хочет. Да еще чтобы положили ему первому. Тогда он будет удовлетворен. А может, еще и поворчит: «Не так положили».

Но что же сказать отцу напоследок? Натура Садрислама нетерпеливо требовала, чтобы за ним, именно за ним осталось последнее слово в таком споре. Только не обидеть бы старика. И, зная привычку отца говорить на-

меками, Садрислам, как бы подводя итог, сказал:

— Отец! Важнее всего то, что посеянное дало хорошие всходы. Значит, и колосья будут добротными. Если, конечно, ухаживать будем умело...

Отец, ничего не сказав, пожал плечами: мол, поживем -- увидим.

VII

На следующее утро, на рассвете, Садрислам, спавший в чулане, проснулся от громкого лая и надрывного плача какой-то собаки.

— Гав-гав — ый-й-уу! Ый-й-уу-гав-гав!

Уснуть больше не смог. Вышел во двор, глубоко вдохнул прохладу и свежесть. Над горой Караул чуть занималась заря, четко обозначив границу между чернотой лесов и желтовато-матовым небом.

Лай повторялся через одинаковые промежутки тишины. Садрислам вспомнил: ведь это же воеет Бурсбу — волкодав, которого привез Муллаян откуда-то из степных мест. Этот гордый и обычно молчаливый пес, как вторая тень, всегда следовал за байским сыном — в любых его похождениях. Если кто-нибудь останавливал Муллаяна, пес бесшумно и незаметно становился между собеседниками, навострив уши, улавливал тон разговора.

Иногда хозяин привязывал своего Бурсбу на цепь. Это случалось редко — когда Муллаян уходил куда-нибудь по таким делам, где собака могла ему помешать. Пес и на цепи сидел тихо, но лишь до ночи. Потом начинал тосковать по хозяину, отчаянно лаял и

визжал, пока вернувшийся Муллаян не отвязывал его.

Вот и сегодня Буребыу разлаялся. Его протяжные вопли и всхлипывания тревожили рассветный — самый сладкий сон аула.

Из двери чулана показался сонный Галиакбер-агай в своей длинной рубахе из некрашеного холста и в таких же штанах.

— Опять воет...

— Воет... — негромко отозвался Садрислам.

На улице показался Файзулла. Он шел с уздечкой на плече и ведерком для утреннего улова. Шел, видать, на реку.

— Ассалямалейкем! Вас, вижу, тоже разбудил этот пэри... — сказал, подходя к Имангуловым.

— И не застрянет ведь в его горле кость! — выругался Галиакбер-агай.

— Похоже, хозяин опять поехал по своим делам, — Файзулла многозначительно кивнул в сторону двора Аптелгалимовых.

— Все еще промышляют конями? — спросил Садрислам.

— Выходит, промышляют, — Файзулла почесал затылок. — Старший-то теперь дома сидит. Муллаян пропадает частенько.

Хотел было Садрислам. открыть рот, но Галиакбер, словно угадав его мысль, опередил:

— А что ему не промышлять? Если не ошибаюсь, пока нет закона об отмене купли-продажи. Кто-то продает лошадей. Кто-то нуждается в них...

— Но ведь он же спекулирует! — прервал отца Садрислам.

— Ызнамо дело, не за спасибо, — согласился Файзулла.

— Не будьте простаками, — повысил голос Галиакбер. Он явно хотел открыть спор. — «Спекулирует»! А почему бы ему не выручить немного денег от этой купли и продажи? Во он куда ездит за покупкой — за сто, за двести верст. А продавать — опять же столько ехать — в горные края. Почему бы Муллаяну не взять за свои дорожные расходы, за труды-страдания? Если бы каждый, кто хочет купить лошадь, сам ездил за столько верст, наверно, не меньше бы потратился.

Садрисламу хотелось сбить отца с его любимого конька. Рассчитывая на поддержку рассудительного Файзуллы, спросил:

— Наверно, и ворует попутно?

— Да уж не без этого, — помедлив, ответил Файзулла.

Но Галиакбер и тут не дрогнул.

— А вы поймали его? Поймали?

— А почему бы и не поймать? — Садрислам нервно постукивал палкой о каменную плиту перед дверью.

— Он наших лошадей не трогал и не тронет. Наши клячи давно уже потеряли базарный вид. Говорят же: змея, которая тебя не трогает, пусть живет до ста лет. Да и не дурак Муллаян, чтобы тянуть что-нибудь в своем ауле.

— Этим он и берет, — вскользь заключил Файзулла и добавил, как бы извиняясь: — Ладно, я пойду...

Отец и сын молчали. Нет, не мог согласиться Садрислам с гнилой философией отца. Яв-

но ведь кулацкую песню поет. Надо немедленно пресечь — все-таки отец коммуниста...

Лицо Галиакбера постепенно менялось. Он стал задумчивым, испытующе смотрел на сына. Даже улыбка забрезжила...

— Да-а, улым, обрадовал ты нас своим возвращением! Ведь мертвым считали... Даже как-то привыкать начали. Спасибо тебе... — он любовно похлопал по костистому плечу сына. — Что хромым стал — это не помеха в нашем сельском труде. Хоть, правда, к двум рукам да две ноги — было бы неплохо...

— Ничего, атай. Вечно хромать не буду, — с грустью глядя вдаль, рассеянно проговорил Садрислам.

— На прополку-то, наверно, сегодня еще не выедешь с нами? — Галиакбер глядел, прищурясь. Продолжал испытывать сына. — Нагибаться, поди, еще больно?

Садрислам не ответил. Видно было, что его занимают другие мысли.

— Чем же, улым, заняться намерен? В хозяйстве будешь работать или еще что? Халфы в ауле не скоро потребуются. Не до медресе пока, сам видишь.

— Выясним.

— Наган-то, наверно, бросишь? Или сдашь куда полагается? Вроде уже отстрелялись.

— Не знаю еще, атай. Вот сегодня в волюсь загляну...

Галиакбер насторожился. Похоже, что именно этого ответа он боялся. Как-то суетливо махнул рукой:

— Эй-й, чего ты не видел в этом вонючем здании? Никого там сейчас нет. Наверняка!

— Вот я приду — и уже будет один. А там,

смотришь, еще один появится. С этого и начнем. Говорил же твой знакомый в Дуровке: «Святое место пусто не бывает».

Уже было светло. Отчетливо выступил испуг на побледневшем лице отца.

— Улым, ведь не думаешь ты опять пойти в начальники? Правда ведь, а?

Садрислам хитро улыбнулся:

— Прощение подавать не буду. А там — что скажут...

Чуть не плача, Галиакбер-агай стал просить сына:

— Улым, тебе говорю. Пожалуйста, не соглашайся, если захотят поставить тебя каким-нибудь турэ или начальником!

— А что плохого, если и окажут доверие? Я же коммунист, атай. А если скажут: «Ты хромой, нам пока не нужен, иди помогай отцу по домашности», — если скажут так — вернусь! — Садрислам весело рассмеялся.

— Ой, улым, поверь мне: рано смеешься. Не до смеха у нас. Это не у тебя в армии. Здесь ты один, да еще хромой. Ни за копейку пристукнут. Народ здесь отчаянный. А мы так наглotalись горя — все по тебе... когда без вести пропал. Не желаю больше! Меня не жалко — мать пожалей. Иссохла ведь по тебе, сам видишь...

Садрислам мягко остановил отца:

— Ладно, атай, не кричи «пожар!», пока дыма не видишь. Ты лучше скажи — я все ломаю голову: почему ты за этих мироедов Аптелгалимовых горой стоишь? Вроде раньше и сам их терпеть не мог. Может, без меня породнились? — Садрислам попробовал лопутить.

Галиакбер задумался, собрал глубокие морщины на лбу.

— Как тебе объяснить, улым. Поймешь ли? Ты ведь давно не бывал в ауле. Может быть, там, где ты побывал, жизнь по-иному...

— Аптелгалимовых боишься? — нетерпеливо спросил Садрислам. — Поэтому?..

— Боюсь ли? — похоже, Галиакбер задал этот вопрос самому себе. И медлил с ответом. — Да, кажется, немного и боюсь. Пойми правильно. Я никогда трусостью не отличался, ты знаешь. Да и Аптелгалимовы не угрожают мне. И не за что. Боюсь другого: как бы они не стали смотреть на меня недобрыми глазами, если ты пойдешь в начальники.

— Атай, яснее скажи..

Но Галиакбер не торопился, растерянно смотрел по сторонам, словно боялся, что кто-нибудь передаст его слова Аллаяру или Муллаяну.

— Сам знаешь, от моего двора к мечети тропа не так уж хорошо протоптана. Да и времени у меня мало, чтобы ублажать слух аллаха. Но вот каким-то образом недавно я оказался там и слушал послемолитвенный вэгэз — наставление муллы Гайфуллы. В каком-то святом писании он вычитал про сновидение Мухаммеда или, не помню, другого нашего пророка. Говорит, вышли из моря семь тучных коров. А за ними вслед семь тощих. И вот эти семь тощих коров съели тех тучных, которые вышли первыми. И от этого, говорит, все равно не стали тучнее.

Садрислам нахмурился:

— Что этим хочешь сказать?

— Это Гайфуллу-хазрета надо спросить. Не я же сказал, — не сдавался Галиакбер. И, помедлив, продолжал: — Могу сказать и от себя. Понимаешь, мне немножко жаль тех тучных коров. Они ведь наверняка давали куда больше молока, чем тощие. И от этого молока перепадало всем, хоть и по капельке. А эти тощие когда еще оправятся да начнут доиться?..

— Атай, ты брось, не сей эту муть! — не в шутку разозлился Садрислам, стукнув концом палки о камень. — Неужели твои уши не слышат, что язык повторяет вражеские слова! Ведь грамотным человеком в ауле считаешься...

Садрислам хотел уже повернуться и куда-то уйти, но отец схватил его за рукав, стал молить:

— Улым! Сынок мой! Пожалуйста, послушай, что говорю. Ради матери, ради братишки Хаирзамана! Если хочешь, даже ради тебя самого! Если тебя назначат все-таки начальником, не трогай Аптелгалимовых. Чтоб они не отвернулись от меня. Ведь неизвестно еще, когда ты получишь что-нибудь за свое начальничество...

— Атай, как недостойно тебя все, что ты говоришь...

Но Галиакбер не слушал сына. Продолжал, чуть не плача:

— Улым! Если захотят все-таки назначить, не соглашайся в свой аул. Старайся, чтоб куда-нибудь подальше, ладно?

Резко вырвав локоть из рук отца, Садрислам вышел из ворот и остановился, не зная, куда идти.

А из-за домов аула все так же доносилось тягучее:

— Ый-й-ыу-у-у!..

VIII

Центр Бишкайнской волости — село Хайгадак — дугой расположилось по берегу большого озера, которое тоже называется Хайгадак. Само село делится на две большие половины — Татхайгадак и Чувхайгадак. Дома и приусадебные постройки одной из этих половин ничем не отличаются от построек другой половины. Но разница в одежде людей, встречающихся на улицах, сразу бросается в глаза. Правда, в башкирско-татарской части села почему-то исчезли за последнее время яркие национальные краски костюмов. Зато чувашки, особенно женщины, даже в будни носят пестрые наряды из домотканого холста, покрашенного в самые яркие цвета.

На стыке двух половин Хайгадака — в самом высоком месте села — раскинулся широкий базарный майдан. Когда-то он был огорожен высоким и крепким дощатым забором. Но в последнее время торговые дела резко пошли на убыль, и бойкий когда-то майдан словно осиротел. На месте забора торчат лишь одинокие жерди, напоминая обглоданный степными волками скелет лошаденки.

В некотором отдалении от пустующего майдана и от домов села особняком стоит один из самых заметных домов Хайгадака. Он сложен из толстых бревен, большие окна его — без ставен, на улицу выходит высокое и

крутое крыльцо. Это и есть Бишкаинское волостное управление. Словно неповоротливое, угловатое существо, уставившееся в одну точку и навсегда застывшее в своей позе, дом этот тоскливо и безучастно смотрит на запыленный, нещадно обжигаемый солнцем мало-радостный уголок мира. Тесовая его шляпа почернела на долгой службе, а там, где затылок, — с северной стороны — приняла зеленый оттенок. За пошатнувшейся решеткой палисадника буйно пошли в рост крапива и лопухий репейник.

Вот к крыльцу волостного управления подъехала телега с довольно гладким саврасым в оглоблях. На телеге рядом сидели двое. Один из них, мужчина лет тридцати, в очках с позолоченной оправой, в фетровой темно-синей шляпе, в черном городском костюме, брюки которого заправлены в хромовые сапоги, бросив серый плащ на руку, легко спрыгнул и сказал «рахмэт». Подвода поехала дальше. Приезжий поставил на нижнюю ступеньку потертый, сильно вздутый портфель и остановился, видно не решаясь вспугнуть толстопузую рыжую дворняжку, растянувшуюся на верхней площадке крыльца. Видать, она привыкла к тому, что никто ее не тревожит на этом удобном месте, и бесстыже выпучила черные пуговицы на вздутом животе.

Но все же пришлось дворняжке покинуть свое излюбленное ложе: приезжий поднимался по крутым ступенькам.

Парадная дверь была приоткрыта. В большой половине дома, как и предполагал приезжий, было пусто. Шаткие стулья и длинные лавки покрыты толстым слоем пыли. На един-

ственном голом, тоже запыленном столе кто-то оставил отпечаток крупной пятерни. Одна из дверей стола криво висела, из тумбы вываливались пожелтевшие бумаги и запыленные папки.

Другая половина помещения, отделенная от первой дощатой перегородкой, тоже не подавала признаков жизни. Но зато вдруг что-то загремело на чердаке. Доски потолка слегка прогибались, одна за другой, как огромные клавиши. С потолка сыпался мусор. По чердаку кто-то ходил.

Взяло верх любопытство. Приезжий заторопился, почти выбежал и, спустившись с крыльца, стал смотреть на крышу.

И вот что он наконец увидел. Из слухового окна на фронте дома выглянул ярко-красный кумач, прибитый к свежестроганному шесту. Флаг покачнулся — никак не хотел принять нужное положение. Отчетливо застучал молоток. Умолк. Застучал опять и снова умолк. Наконец древко устойчиво замерло, флаг шевельнулся и повис неподвижно.

А вот и тот, кто прикрепил флаг. Из-за угла дома вышел довольно плотный человек среднего роста. На нем была новая суконная гимнастерка, подпоясанная широким ремнем, галифе и высокие хромовые сапоги. Правая рука его висела продетая в жгут из несвежей марли, подвязанный к шее. В левой руке человек держал молоток, а из угла рта, как папироска, торчал гвоздь.

У этого человека была подчеркнута строгая армейская выправка. Не отрывая взгляда от флага на крыше, он попятился прямо на приезжего. Лицо его посветлело.

И только тут он повернулся и наконец увидел чужого, внимательно наблюдавшего за ним. Несмело шагнул навстречу, на ходу уронил молоток, вынул изо рта гвоздь и сунул в карман.

Приезжий обратил внимание на латунную пряжку офицерского ремня, как бы смотревшую прямо на него. На пряжке когда-то был выпуклый царский орел. Но владелец ремня основательно разбил его молотком.

— Здравствуй, товарищ! — сказал этот человек и улыбнулся, словно извиняясь. Кивнул на крышу: — Вот, пять дней, как вернулся. Тишина здесь, в ауле — как в прежнее время... Надумал вот поставить... — Он подал незнакомцу в шляпе и очках здоровую левую руку. — Алтынбаев. Хамит. Из госпиталя... из Самары.

Назвал себя и приезжий:

— Кулумбетов... Член временного Табынского кантонного комитета партии. Направлен представителем. Надо, понимаешь, организовать в волости партийную ячейку и Советы.

Подумав и заново оглядев нового знакомого с головы до ног, он достал из внутреннего кармана листок с бледными синими строками, отпечатанными на машинке, — мандат — и показал Алтынбаеву.

Тот тоже неловко принялся расстегивать нагрудный карман гимнастерки и наконец раскрыл перед представителем канткома свою красную книжку.

Тем временем из чувашской стороны села, торопливо ковыляя на деревянной ноге, направлялся к ним худощавый блондин. Подо-

шел, сдержанно кивнул незнакомцу и подал руку Алтынбаеву.

— Молодец, Хамит, правильно! — он кивнул на флаг. — Сразу на душе стало теплее.

Алтынбаев познакомил их, пояснил:

— Антонов Николай. Из нашего села, коммунист. Не знаю только, надолго ли вернулся к нам. Землемер, работал до войны в Стерлитамаке.

— Сам еще не решил, — сказал Николай, поглядывая на флаг. — Семья здесь.

Алтынбаев вздохнул:

— Да... Если уедешь, одним коммунистом у нас будет меньше. Наберем ли по волости на одну ячейку? Все ведь на фронтах... — Он что-то вспомнил, сразу посветлел. — Да! В Утекэ — в пяти верстах отсюда — есть еще один. Вернулся. Утром прибежал уже сюда. Пьет чай у своего знакома Тимирки. Вон он, уже идет!

Опираясь и припадая на палку, к ним спешил еще один в солдатской гимнастерке.

— Вот видите! — радостно улыбнулся представитель канткома. — Правильно сделал ты, товарищ Алтынбаев. Стоило тебе водрузить флаг...

Тут человек из Утекэ запрыгал к ним еще быстрее, потом уронил свою палку.

— Кулумбетов-агай! — и бросился на шею представителя. — Халфа-агай мой!

С лица Кулумбетова мигом исчезла вся официальность. Радостно и изумленно закричал:

— Садрислам-туганым! Ты! — и принялся хлопать Имангулова по спине. — Живой, здоровый Садрислам!



— Я всегда думал о вас, Валиулла-агай. Где ни бывал — расспрашивал. Никто не знает. Я уже думал... — Садрислам не договорил и опять уткнулся в грудь своего любимого учителя.

От этой неожиданной встречи стало радостнее всем четверым. С сияющими лицами вошли в помещение волости. Пока Алтынбаев и Антонов сметали пыль на столе и стульях, пока подметали пол веником, сделанным из свежей полыни, Кулумбетов, обняв Садрислама за плечи, все расспрашивал его. Садрислам коротко рассказал о себе, о том, как получил рану.

— ...Тут как раз ехал санитарный отряд наших... Меня заметили, вытащили из канавы... И попал я в госпиталь, в Симбирск. Больше в армию не взяли. Куда, говорят, тебе, хромоту... Поезжай, говорят, к себе в Утекэй! Все же поработал немного и в госпитале — агитатором...

Посвятил и Кулумбетов бывшего шакирда в свою судьбу.

В пятнадцатом году халфу Кулумбетова тоже забрали и отправили на фронт. Как грамотного человека, назначили полковым муллой в часть, где было много мусульманских солдат. Но Валиулла не очень старался внушить солдатам послушание перед аллахом и белым падишахом, не звал сложить за них головы. Большевики, тайно работавшие в частях, поручили ему: время, отведенное для молебнов и наставлений, использовать в других, более жизненных целях. После Февральской революции Кулумбетов был избран членом дивизионного комитета солдатских депутатов

от мусульманских солдат. Там и вступил в большевистскую партию. Так что к Октябрьской революции пришел уже коммунистом. В прошлом году его послали в Москву на курсы при Коммунистическом университете. Окончил их в мае этого года и был направлен в Саранск, здесь временно находились правительство и ревком уже созданной Башкирской Автономной Советской Республики. А оттуда получил направление на родину — в Табынский кантон, который только что был освобожден от белых.

— Ты и сам, наверно, уже знаешь, что произошло в марте этого года... — Толстые стекла очков не смогли скрыть искорок радости в серых, обычно задумчивых глазах Валиуллы.

Однорукий Хамит и одноногий Николай, бросив веники, вплотную подсели к Валиулле и Садрисламу — чтобы не пропустить важное сообщение представителя канткома.

— Да и вы знаете, наверно: Башкортостан объявлен советской республикой в составе Российской федерации...

— Я слышал, когда был в Симбирске, что Ленин дал Башкортостану советскую государственность... — заметил Садрислам.

Алтынбаев чуть покраснел от неловкости.

— Стыдно даже говорить... Живу на своей башкирской земле и не знаю, что происходит здесь, дома...

— Не огорчайся, — успокоил его представитель канткома. Вытащив носовой платок, долго задумчиво тер очки. — Придет время — все будет понятно. Да... Хоть наш башкирский юмхурият и создан, утрясено далеко еще не

все. Непонятного еще пока больше чем достаточно.

И он начал рассказывать об истории создания Малой Башкирской республики:

— После Февральской революции — с лета семнадцатого года — у нас усилилось национальное движение. В Оренбурге и в Уфе прошли первый и второй башкирские курултай — съезды. Выбрали Башкирскую областную Шуру — Совет, во главе которого стал Ахметзаки Валидов, сын муллы, сам — ученый-историк, преподаватель в оренбургском медресе «Хусаиния». На курултаях собирались только баи, муллы и торговцы. Шура требовала самостоятельности на национальной основе. После Октября Шура снова ожила, стала издавать свои фарманы — распоряжения. Подняла голос против Советов. Суть-то ее была буржуазная. Созвали они в Оренбурге всеобщий курултай Башкортостана. Здесь тоже собрались в основном баи, духовенство, богатая интеллигенция. Образовали свое правительство. Автономия должна была собрать в себе лишь южных и восточных башкир. Они дали ей и название — «Малая Башкирия». Националистическое «правительство» тут же показало зубы — организовало против Оренбургского губкома вражеские вылазки. Так что пришлось тамошнему Совету арестовать его. А в апреле восемнадцатого года казацкие отряды Дутова нагрянули в Оренбург и освободили из тюрьмы все правительство Заки Валидова. Валидовцы сейчас же укатили в Челябинск. Стали там формировать башкирские войска для борьбы против советской власти. Сколько крови, сколько жизней стоил этот об-

ман башкирскому народу! Дорого обошлось ему и прозрение... Среди башкирских солдат большевики тайно вели большую работу, звали перейти на сторону советской власти, порвать с Заки Валидовым. Нашлось немало башкирских воинов, что сумели разобраться во всем. Валидов попал в безвыходное положение. Если бы он не издал фарман о переходе на сторону Красной Армии, войска сами ушли бы воевать за советскую власть, а валидовцев скинули бы. Валидова вынудили издать такой фарман.

В девятнадцатом — нынешнем году, весной, были переговоры между этой группой, которая называла себя «Правительством Башкортостана», и правительством РСФСР. Ленин и другие руководители-большевики проявили на этих переговорах большую мудрость и такт. Даже согласились ради общего дела оставить членов башкирского правительства на их постах, признали право башкирского народа самому решать вопрос о своих руководителях. И стал наш Башкортостан советской автономной республикой в составе РСФСР. Двадцать третьего марта. Правда, пока не прогнали Колчака с нашей территории, правительство находится в Саранске...

Валиулла улыбнулся и добавил:

— Скоро оно вернется, и нам будет все же легче работать!

— Нам тоже, наверно, не годится сидеть сложа руки и ждать, пока оно вернется,— Алтынбаев встал.

— Это верно. Перейдемте к делу и мы.— Лицо Кулумбетова снова стало строгим.— Как же нам выявить всех коммунистов в дру-

гих аулах волости? Если бы нам это удалось, могли бы к вечеру и собрание провести — избрать волостной комитет...

Алтынбаев выпрямился, как бы рапортуя перед командиром:

— Пошлю конных гонцов по ближайшим аулам и деревням. У меня есть несколько толковых парней.

Солидный, степенный Алтынбаев будто вспомнил то время, когда он командовал разведчиками прославленной партизанской армии Блюхера. По-мальчишески проворно выбежал из дома, прогрохотал по крыльцу и отправился снаряжать своих гонцов.

Остальные трое тоже вышли на улицу. Кулумбетов в середине, Садрислам и Николай — по сторонам. Не спеша зашагали, захромали к берегу озера Хайгадак, которое, раскинувшись на несколько верст, недвижно лежало под полуденным зноем.

Слабый ветерок с озера пахнет илом. На середине плеса там и сям чернеют неподвижные рыбацьи лодки. Далекий противоположный берег весь утонул в кустарнике и как бы дымится, затянутый маревом. А здесь, под плетнями огородов, с шумом и визгом плещутся голые ребятишки.

Все трое молчат. Особенно серьезен, даже грустен Садрислам. Кулумбетов давно заметил, что его бывший шакирд, ставший взрослым человеком, да еще и коммунистом, затаил что-то нерадостное и не собирается раскрыться. Это молчание явно угнетало Кулумбетова.

— Как Галиакбер-агай? — спросил он, желая втянуть Садрислама в разговор. — Жив-здоров?

— Жив-здоров...

— Уж как, наверно, обрадовался твоему возвращению «из могилы»?

— Обрадовался... — в тоне Садрислама ничто не изменилось.

— Как сейчас помню — целыми ведь ночами спорили с ним!..

Садрислам не поддержал разговора, даже больше нахмурился. Губы плотно сжаты, бледные скулы осунулись.

Валиулла настойчиво расспрашивал его об отце:

— Все еще философствует?

— Философствует, — нехотя отозвался Садрислам.

— И с тобой, наверно, успел поспорить?

— Успел. — Тут губы Садрислама задрожали, глаза сузились и заблестели жгучим злым огнем. Не выдержал. — Валиулла-агай! — воскликнул отчаянно и умолк.

— Что случилось, дорогой дружок? — Кулумбетов взял Имангулова под руку и, остановившись, повернул лицом к себе.

— Может быть, и правда я с того света вернулся? А пока меня не было, мир стал иным, не таким, как я его видел в своей прежней жизни! — заговорил Садрислам с легкой дрожью в голосе. — Может, это мираж, а не мой родной аул? Если действительно это Утекэй, что же с ним произошло? За один только год, что меня там не было! Да нет, что я... Там ничего не произошло вообще! Там не было революции!..

Валиулла насторожился:

— Говори, пожалуйста, спокойнее, яснее. Садрислам продолжал, не снижая голоса:

— В госпитале, где я агитатором работал, все было по-другому. Там товарищи даже как будто дышали революцией. Когда говорил я о событиях на фронтах, о партии, о Ленине, — почти после каждого моего слова раненые кричали «ура!» и готовы были сорваться с коек и кинуться в атаку. Даже иной раз ночью удирали через окно, чтобы успеть принять участие в последних классовых боях!

Садрислам остановился, непослушными пальцами начал расстегивать медные пуговицы на пляшущем кадыке.

— ...А в Утекэе! Сразу после революции даже там было иначе. Баи и кулаки дрожали в одной куче... А бедняки кричали «ура!», кричали «да здравствует революция!», когда делили землю и раздавали семена. А на этот раз вернулся — как будто в другой мир попал...

— А что же там случилось, в Утекэе? — Кулумбетов все еще не мог добиться конкретного ответа.

— Сегодня в ауле меня встретили сплошь одни кулаки и подкулачники... Все!.. — яростно махнул палкой Садрислам. — Все до одного!

— Да неужто весь аул так быстро разбогател! — Кулумбетов весело прищурился.

— Нет. Бедняки остались такими же. Даже хуже. Нищими стали. А за Аптелгалимовых все горой стоят! Попробуй подступись — не дадут. Свои же разорвут тебя. Даже мой отец открыто поет их песню. Благословляет молодых егетов идти в батраки к Аллаяру. Разводит контрреволюционную муть о каких-то буржуйских жирных и пролетарских тощих коровах... Даже меня агитировал...

— Не паникуешь ли ты сам, туганым? Может, нервы пошатнулись, а? — спросил Кулумбетов. — Давай-ка сядем на этот вот камень и окунем ноги в воду. Мои, наверно, уже сварились в сапогах. Николай Иванович! — окликнул он Антонова, который в одиночестве брел вдоль берега. — Что же вы покидаете нас? — И тут же повернулся к Садрисламу: — Ну как, хорошо в воде? Успокоился? Теперь рассказывай все по порядку, что ты там увидел в нашем с тобой Утекэе. А потом, как полагается настоящим коммунистам, общими усилиями постараемся выяснить причины и, как говорится, сделать выводы.

Садрислам коротко рассказал обо всем, что так обеспокоило его.

— У нас не лучше, — закивал головой Антонов, сидевший поодаль на траве: он отвязал деревянную ногу и прятал от товарищей свою культю.

Хоть Валиулла и сказал «сообща сделаем выводы», но, выслушав Садрислама, не выразил ни удивления, ни сочувствия. Ни слова не сказал. Имангулову это не понравилось. Ведь он выложил свои тревоги перед образованным, политически подготовленным коммунистом. Выложил их как вопрос к нему. И вот — висят в воздухе...

Даже когда сидели в доме отца Антонова, пожилого чуваша, ели разваристую горячую картошку и запивали ее хлебным квасом, — и тут Кулумбетов был спокоен, как будто забыл, о чем говорили. А потом стал спрашивать Николая совсем о другом: есть ли в селе школа, преподают ли на его родном чувашском языке, а если понадобится — найдутся ли среди

чувашей грамотные люди, которые могли бы стать учителями. Как будто нет сегодня дела важнее!

Когда солнце стало опускаться к закату, в волостном управлении собралось всего шесть человек, кроме представителя канткома.

— Проживание на территории волости других коммунистов не установлено! — отрапортовал Алтынбаев, недовольный результатом рейда конных гонцов.

— Для начала достаточно, — кивнул ему Кулумбетов. — Можно открывать собрание.

Он коротко рассказал о международном и внутреннем положении страны, о политической обстановке в Башкирии, о том, как обстоят дела на территории этого — Табынского кантона.

— ...Из нашего кантона, вы сами это знаете, всего лишь две недели назад Красная Армия окончательно выбила белых бандитов и насильников. В кантоне, можно сказать, нет еще никаких советских административных учреждений. По поручению Башревкома, только вчера мы создали временный кантком и разослали представителей по волостям. Один из них — вот я... — Он остановился, внимательно оглядел всех. Глаза его встретились со взглядом Садрислама, сидящего чуть в стороне от других. И он продолжал — совсем не так, как принято на собраниях. То и дело бросая ласковый взгляд на Садрислама, заговорил, как совсем близкий, свой человек: — Меня здесь ожидала, оказывается, большая радость. Я встретил бывшего своего шакирда. Рад, очень рад! Каким молодцом вырос, коммунистом стал!..

Садрислам покраснел. И зачем это нужно ему — представителю канткома? Ведь это касается только их двоих. Разве можно так — на партийном собрании?

Но вскоре он понял, к чему клонил Валиулла-агай.

— Да, стал коммунистом... Только вот огорчил он меня в некотором роде. Приехал в свой аул, нашел там некоторый беспорядок, приуныл и сделал для себя поспешные выводы. Мол, в Утекэе нет советской власти. Мол, сидят там одни кулаки да подкулачники. Все до единого кулацкую песню поют. Может быть, и у остальных такое же настроение?

Все молчали, насторожились. На окне жужжала крупная муха, тяжело ударялась в стекло.

— Похоже, что так, товарищ представитель, — вздохнув, отозвался Алтынбаев, не отрывая взгляда от окна.

Все повернулись к нему. Оказывается, Хамит смотрел вовсе не на муху. Другая, более крупная «муха» привлекла его внимание. За окном, недалеко от крыльца волостного управления, у канавы большака остановился красивый тарантас на рессорах. В нем, заняв своим дородным телом почти все сиденье, важно развалился Гаитбаев — бай из аула Атзитяр, тот самый, что многие годы до революции был бессменным старшиной Бишкаинской волости. Он сидел в тарантасе и смотрел на затылки бедно одетых татар и чувашей, которые, сняв малахай и низко склонившись, о чем-то его упрашивали. Не поворачивая головы, Гаитбаев махнул им рукой и толкнул в спину куче-

ра. Гарантас тронулся и плавно покатил по улице.

Участники собрания зашевелились, мельком поглядывали друг на друга. Отводили глаза. Вздыхали.

Кулумбетов снял очки, стал протирать. Теперь он показался Садрисламу не приветливым Валиуллой-агаем, а другим — чужим человеком, скучным и злым. Вот опять надел очки, и снова засиял прежний Валиулла. Но разговор он начал, как показалось Садрисламу, не тот. Чужой разговор.

— А вот я считаю, что это нормальный и естественный облик сегодняшней деревни, хотя и не отказался бы увидеть ее не такой, лучшей... — Тут голос его стал жестким, требовательным («Как в Вэчека!» — подумал Садрислам). Кулумбетов стал прямо-таки допрашивать сидящих перед ним: — Давайте разберемся. От чего страдает сегодня деревня?

Садрислам охотно ответил:

— Конечно, от голода.

— А в чьих руках хлеб?

— Факт, в кулацких, — ответил Антонов.

— Хорошо. Вот бедняку нужно спасти детей от голодной смерти. Скажи, Имангулов, к кому он должен пойти? Что ты ему посоветуешь? Сейчас. Вот он спрашивает тебя...

Садрислам сидел, как провинившийся шакирд. Опустив голову, молчал.

— Да-а, — протянул Алтынбаев, поглаживая редкие волосы. — Ни Советы, ни комбеды у нас еще не восстановлены...

— Именно! Вся тяжесть и острота положения в этом и состоит. — Кулумбетов опять

смотрел только на Садрислама. — А ты думал, на все готовенькое придешь? Не-ет, туганым. Революция в деревне, считай, только еще начинается. Для этого и нужны здесь коммунисты. Для этого и собираемся сегодня организовать боевой партийный отряд, отряд революционеров. И первая наша задача — вырвать бедняка из лап кулака. Это прежде всего. Без этого нет революции. А потом и середняк станет нашим...

Здесь Садрислам вскочил с места:

— А чего церемониться! Отобрать хлеб у кулака и сегодня же раздать бедноте. Вот и вырвали ее из-под этой лапы...

— Ишь ты, шустрый какой, мой шакирд! — рассмеялся Кулумбетов. И добавил, уже серьезно: — И отбирать будем. Но как отбирать? Это уже решите вы, сельские большевики. Могу посоветовать пока только одно: отбирайте, но не по-бандитски. И в этом, скажу прямо, не благородном деле мы должны оставаться коммунистами. Отбирать надо так, чтобы кулак все же мог на будущую весну опять посеять. Но хозяином жизни тогда чтобы был бедняк. Чтобы не он пошел кланяться к кулаку, а кулак чтобы явился к нему с поклоном. Только долго ли мы протянем с «отбираниями»? От хорошей ли жизни идем к этому? Конечно нет. Это — крайнее средство. Главное же — самого бедняка надо научить исправно вести хозяйство. — Тут Кулумбетов остановился и опять испытывающе оглядел коммунистов. — Впрочем, вперед забегать не будем. Все покажет практика. Я не учить вас приехал, сами с головой. Перейдемте к делу. Ка-

кие будут мнения насчет организации волостного комитета партии?

— Известно, организовать, — сказал Садрислам.

— Против — нет? Хорошо. Кого же вы решаете выбрать секретарем? — поставив так круто вопрос, представитель канткома остановил свой взгляд на Алтынбаеве. И все повернули головы, стали смотреть на Хамита. Тот, слегка покраснев, опустил глаза.

— Подходящий! — уверенно сказал коммунист из аула Леканды.

— Годится! — поддержал и Имангулов.

Когда за Алтынбаева дружно поднялись пять рук, сразу стало веселее. Так же единогласно был избран заместителем секретаря Садрислам Имангулов.

Решили послезавтра же собрать волостной съезд и избрать волостное управление. После этого все семеро встали и торжественно притихли. «Интернационал» зазвучал негромко и неровно. Но собравшаяся у крыльца толпа слушала его, не двигаясь с места.

Растроганные словами гимна, волкомовцы со счастливыми улыбками смотрели друг на друга.

— Обнимемся, товарищи! — сказал Алтынбаев и первым положил свою здоровую руку на плечо Садрислама. — И поклянемся перед народом — отдать все наши силы за пролетарское дело!

— Клянемся! — почти шепотом сказал Садрислам.

— Клянемся! — нестройно прогудели остальные.

Постояли обнявшись.

— А теперь можно и обмыть это дело, как полагается! — весело сказал Алтынбаев.

И всем волкомом отправились пить чай к Хамиту.

IX

Файзулла-агай проверил на реке Кузьелге свои сплетенные из лозы морды и принес домой шесть сорожек, каждая с ладонь величиной. Пока, присев на пороге, выжимал на себе штанины, через вторые ворота, что возле хлева, вошла с коромыслом на плечах жена его Муслима, подгибаясь и охая под тяжестью. Не успев поставить ведра, принялась горько корить Файзуллу:

— Все еще ходишь за своей несчастной рыбой... Поехали бы лучше сегодня на нашу горе-пшеницу... Люди вон уже третий день на прополке...

— Ладно, мать, — поскорее согласился Файзулла. — Я вот шел домой и думал как раз об этом.

— Только сейчас думать начал... Ходишь все по мирским каким-то делам. Впустую убиваешь время, себя изводишь. А наши собственные заботы оставляешь на самый последок.

— Ладно, ладно. Вчера я был там, прошелся, посмотрел. Там... — Файзулла не договорил, махнул рукой.

— Хоть то, что богом дано, попробуем сохранить...

Войдя в чулан с земляным полом, прохлада которого ласкала босые ноги, Муслима поставила ведра на маленькое хике в углу.

— Ах, сынок мой, Шарифулла-балам, ты, оказывается, все еще не встал! Такой большой — девятый год пошел! Разве можно столько спать, зазывая бедность!

Шарифулла, взбрыкнув, сбросил с себя старый сакмэн, которым был укрыт. Несколько раз повернулся с боку на бок. Не открывая глаз, принялся к запаху, идущему из дома, — стоит ли вставать. Сморщил нос: все тот же знакомый дух. Варится нечищенная картошка.

В чашки льется морковный чай. Шарифулла то заглядывает с мольбой в глаза матери, то переводит взгляд в сторону печки. И, смягчившись, мать ставит перед ним глиняную чашку с отломанным краем, а в ней — катык, да еще положена сверху ложка сметаны!

— Ты же рабочий человек, сынок, подкрепляйся, — ласково похлопывает сына по спине. Вспомнив, Муслима достает из складок лоскутного одеяла, подвешенного к матице, кусок хлеба, испеченного из лебеды. Делит его на три неравные части. Самая большая — отцу, поменьше — «рабочему человеку». Самый маленький кусок — себе. И несколько крошек, что упали на домотканый ашъяулык, она с почтением подбирает и кладет в рот.

В телегу запряжен старый, состоящий из одних костей мерин, весь как бы обсыпанный гречкой. К грядке телеги подвязана деревянная бадейка с катыком. Шарифулла держит вожжи. Мерин устало трусит. Муслима то и дело дует в горшок, куда положены тлеющие угли, — чтобы не погасли. Позавчера уже было такое: погасли угли в очаге. Пришлось бегать от одной соседки к другой, просить огня.

Когда поднимались на взгорье Асы, Файзулла спрыгнул, стал подталкивать телегу, помогал мерину. То и дело, приставив ладонь ко лбу, оглядывал горизонт.

— Все еще нет... Если так пойдет и дальше, можно и... — самое страшное слово он не смеет произнести...

— Такая жара... — вздыхает Муслима. — Сегодня видела во сне, будто загорелась крыша. Это к засухе.

Некоторое время оба едут молча, головы опущены.

— Эй-й, вспомнила: про сон я говорила. Ведь я еще раз видела сегодня нашего старшенького. Будто бы вернулся Шафигулла домой. Все молчит. Нет, наверно, его уже в живых... Говорят, умершие, когда приходят во сне, не разговаривают. Пожалуй, так и есть. Был бы живым, разве оставил бы нас без вестей целых полгода?..

Файзулла, хоть и сам начал терять надежду, все же — который раз — стал утешать жену:

— Ты уж не говори так, мать. Дело-то военное. У него есть такая штука, как фронт. Когда у нас были белые, могло письмо перейти через фронт? Вот теперь, если аллах велит, письмо и придет.

Файзулла многое повидал в жизни, все знает. От его слов на сердце Муслимы становится легче.

Остановились у своей межи, которая протянулась узкой линией по отлогому склону. Файзулла, оглядев поле, присвистнул и почесал затылок. Вздохнула Муслима. Малоурожайный надел их словно щетиной покрыт —

так буйно разрослись сорняки. Кое-где покачиваются хилые ростки пшеницы.

Старая, измученная земля, изодранная деревянной сохой, которую еле волочила тощая лошаденка... Хлебороб всем нутром слышит, как стонет и жалуется его земля. Из года в год не видит она настоящего ухода. А положение самого хозяина еще хуже. Во-первых, темноват — работу земледельца знает лишь по опыту, перенятому от отцов и дедов. А время какое! Пашешь, а из-под сохи то гильза винтовочная вывернется, то осколок снаряда. Разве можно при такой жизни все внимание отдать земле?

Почва, с самой весны не видевшая дождя, печет ноги. Полольщики в молчании, каждый отдаваясь во власть своих дум, движутся к другому концу поля. Позади остается черная земля. Лишившись опоры, клонятся редкие хилые ростки пшеницы.

Вздохи. Тишина. Мягкий горячий ветер шевелит редкие стебли.

Не выдержал Файзулла. Не говоря ни слова, чуть приподнялся и так — не разогнувшись — направился к центру поля. Там выполол островок земли, он зачернел среди сорняков. Файзулла стоял перед ним, застыв, как кривая жердь. Помотал головой, прошел на другой конец поля. И там вскоре зачернело пятно прополотой земли.

— Пустое дело... — проговорил он, скорбно помотав головой. И распорядился глава семьи: — Лебеду и кошачье просо не трогать. Хоть эти злаки сбережем и смолотим. Вырывайте лишь осот, полынь и вьюнок.

Никто не откликнулся на его слова.

Шарифулла тащит из земли твердый осот. Крепко сидит, окаянный, — у мальчика вот-вот растянутся жилы. А руки от уколов прямо гудят. От боли навертываются слезы. И у матери с отцом вот-вот выступят слезы. Но не из-за колючек. Их рукам осот не страшен. Ладони земледельца давно уже превратились в черные подметки. К глазам взрослых слезы подступают из-за душевной боли.

Легкий ветерок носит над полем горький полынный запах. Это сохнут оставленные на межах кучки сорной травы. Высохнут — будет добавка к сену. Этот ветерок, пахнущий полынью, становится все горячее. В полдень солнце еще прибавляет жестокости. Уже почти нечем дышать...

Добрые дождевые тучи, спасающие земледельца от голода! Куда же вы запропали? Вместо них, равнодушные ко всему, плывут куда-то пухлые белые — бесплодные облака. Не видать на них ни одного пятнышка доброй черноты, обещающей благодатные капли дождя...

Старый тощий мерин подремывает в стороне, стоит неподвижно, будто прислушиваясь к тяжелым думам своего хозяина. У бедняги уже почти нет зубов, он не может щипать подсохшую траву. Изредка, вытянув морду и пофыркивая, он с жадностью вдыхает полевые запахи. И опять погружается в дрему.

У Шарифуллы темнеет перед глазами. С реки Кузьелга, оттуда, где расположено яйлэу Аллаяра, ветер доносит дым, запах вареного мяса дразнит голодного человека.

Файзулла, побагровев, выдергивает здоровенную плеть осота. Всю злость вложил. Удач-

но вышло — ничего в земле не осталось. Ишь, сорная трава! Борется ведь за жизнь... И человек — тоже цепко держится за свою землю. Отвоевывает у земли все, что можно взять.

Нынче хозяин стоит на земле увсреннее. И земля вроде стала просторнее — его земля. Недаром мчались в сражения, недаром проливали кровь. Файзулла чувствует себя борцом. От души крикнув, с треском выдирает еще один осот.

— Наверно, пора уже остановиться, отец, — впервые за несколько часов заговорила Муслима.

Шарифулла обрадовался — не дожидаясь, когда скажут, схватил ведро и побежал к Кузьелге. И вместе с водой принес весть.

— Атай! Аллаяр-бабай говорит... К вечеру, говорит, пусть твой атай приходит на питье первого кумыса! А твоя мать, говорит, пусть приходит завтра.

Лицо Файзуллы, который разжигал костер, будто бы прояснилось и снова потемнело.

— Вот, значит, как...

Муслима, занятая чисткой рыбы, положила на землю нож, смахнула с лица налипшую чешую и лишь после этого откликнулась:

— Ты думаешь, он созывает вас потому, что очень любит? Хитрая лиса! Угостит кумысом, приворожит душу, да и позовет к себе на прополку. Заранее заманит тебя косить ему сено.

— Что ж поделаешь. Бай берет фарманом, бедняк — дарманом ¹.

¹ Ф а р м а н — приказ. Д а р м а н — сила. энергия.

На этом и оборвался разговор об Аллаяровом кумысе.

А вот когда уха вскипела, когда запахло так, что и язык можно проглотить, пришла другая весть — поважнее. Радость прилетела на босых ногах Хаирзамана. Друг Шарифуллы, охая и ахая от быстрого бега, еще издали закричал:

— Суюнсе! Радость! Вам письмо!

— От кого? — все трое разом выскочили из-под телеги, где сидели в тени.

— От Шафик-агая!

— А-ах!.. Жив ли мой Шафигулла?

Вместо Хаирзамана ответил Файзулла, озаренный счастливой улыбкой:

— Раз есть письмо, значит, и сам жив. С того света письма не приходят.

Вот и исчезли все земные заботы! Только что сидели в молчании, каждый думал о чем-то своем, нелегком. Теперь у всех троих лица сияли.

— От него письмо, от самого? — Муслима все еще не в силах была поверить.

— Агайым говорил, что от него самого... Говорит, на канбирте написано: «Нигматбаев Шафик».

Жаль, но ни один из четырех, уставившихся на конверт, не мог разобрать выведенных на нем крючочков, петелек и завитков...

Единственное яйцо, которое захватили в поле для Шарифуллы, было отдано Хаирзаману — за суюнсе. В приподнятом настроении все четверо сели за уху и не заметили, как съели ее. Хотелось сейчас же отправиться домой, найти грамотея. Но далеко. Да и работу,

раз уж приехали, надо окончить, сделать все как следует. Ведь земледелец всю жизнь приучает себя к терпению...

Х

Каждый год, когда наступает пора доить кобыл, Аллаяр приглашает весь аул отведать первого кумыса.

Нынче он придал этому делу особое значение. Каждого пришедшего в его яйлэу встретил с грустью на лице:

— Спасибо, родной. Спасибо, что принял мое приглашение. Посидим, пока живы, побеседуем. Положим на середину и радости и горе. Это, наверно, будет последний наш кумыс. Дальше все кончится. Все ведь стали равными. Хотя я и раньше не был чужаком для каждого из вас. И год нынче, похоже, будет тяжелым. Последние пять-шесть коней, которых хранил как зеницу ока, тоже, наверно, пойдут в глотку.

Гость одобрительно поддакивал:

— Как же, конечно... Правильно...

Иные отвечали всего лишь молчаливым кивком.

Одним из первых со стороны аула показался человек в невиданной зеленой фетровой шляпе — совсем новой. Это Мухаметгали, недавно вернувшийся из германского плена. Приближаясь к яйлэу, он старался шагать как можно медленнее, опирался на трость городского фасона — с набалдашником. Сохранял степенность: не подумали бы, что торопится на угощение. Конечно же Аллаяр раскусил его с первого взгляда. Встретил гостя с солидной

почтительностью, расспросил о житье-бытье, потом сказал:

— Это хорошо, что ты пришел рано. Немного охладимся кумысом, посидим, побеседуем.

Мухаметгали вернулся из плена всего три месяца назад. «Совсем буржуем стал!» — восхищался народ, разглядывая его одежду. Только Аллаяр ничему не удивлялся. Окинул этого «буржуя» взглядом с ног до головы и сказал себе: «Далеко не ускачешь. Ко мне придешь». И надо сказать, как в воду глядел! Вернувшегося Мухаметгали ожидал в ауле его прогнивший, покосившийся дом с забитыми окнами и дверями. Жена его Ямиля уехала в родной аул Ташбаш еще в том году, когда Мухаметгали забрали на войну. Довольно грамотная молодая женщина, она учила в Ташбаше ребят.

Сейчас дом Мухаметгали кое-как приведен в порядок, в окнах новые стекла. Надел земли удалось засеять. Привез солдат в Утекэй и свою жену Ямилю. Однако забот у него не убавилось. Долго ли можно ходить по гостям, рассказывая о том, что пережил в плену? Этот человек, надевающий городские брюки и пиджак, сшитые из одной и той же материи, щеголяющий зеленой шляпой и блестящими ботинками, стал прежним крестьянином, кое-как сводящим концы с концами. Всего-то и было у него добра — костюм со шляпой да еще черный галстук и лакированная трость, украшенная металлической инкрустацией. И конечно же в один из своих черных дней он, держа шляпу под мышкой, пришел к Аллаяру,

попросил у него лошадь — вспахать и засеять свой участок.

Аллаяр, помедлив, все же в конце концов согласился.

— Если еще в чем будет нужда, опять приходи. По мере сил помогу. Если имею, не скажу «нет». Жизнь есть жизнь...

Вслед за Мухаметгали по склону Асы спустился Файзулла. Почтительные приветствия, расспросы о житье-бытье повторились. И гость и хозяин стали жаловаться друг другу на засуху. Тут Файзулла не выдержал — достал из-под тюбетейки письмо сына. От пота строки, поголубев, стали уже расплываться.

— Вот, от сына письмо пришло...

— Неужели от Шафигуллы! — живо воскликнул Аллаяр. — И-и, вот радость-то! Жив, оказывается. Вот радость-то! А ну, дай-ка.

Шафик не стал в своем письме накручивать: мол, вам, дорогим моим и многоуважаемым... — как было заведено писать к родным. Коротко передал приветы и сообщил о своем здоровье. «Услышав, что из наших земель Колчака прогнали, очень обрадовались — и я, и мои товарищи, — писал он дальше. — Наша башкирская Красная конница на сегодняшний день на Южном фронте. Ведем ожесточенные бои с белогвардейцем Деникиным. Силен пока враг. Он собирается нас выбить из-под Харькова и взять город, а потом двинуться на Москву. Мы стоим крепко. Все красные войска, не жалея жизни, воюют, как герои. И о наших красных башкирских войсках тоже добрым словом говорят. Вчера ходили в контратаку. Головы многих бандитов полегли на нашем пути. Не дадим им дол-

го буйствовать на российской нашей земле. Если будем живы-здоровы, скоро вернемся домой. Радость моя велика, атай. Я теперь коммунист».

Так Шафик закончил свое письмо.

Кончив читать, Аллаяр постоял, задумчиво хмурясь, и проговорил:

— Коммунист... Хм-м... Коммунист, значит, а? Ой-бай-бай, как вырос твой сын, Файзулла-кордаш! Замечательно! Поздравляю!

Файзулла так и не смог понять, что у Аллаяра под языком. Хвалил ли он сына и отца или же растерялся от неожиданности и хотел это скрыть? Но у самого Файзуллы в этот день была огромная радость. Сын — жив! А как вырос! Если вернется живым, большая будет опора в доме. Правда, слово «коммунист» насторожило и его самого. Радоваться ли этому или огорчаться? Быть коммунистом, говорят, дело похвальное. Только опасная работа... До Файзуллы доходят иногда вести: то тут, то там, смотришь, убили коммуниста. Несколько тревожит это слово. Вот он вернется живым — опять ведь придется глотать огонь, тревожиться о его судьбе...

Но все равно — радость, великая радость! Файзулла торопился поскорее вернуться и поделиться радостью со своей Муслимой, с маленьким Шарифуллой. Но Аллаяр, прочитав письмо, загорелся к Файзулле особенно нежными добрососедскими чувствами. Не дал ему и рта раскрыть.

— Где уж отпускать тебя! Долго ли осталось нам жить? Хоть отведаем моего последнего кумыса. Вот скоро твой Шафигулла возьмет да и приедет, дай ему аллах здоровья... —

Тут, прервавшись, Аллаяр мягко окликнул девушку, которая хлопотала возле котла: — Доченька Салима, вот уже гости начали сходиться. Поторапливайтесь. Стелите кошмы на траве. Чтоб гости не стояли на ногах, не маялись... — Затем, опять обернувшись к Файзулле, плутовато заметил: — К приезду наших красных воинов выращиваем таких вот красавиц! А? Судьбу свою, кордаш, не перешагнешь! Даст аллах, может, еще и сватами станем, хе-хе...

Вслед за ним скромненько засмеялся и Файзулла.

Мужчины неторопливо собирались.

— Латип! — Аллаяр довольно резко окликнул сына. — Что ты рот разинул? На килен глядишь? Ну-ка, помой гостям руки да зови их к ашъяулыку, к трапезе зови! А ты, сынок Касим, выноси корогэ с кумысом. Сам тоже садись с нами, послушаешь, о чем будут говорить аксакалы. Э-э-эх!.. Уж больно неповоротливы. Мой Муллаян сегодня по делу отправился к чувашам. Был бы здесь, не слонялся бы, как вы, не зная, за что взяться. Ну-ка, ямагат! Миряне! Устраивайтесь поудобнее на кошме!

Гости двигаются неспешно, заставляют повторить приглашения. На угощение и не смотрят, делятся житейскими заботами.

— Пшеница больно плоха...

Мухаметгали, выбрав удобный момент для рассказа о своих злоключениях в плену, влез в разговор:

— Эй, братья-друзья, как же родится хлеб там, где я побывал! Нимес знает цену земле... Вот взять бауэра, у которого я работал...

И-их! Только в люльке землю не копает! Чем только не поливает, чего только не сыплет. Там вовсе и не знают такой вещи, как прополка.

Слушатели поражаются.

— Да-а, не то что у нас. То война, то засуха.

— Грехи наши тяжкие. Проклятье аллаха, — говорит мулла Гайфулла, торопясь закончить разговор. — Икенде — вечерний намаз приближается. Айда, ямагат, сядем и благословим угощение бая.

— Хазрет, ты уж лучше не расстраивай меня, не обзывай баем, — роняет Аллаяр недовольно. — Теперь мы все — товарищи...

— Тогда, Аллаяр, и ты меня не называй хазретом. Говори просто: товарищ мулла, — Гайфулла, кашлянув, резко обрывает свои слова, надувается.

На табын поставили для гостей много масла, курута. Аллаяр сел и сам и, выставив колесо вверх, приставил к груди большой каравай хлеба, стал резать его, отваливая большие ломти. Латип еле донес большую деревянную чашу — ашлау с горой мяса, окутанной паром. Поставил на ашъяулык.

— Ну, братья, давайте же прикоснемся к тому, что есть, — сказав это, Аллаяр начал резать мясо, лежащее в ашлау. — Приступайте!

Тустакы — деревянные чаши с кумысом — пошли по рукам. Все замолчали, принялись за еду.

— Один только Садрислам не пришел, — с легкой обидой сказал Аллаяр. — Думаю, если бы один раз посидел, побеседовал с миром, не осыпались бы его позументы...

— Его же дома нет, — вступился Галиакбер-агай.

— Я ему говорил, — отозвался Латип.

— Раз знал, не следовало бы уходить, — заметил Мухаметгали и тут же перескочил на другое, опять заладил свое: — А вот у нимеса нет обычая собирать такую большую компанию гостей.

Его не стали слушать — как раз появилась новая бадья с кумысом.

— О-о-о! — радостно закричали все. — Целое корогэ!

— Вот это богатство. Афарин хозяину! Слава!

На утомленных, худых лицах гостей уже появилась первая краснота.

Кумыс в новом корогэ был чуточку горьковат — Аллаяр подлил туда самогону. Люди стали подвижнее, развязались языки.

— Товарищ Аллаяр-бай не первый раз в жизни дает ход своей щедрости, — опять выскочил Мухаметгали. — А вот у нимеса...

Пришлось хозяину остановить его:

— Ты, Мухаметгали, не надоедай гостям со своим нимесом, который находится один шайтан знает где. Нимес не придет и не поможет. Позаботимся лучше сами о себе. Нынче трава вон какая жидкая. Скоро подойдет время начинать сенокос...

— Да, жидкая, жидкая...

— Выклюнулась и уже сгорела...

— У кого нет лошади, тому и буран не враг, — сказал один из гостей, осушив очередной тустак кумыса. — Возьми да выкоси мой участок... Что-нибудь, наверно, заплатишь? По своему усмотрению...

— Заплачу, говоришь? За тобой ведь должок. За коня, за семена... Впрочем, ты же свой человек. Как-нибудь разогреемся...

— И мой участок бери... — проговорил до сих пор молчавший Зайнетдин. Этот сорокалетний, обросший темно-рыжей щетиной бобыль одиноко жил в домишке величиной с курятник. Как жил, чем поддерживал существование — никто не знал. Свой земельный надел всегда сдавал Аллаяру. Летом и осенью кормился у его порога. А зимой с пустым мешком отправлялся к чувашам, к русским. Но и когда возвращался, в его мешке было негусто: пара лаптей, а то и вовсе ничего.

Таких, кто предложил Аллаяру свою часть покоса, нашлось довольно много. На лице бая выступило удовлетворение. Подал знак — угощения добавили. Уже несколько раз принимался благодарить.

— Если так, — говорил он, будто растерявшись, — как же я со всеми вами расплачусь? Всего моего хозяйства на это не хватит! Сам вот-вот останусь голым. Может, подумаете еще? По осени-то коней, поди, начнете разводить?.. Не придете ли ко мне за вашим сеном? Кругом окажусь виноватым перед Советом...

— Не говори такое! На наших головах, хоть они и не чета твоей, а шапки все же есть!

— Что же поделаешь, — сказал мулла. — Нельзя оставлять святой дар земли, не подняв. Если не Аллаяру, то все равно безбожным чувашам отдадите. Или кяфырам-урусам. Пропадет земля, аллах покарает за такой грех.

— Верно, верно! — поддержали его гости.

— Ну, что же, тогда возьмемся и вместе сложим в стога. Умэ, помочь, устроим. И для детей с собой унести что-нибудь дам...

Разгоряченные гости загалдели:

— Ну конечно же! Всю жизнь ведь так делалось...

— Теперь времена другие, — остановил их Аллаяр. — Как бы в ком-нибудь из вас не осталась мысль, что я-де взял у вас сено силой, да еще работать на себя заставил.

— Не будет такого, не будет!

Так что угощение первым кумысом и на этот раз не обошлось людям даром. А завтра соберутся пробовать кумыс женщины. Они тоже вдобавок к своим «спасибо» пообещают выйти на прополку, ворошить сено.

На радостях Аллаяр мигнул Латипу, и тот, кряхтя, притащил еще одно корогэ кумыса. Стали разливать по тустакам, и тут кто-то закричал:

— Ба-а, Садрислам-турэ! Сам к нам идет!

Хлопотавшая у котла, поставленного над костром, Гюльюзюм бросилась в кибитку.

— Айда, начальник! Айда, мырза! — псл Аллаяр, выходя навстречу гостю. — Долгую жизнь проживешь! Только что мы все поминали тебя добрым словом!..

— Ну и горазд врать! — шепнул Галиакбер своему кордашу Файзулле.

Садрислам подошел, опираясь на палку, слегка прихрамывая. Кивнул всем.

— Оказывается, вот вы где. Если пожар начнется, весь аул может так сгореть.

Аллаяр с виноватым видом затоптался перед ним.

— Так это же самое... Все вместе, всем об-

ществом, как говорится. Всем ямагатом... Ведь так оно и водится в жизни...

Садрислама, загалдев, потащили на табын. Но он не сел. Взяв из протянутых рук один тустак, стоя сделал глоток. Чуть поморщился, повел на Аллаяра тяжелым взглядом и вернул обратно. Затем, словно проверяя, кто же здесь сидит, оглядел табын.

— Файзулла-агай, тебе завтра нужно в волость.

— Я-а-асно...

— Сафаргали-агай, на этой неделе, кажется, ты староста?

— Я! — вскочил на ноги и покачнулся изрядно захмелевший Сафаргали.

— В пятницу из канткома будет человек. Сход собирать. У кого в этот день будет висеть на воротах муят?

— Вроде у меня... — один из гостей почесал затылок.

— Снарядишь подводу, чтоб привезли на сход этого человека.

— Оно конечно... Ты же сам знаешь, у меня нет лошади, Садрислам-туган.

Сафаргали отрезал:

— Это не наше дело. Раз муят на твоих воротах, привезешь.

— Успокойтесь, успокойтесь, ямагат! — вмешался Аллаяр. — Не ломайте голову попусту. В одном мире живем... Раз приезжают такие уважаемые турэ — сам запрягу. До сих пор ничего не жалел для своей власти, могли теперь отказать? Пока в руках есть...

Аллаяр знал: если бы и не выскочил сам, все равно после споров и перебранок дело уперлось бы в него.

Только Сафаргали огорчился. Ну что бы этому сходу собраться после пятницы! Как раз кончится его срок. Был бы старостой кто-нибудь другой.

Да, в такое жестокое и не совсем ясное время, когда приходят то белые, то красные, в ауле нет дела труднее и опаснее, чем быть старостой. Никто не хочет быть в старостах постоянно. Намаявшись, пришли к решению: по очереди ходить в старостах всем. Каждый — одну неделю, как дежурство. Собственно, и забот у старосты не так уж много: назначать людей для рытья очередной могилы да обеспечивать начальство подводой.

Подводу снаряжают тоже по очереди. Староста приносит и вешает на ворота очередника муят — старый хомут, из которого для облегчения выдраны деревянные клещи. Если в этот день требуется подвода, хозяин двора, отмеченного муятом, закладывает свою лошадь. Если день проходит спокойно, хозяин, радуясь своему счастью, спешит перевесить муят на ворота соседа.

— Ну хорошо. Подвода за вами, Аллаяр-агай, — сказал Садрислам.

Попрощался со всеми и ушел. Гости больше не сажались. Поблагодарив хозяина, стали разминать ноги и потягиваться.

Мухаметгали, у которого не унялся зуд в языке, продолжал о своем:

— Нимес — ой, такой культурный... Утром говорит «гутен морген», в обед — «гутен таг». Если хорошо работаешь, скажет «зер гут». А если плохо — «руссише швайн». Дескать, урусской эсвинья...

Густеют сумерки. Неподалеку, на заболоченных берегах озера Табанлыкуль, звонко квакают лягушки. Медленно опускается прохладная ночь.

Вот уже Зайнетдин, незаметно отделившись от остальных, одиноко пустился в обратный путь — к аулу. Это его привычка: где бы ни сидел, как интересны ни были разговоры, стоит чуточку стемнеть — исчезнет в самый разгар беседы. И бесшумной тенью скользит к своему приземистому курятнику. В его домишке никогда еще не зажигался огонь. Ходят слухи, будто бы у Зайнетдина прижилась ведьма. Будто она, как только стемнеет, выходит из-под пола и принимает вид красивой женщины. А Зайнетдин будто бы тоскует по ней, ждет не дождется сумерек. А кое-кто даже слышал — как раз после того, как бобыль пропадал у чувашей, — шум в его доме. Видно, ведьма вконец оседлала тихоню Зайнетдина и дубасила за то, что пропадал так долго. Словом, дом Зайнетдина пользовался дурной славой. Не только в сумерки, но и днем его обходили подальше...

Зайнетдин уже подходит к вершине холма, его почти не видать в сумерках, сейчас совсем исчезнет. Вот он затаил свою единственную песню, совсем лишенную мелодии, — старый бобыль вспоминал о ней лишь изредка, когда бывал навеселе:

На том берегу Агидели-и-и

Лежат теленок и за-а-аяц...

Новая возлюбленная полным ашлау еду подае-о-от,

А прежнюю как вспомнишь — ах, никак слез не унять...

Никто, кроме бобыля, не пел эту песню. Какой в ней смысл сокрыт? Что это за теле-

нок, что за заяц и почему они лежат на том берегу Агидели?..

А вот то, как новая возлюбленная подает полное ашлау мяса, да и другую, прежнюю возлюбленную, — ай-яй, видел ли этот бедняга хотя бы во сне?

Перед тем как гости тронулись в путь, хозяин подал знак, и всем разнесли еще по одному — прощальному тустаку кумыса. Особенно ласково попрощался Аллаяр с Файзуллой.

— Кордаш, — шептал ему на ухо, отозвав в сторону, — на умэ люди, конечно, не очень торопятся устать. А ты сам стань во главе, на тебя глядя и другие проворнее будут косить. Мне-то неудобно ходить да подгонять. Прибавлю тебе немного...

Файзулла давно знает об этой привычке Аллаяра. Эти слова бай успел потихоньку сунуть в уши и Мухаметгали, и Сафаргали, и другим, кто повиднее. Каждый будет считать себя ответственным человеком на умэ, единственным, кому бай доверил весь ход работы. Уж эти доверенные постараются, выжмут у всех черный пот.

Когда яйлэу опустел, Аллаяр мягко подозвал Касима:

— Сын мой, сегодня на ночь отгони своих кобыл подальше — к лугам озера Табанлыкуль. Здесь уже все вытоптали.

Послушный егет, как всегда, молча отправился выполнять распоряжение хозяина.

Своему сыну Аллаяр приказал резче:

— Латип, гнедого запряжешь в тарантас. Невестку и Салиму домой отвези. Пусть выспятся, помоются в бане, завтра привезешь. Сегодня здесь сам ночую.

Табын быстро убрали. Посуду, привезенную из дома, помыли, спрятали под сиденье кучера в тарантасе. Гюльюзюм и Салима уселись позади, Латип — на облучке. Чуть дребезжа в вечерней тишине, тарантас плавно покатился. Гюльюзюм весь день провела на ногах, ее клонит в дремоту.

Со стороны озера Табанлыкуль донеслась протяжная песня:

Вставши рано, вышел встречать солнце, —
Ох, в долине нет моих лошадей.
В долине, ох, нет моих лошадей...
Ох, думы, думы — кого одолеют,
Тому уж не заснуть...

Салима чуть вздрогнула. Не Касима ли это голос? Его! Вот тебе и молчаливый парень! На людях рта не раскроет, а тут вон какую песню завел!

Весь вечер Касим сидел за спинами гостей. Изредка вспоминали и о нем, протягивали тус-так с кумысом. Салима, изредка подхажившая к табыну — подать или принять что-нибудь, каждый раз щекой чувствовала горящий, полный грусти взгляд егета.

Видно, догадавшись о чувствах Салимы, а может быть, просто потому, что девушка вздрогнула, Гюльюзюм мягко прижала ее руку к себе. Помолчав, шепнула чуть слышно — в самое ухо:

— А Садрислам-агай все-таки лучше всех остальных, правда ведь?..

Ночью, когда на яйлэу все стихло, тихо, словно тень, к кибитке подъехал верхом на коне Муллаян. На аркане он вел еще двух ло-

шадей, ноги их были чем-то обмотаны. Отец с сыном пошептались. Перед рассветом — еще затемно — бесшумно переправили коней на другой берег Ситъелги. Муллаян вскочил на одного, подтянул к себе остальных. Тихо зарысил к броду через Агидель, растаял в темноте.

XI

Из аулов и деревень Бишкаинской волости в ее центр — Хайгадак — прибывает народ. Обутые в лапти, хмурые от усталости крестьяне неторопливо подходят к большому деревянному дому волостного управления, но пройти внутрь никто не торопится. Одни устало прислоняются к штакетинам палисадника, к шаткому забору, другие, опустившись на крыльцо, вытряхивают из лаптей дорожную пыль. Толкуют о деревенских делах. А глаза устремлены к небу. Козырьком приставив ко лбу ладони, люди озирают горизонт. Ни одного облачка!

— Разор нашел на всю страну, лишилась земля благословения, — делает вывод один из деревенских философов.

Солнце приближается к полудню. Сегодня особенная духота — кажется, вот-вот вся земля вспыхнет. В заброшенном палисаднике перед волостным управлением среди крапивы и лопухов устало дремлют серые от пыли кусты сирени.

Лица людей тоже серы, печальны.

На крыльце — представитель канткома Валиулла Кулумбетов и Николай Антонов. Впол-

голоса о чем-то озабоченно беседуют. Вот вышел на крыльцо секретарь волкома, крепкий, быстрый в движениях Хамит Алтынбаев. Раненая рука его висит сегодня на черной перевязи. Хамит знает в лицо почти всех мужиков, прибывших в волость. Подходит к каждому, подает левую руку. Справляется о делах, о здоровье.

Тем временем со стороны Чувхайгадака, поскрипывая новыми лаптями, подошел еще один человек, хоть и не старик, но с окладистой рыжей бородой. На нем домотканая рубашка до колен, подпоясанная тонким ремешком. На воротнике множество мелких пуговок. Степенно побряхтывая, мужик кивнул всем и неторопливо направился к Алтынбаеву. Хитро оглядел его.

— Стравстуй, Камит-пелеш, знаком! — долго жал ему руку.

— Здравствуй, Тимирка-агай.

— Значит, вернулся, патыр? Ай-яй, как тебя сторово побили!

— Не-ет, — задорно рассмеялся Алтынбаев. — Это мы их побили!

— Уш неснай, прат. Руку-то сломали?

Хамит от души захохотал, здоровой рукой хватил Тимирку по плечу:

— Уж ты не сомневайся, пелеш. У беляков мы больше поломали. Особенно шеи!..

Вокруг них собирался народ. Имя чуваша было Владимир, но и сами чуваша и башкиры звали его Тимиркой. Этот расторопный и толковый мужик говорил всегда намеками и любил посадить собеседника на гнилой пенек.

— Ну, знаком Камит, что ты себе отвоевал? Покажи.

— Как что?.. — застигнутый врасплох, Алтынбаев растерялся. — Сам разве не видишь? Все отвоевали!

— Вижу... Голод, нищета да холера — все наше. — Тимирка, казалось, радовался своей находчивости. Но в голосе его заметна была горечь.

Алтынбаев задумался.

— Да... Теперь нам осталось добить и этих врагов.

— Чем же ты их добьешь? Одной рукой? Ружьем-то их не очень пугнешь.

— А вот мы их вдвоем с тобой...

— Ой, тур, тур, бог мой! Ведь я же не богач какой, и не государство, и не бог.

Хамит заулыбался:

— Если вместе возьмемся, Тимирка-агай, станем и богом, и государством, и даже баем!

— Не говори пустое! Хоть твоя фамилия и Алтынбаев, нет у тебя ни алтына. А бай ты такой же, как и я.

— Ну, а табак у тебя есть?

— Махра-то есть, да вот спичек нет.

— А у меня есть спички. Только вот бумаги...

Тут выступил вперед еще один курильщик:

— А у меня только бумага. Ни табаку, ни спичек.

Алтынбаев хлопнул Тимирку здоровой рукой по спине:

— Во-о-от, Тимирка-агай! Если бы мы не договорились и стояли порознь, даже покурить не смогли бы. Понял, какие мы теперь богачи? Давайте-ка присядем тут на крыльце, закурим и подумаем вместе одну думу. Чем мы не правительство?

— Смотри ты, какой он, сын Алтынбая! — воскликнул Тимирка. Пришлось ему признать свое поражение. — Вот ведь какой башкой вернулся!

Однако продолжить разговор и подымить досыта им не пришлось. На легкой телеге, гремящей коваными колесами, подъехал Кирилл Петрович — крепкого сложения старик из Дуровки. Все лицо его утонуло в рыжей бороде и усах, глубоко посаженные маленькие глаза едко поблескивали. Он был не на шутку чем-то взволнован. Резко спрыгнул с телеги и, ни с кем не поздоровавшись, пошел напрямиком на Садрислама.

— У-у, убивец! Вернулся! — зашипел. Толстые пальцы его дрожали. — А я думал, что ты уже подох! Убью-у!..

Люди поднялись на ноги, стали подвигаться поближе. Садрислам стоял в растерянности. Старик Кирилл вот-вот уже готов был вцепиться ему в горло. Но тут подоспел Алтынбаев, стал между ними.

— В чем дело, Кирилл Петрович?

— Убивец моего Федыки! Сам-то удрал!

И тут вспомнился Садрисламу догонявший его всадник со знакомым лицом... Вот пуля обожгла бедро. Садрислам обернулся, прицелился и выстрелил... Вот кто, оказывается, гнался за ним! А он-то ломал голову, все не мог вспомнить этого человека!

С трудом успокоив Кирилла Петровича, стали расспрашивать обоих. Оказывается, когда белые начали отступать, главарь отряда Митька Горохов уговорил Федыку уйти с ним. И вот — когда преследовали красных —

Федька нашел свою смерть от пули Садрислама.

Алтынбаев вздохнул и тронул старика Кирилла за плечо.

— Кирилл Петрович, сам рассуди-ка. Кто за кем гнался, чтобы убить? Имангулов за твоим сыном? Или наоборот?

— У меня в ляжке пуля, твоего Федьки пуля! — теперь Садрислам пошел на старика. — Хочешь, покажу, где вошла?

— Да понимаю я, все понимаю. Но ведь он же мо-ой сын! Единственный! Спасибо, что ли, тебе сказать, Галиакберкин сынок? Правда, может, и на твоей стороне, только... — Тут он с громким всхлипом повалился к ногам Садрислама, обнял раненое бедро. — Верни мне хоть кровь моего сына, Галиакберкин сынок! Я же не враг тебе... Хоть пулю вынь и отдай!

— Да, Кирилл Петрович, мы с тобой не враги, — Садрислам взял старика за плечи. Мужики помогли поднять его. — Кирилл Петрович, слышь? Твой Федька — не моя жертва. Митьки Горохова.

— Понимаю, все понимаю... Только Федька же мой родной сынок! Единственный! Митька, слава богу, сам подох — дошло до него мое проклятье.

Кириллу Петровичу помогли раскурить трубку. Покурив, он немного успокоился. Но все еще угрюмо молчал. Изредка всхлипывал, не поднимая головы.

Попросил табаку и Садрислам. Глубоко вдохнув дым, впервые познал сладость затяжки. Голова его пошла кругом, будто он хватил хмельного. Даже покачнулся. «Да, когда я

гнул спину на полях Дуровки, Федька не был моим врагом. Но потом... потом он стал врагом советской власти. Этой встречи нам было не миновать...»

Тут пальцы его обожгло — сам того не заметив, он высосал всю сигарку до конца.

Лишь после полудня Алтынбаев позвал всех в помещение. Стоя за неказистым столом, пегим от чернильных пятен, он открыл волостной съезд. Тут же к нему за стол прошел и уселся Валиулла Кулумбетов. Достал бумажку, шевеля губами, стал быстро-быстро водить по ней карандашом. Потом снял очки и, не переставая шевелить губами, устался в Файзуллу. За ним подсели к столу и Садрислам с Антоновым.

Кулумбетов, то говоря по-башкирски, то переходя на чистый русский язык, то смешивая оба языка, сделал довольно длинный доклад. Начал с империалистической войны, перечислил права угнетенного народа, которые ему дала революция, перешел к трудностям периода гражданской войны.

Файзулле доклад показался очень длинным и утомительным. Обо всем этом за последние два года он слышал много раз. В старом доме волостного управления, бревна которого насквозь пропахли табачным дымом, воздух становился все тяжелее. Люди вздыхали, вытирали пот...

Докладчик перешел к цифрам, рассказывающим о том, сколько сотен тысяч мужчин ушло на фронты империалистической и гражданской войн, сколько из них полегло. Много, очень много... Вслед за этим представитель сказал и о поголовье лошадей, которые были

уничтожены на войне, угнаны белыми, пошли под нож. Привел проценты. Очень большие цифры. Знает Кулумбетов, о чем говорит. Хоть и одет в городской костюм, а сам ведь — крестьянский сын. Знает, что главная опора села — это мужчина и конь. Потому и поставил их рядом.

Большие цифры! За время гражданской войны в одном лишь Малом башкирском юмхуриате шестьсот пятьдесят деревень превращены в пепел. Разорено семь тысяч крестьянских хозяйств. А если к этому прибавить Уфимскую губернию?.. Страшно большие цифры. Уши делегата из Утекэя Файзуллы ловят их не для того, чтобы записать в памяти. То и дело кивая, он как бы прикидывает эти цифры к тому, что видел в собственном ауле. Шевеля пальцем, он считает оставшихся в его Утекэе мужчин и лошадей. Рассохшиеся и готовые рассыпаться деревянные сохи, деревянные бороны, серпы, истершиеся, ставшие в палец шириной косы, цепи на лыковых веревках — все это Файзулла пересчитал во время доклада.

После доклада постановили: организовать новое Бишкаинское волостное управление. Его председателем был избран тот же Хамит Алтынбаев. Садрислам стал его заместителем по работе с комбедами. Дела, заведенные при власти белых, решили сжечь. Тут же вытащили из шкафа папки и торжественно сожгли во дворе, а пепел высыпали в мусорную яму и притоптали.

Пока, увлекшись как дети, занимались этим делом, поднялся ветер. Небо заволочло темнотой, ее рассекли камчи молний. Прока-

тился далекий гром. И снова молнии, снова гром. Собравшиеся на съезд стояли сняв шапки, распахнув воротники. Ведь приближался дождь, которого так ждали! Шел с грозой и бурей. Только не прошел бы стороной...

Ветер стал заметно холоднее. Повеяло сыростью. Мир вдруг затих, потом — совсем близко — сверкнула молния и прямо над головой загрохотало. Стал слышен новый шум — это близился дождь. Он шумел сильнее обычного, шуршал, вея холодом. Только бы к добру! Сердце крестьянина чуткое: что-то слишком белесы тучи, несутся, клубясь, вот-вот обрушатся на голову...

Тревоги оказались не пустыми. Крупные капли скупно процокали по крышам, пронеслись, прибив пыль. И сразу загредел град, сыпануло крупными, с воробьиное яйцо, льдинками. Косо падая, секли землю ледяные горошины, высоко подпрыгивали на ступеньках крыльца.

Сняв шапку, крестится Кирилл Петрович. Шевелятся губы Файзуллы...

Без спросу, без разрешения, по одному делегаты уходят, исчезают в темных переулках. И невозможно их удержать. Не обращая внимания на ураганный град, они торопливо идут — каждый в сторону своей деревни, своего аула. Так уж устроен человек: надо ему поскорей глянуть прямо в глаза своей беде.

Файзулла, еле волоча ноги, скользя на плывущей размокшей дороге, спешит в Утекэй. Он уже не замечает ледышек, больно хлещущих в лицо, не чувствует ни холода, ни боли. Все мысли его — об одном. А может, град не задел его поле?.. Ведь мог и стороной прой-

ти. Хоть лебеда уродилась бы получше... Какие же, однако, несчастья наслал аллах на страну! То кровь льется, то палит засуха, то град... Почему создатель так мучит хозяина земли? Неужели прав мулла, который сказал, что всевышний дает этим знать о своем гневe на людей? Не надо было поднимать суматоху, пожирать друг друга. Может, аллах показывает людям свое нежелание благословить новые порядки?

Все же владыка небесный не может долго занимать мысли крестьянина. Они опускаются на землю. Вот град уже пронесся и стал накрапывать дождь. Словно бы теплом повеяло на промокшего насквозь, стучащего от стужи зубами Файзуллу. Он снова заторопился, хлюпая в жидкой грязи, ломаясь вперед, сквозь непроглядную темень.

Сегодня его собственная земля, ставшая чуть просторнее, — весь его мир. У земли этой есть межи. И радость Файзуллы, и его горе не могут пока уйти дальше этих отмеченных межой границ...

...Запряженный парой аллаяровских лошадей легкий тарантас словно бы плывет, плеща и хлюпая. Двое седоков прикрылись одним плащом, не видят в темноте даже лошадей. Кучер Зайнетдин тоже не видит дороги; как только выехал из Хайгадака, свернул в сторону Утекэя и дал лошадям волю. Лошадь сама привезет туда, где кормится.

Кулумбетов и Садрислам едут в Утекэй проводить сход — организовывать Совет. Все, о чем можно было говорить, уже обговорили.

Оба задумались, каждый прижимался к теплomu боку соседа.

— Кого же поставить председателем? — спрашивает Садрислам. Он мысленно идет от одного конца аула до другого, возвращается, перебирая в уме немногих оставшихся в живых мужчин. Человека, которого можно было бы предложить без колебаний, все еще не нашел. Один совсем неграмотный, другой — забитое, жалкое существо, которое и рта открыть не может, боится слово сказать. А грамотные и незабытые — ненадежны.

— Посоветуемся. У народа спросим, — говорит Валиулла.

Они догнали промокшего, сгорбленного Файзуллу. Дрожа всем телом, он забрался в тесный гарантас, присел в ногах двух представителей. Дождь уже затихал.

— Как думаешь, агай, что натворил этот град? — спросил Валиулла.

— Что натворил? — И Файзулла забубнил под нос: — С вашим ничего не случилось. Вот только остальное... Что для детей...

Валиулла насторожился:

— Как это так: «ваше», «наше»?..

— Свое вы приедете и заберете осенью. Не спросите, была ли засуха, побил ли град, сколько выпало дождей... — Тут Файзулла, видимо, смекнул, что сказал лишнее. И округлил помягче: — Оно, конечно, надо. Правительство ведь, армия...

Садрислам вздрогнул всем телом, напрягся, — решил тут же заткнуть рот Файзулле. Кулумбетов вовремя толкнул его локтем, удержал от неосторожного слова. Все же Садрислам хоть и помягче, но высказал свое:

— У кого спросить, у кого забрать... Это мы еще посмотрим.

Обрадовался ли Файзулла этим словам или просто решил свернуть на безопасную дорожку — вспомнил вопрос Валиуллы и повернулся к представителю:

— Уж низнай, что наделал град, родной. Ну, дождь сыпал хороший, байтка. Просо вольнее вздохнет...

Сквозь темень пятнами выступили первые дома аула.

Хоть было уже поздно, в доме Галиакбера горел красноватый огонек. Лошадь свернула к раскрытым воротам. В это время скрипнула дверь сеней, слышались шаги. Садрислам не успел подумать, кто бы это был, — из ворот, почти коснувшись головы лошади, скользнули на улицу две тени. То ли очень легки были их движения, то ли шепот донесся — Садрислам почувствовал: прошли женщины.

Пока, войдя в дом, отряхивались, Сафура-апай расстелила на хике пообтершийся ашъя-улык и, к удивлению сына, выставила полбуханки хлеба, кувшин кумыса, кусок мяса, величиной с добрых два кулака. Садрислам удивленно заглянул в глаза матери. Та, незаметно для гостя, подмигнула. Тут Галиакбер-агай, уже забравшийся в тюр — красный угол хике, позвал к себе старого знакомого Валиулла, сунул ему за спину подушку.

— Айдате, проголодались, наверно!

Разлил по тустакам кумыс, нарезал тонкими ломтями хлеб.

Эта благородная пища, которой давно уже не пробовали в этом доме, оказалась очень

вкусной. Двое проголодавшихся мужчин съели до последней крошки.

Но Садрислам все ерзал на своем чурбаке, бросая на мать странные взгляды. Когда Кулумбетов вышел на улицу, не выдержал, спросил:

— Откуда все это?

— Как откуда... Как раз перед вашим приездом невестка Аллаяра была у нас. С Салимой. Вот принесли под передником...

— Почему это? — Садрислам насторожился, повысил голос.

— Сама удивляюсь... Гюльюзюм говорит: Садрислам-агай не смог попробовать первый кумыс. Его, говорит, доля. Нельзя пищу обижать... Такая приветливая, ласковая эта самая Гюльюзюм. Смеется. Ни за что не подумаешь, что это невестка Аллаяра...

Садрислам вскочил со своего чурбака.

— Почему приняли от них этот хаир-садака? Разве среди нас есть мулла?

Галиакбер посмотрел на сына, выпучив глаза:

— Ну и что? Ну и что такого? Раз это еда — не все ли равно? Смотри-ка, наелся — каким молодцом стал! Спасибо скажи. Не принесли бы они — как было бы стыдно перед Валиуллой-халфа.

— Так-то оно так, — Садрислам мягко остановил отца, который начал было выходить из себя. — Ты же сам знаешь, завтра у нас сход. Кто скажет, с какой целью они его прислали? Как бы не заставили нас съеденное выбросить обратно...

— Ладно, ладно, хватит вам, — вмешалась Сафура. — Не обижайте пищу, аллах по-

карает. Заставляете говорить то, что не веле-но было. Гюльюзюм, когда уходила, шепнула мне на ухо: «Принесла тайком, дома не за-метили».

Это еще больше озадачило Садрислама.

«Гюльюзюм... Почему эта байская сноха тайно принесла в этот дом еду? Среди ночи! Нет, неспроста это. Аллаяр ли послал, сама ли тайно принесла...»

Ломать голову не было смысла. Гость, вой-дя в дом, уже собирался укладываться на сэк-мэн, постеленный вдоль стены.

Садрислам и Валиулла с утра распоряди-лись, чтобы очередной староста Сафаргали к вечеру созвал сход, а сами пошли по аулу — узнать настроение людей, познакомиться с со-стоянием хозяйств. Собирались и поговорить с уважаемыми людьми аула о будущем пред-седателе.

Тучи за ночь рассеялись, поднялось ясное солнце. Все вокруг словно получило новую душу, ожило и приподнялось. Аул дышал вольнее, всей грудью. Над соломенными кры-шами, над землей, над плетнями поднимался пар. Трава на улице, заросли крапивы вдоль плетней — вся зелень, омытая дождем, стала ярче. Во всех звуках — радость. И в крике пе-туха, который взгромоздился на плетень, и в куковании, доносящемся из леса Кузбеляк. Теперь, когда скотины в ауле стало меньше, улицу почти сплошь затянула гусиная трава. Дорогу и ту еле различишь.

Два представителя, оставляя следы на тра-ве, густо покрытой росой, направились в дом

Файзуллы. Хозяин встретил их у открытой калитки. Штаны его намокли до колен, он, видимо, только что вернулся со своего поля — ходил осматривать хлеба.

На вопрос о здоровье ответил вздыхая:

— Рожь побило основательно. Но, похоже, встанет. А пшеница — там, считай, и бить было нечего...

Да, здоровье земледельца — в здоровье его посевов.

— Просу и гречихе еще не поздно, — добавил Файзулла. — Эх, перепахать бы пшеничное поле, посеять бы просо. Да где возьмешь семена...

Пока они беседовали так, подошли несколько мужчин из соседних домов. Стояли, прислушиваясь к разговору. Тем временем Муслима успела опустить в котел довольно крупную щуку и нескольких голавлей — неплохой был сегодня улов. Сварилась уха...

Все уселись вокруг ашлау. С мужской степенью черпали ложками, продолжая беседу. Было опять прочитано письмо Шафигулы.

— Молодец Шафик! — воскликнул Садрислам. — Коммунистом стал. Скорее бы возвращался. Вместе бы поработали.

— Похоже, что это будет не очень скоро, — сказал Кулумбетов, помолчав, прикинув что-то в уме. — Дел у них там, чувствую, много. Да-а... — протянул он, неторопливо отправив в рот ложку ухи. — Вот если бы в ауле была партийная ячейка...

— Коммунистов нет. Приедет Шафик, приедут другие — тогда работа пойдет легче, — сказал Садрислам.

— В ауле надо хорошенько посмотреть. Побеседуешь — смотришь, человек-то наш, можно начинать и в партию готовить...

Заговорили о будущем председателе аульского Совета. Задумались.

— Может быть, Галиакбер-агая? Грамотный человек, самостоятельный, — предложил Файзулла.

— Нет, — с ожесточением отрезал Садрислам. — Не пойдет. Отпадает. Сознанием не дорос. Да к тому же — отец заместителя секретаря волкома.

Помолчали.

— Может, Мухаметгали?.. — проговорил несмело кто-то.

Мухаметгали! Садрисламу до сих пор и в голову не приходила эта мысль. До отправки на войну Мухаметгали ничем особенным не отличался.

Грамоты совсем не знает. Пять лет был в плену. Чувствуется, там у него кое на что открылись глаза. Мужчины-то в ауле поредели, вот он и выделяется, заметен стал... Когда тупой косою косишь сено, остаются неперерезанные стебли и торчат на виду...

Интересно, как она зацветет, эта трава, какие даст семена?..

Все задумались: «Мухаметгали...»

Ни Кулумбетов, ни Садрислам, ни Файзулла еще не знали о том, что, пока они были в волости и, проведя съезд, добирались ночью до Утекэя, не спали и в доме Аллаяра. Там тоже состоялся меджлис, только негласный... Именно там впервые сказали: «Мухаметгали!» Когда представители кантона и волости направились к дому Файзуллы, староста Са-

фаргали, выйдя из дома Аллаяра, уже шел в верхний конец аула созывать народ на сход. Как принято в таких случаях, сначала расспрашивал о житье-бытье, затем переходил к делу. В домах, где есть мужчины, сказал: «Думается, надо поставить Мухаметгали». И, увидев, что с ним согласны, шел дальше. Так, начав с верхнего конца и дойдя до нижнего, он и привел «Мухаметгали» в дом к Файзулле.

«Подумать надо. Что скажет народ...» — к такому решению пришли сидевшие за ухой и поднялись.

ХII

Вчера вечером Гюльюзюм не отпустили на яйлэу. Аллаяр сказал, что придется малость пострять на кухне. Свекровь Гюльсагура, охая и вздыхая, сама отправилась туда. Меджлис продолжался довольно долго. И Сафаргали и Мухаметгали основательно захмелели. Лицо Аллаяра тоже приняло первый румянец сидящего в печи хлеба, но дальше этого не пошло.

Почему-то старались не выпускать Гюльюзюм из кухни на половину гостей. Вместо нее проворно носился с посудой и едой Муллаян. Он то и дело вбегал на кухню. Доставал из печи сковороды с подрумяненными мясными беляшами, длинным ножом сам вырезал верхушку, и по всему дому разносился дразнящий аромат начинки. Муллаян старался подольше побыть наедине с Гюльюзюм. Руки разделяют жареного гуся, режут на куски, а глаза так и пожирают стан молодой невестки.

— Кайнага, ведь руку так порежешь, — шутливо упрекнула его Гюльюзюм. Он понял это по-своему, пуще стал вертеться вокруг нее. Проносся мимо шурпу — бульон, норовил задеть руку или бок своей килен. Круглая морда стала багровой, маслянисто блестела. Бесстыжих глаз так и не отводит.

А один раз, забежав на кухню, склонился к килен и, обдавая самогонной вонью, дрожа, прошептал:

— Латип уснул!..

Гюльюзюм не могла больше держаться. Тихонько прошла в свою половину и, уткнувшись в подушку на хике, залилась слезами. До чего противен был ей весь этот лоснящийся от сала мир Аптелгалимовых! Из другого угла просторного хике доносилось мелодичное посвистыванье Латипова носа. «Почему мир переполнен плохими людьми?» — думала Гюльюзюм. При этом весь мир представлялся ей в виде дома Аптелгалимовых и населяли его почему-то одни мужчины.

Ее мысль о хороших людях тоже была ограничена мужчинами. «Все хорошие люди, видно, на войне. Или перебиты, или еще не вернулись...» Только одного хорошего может она отчетливо представить себе. Он из этого аула. Но как страшно — даже в мыслях — произнести его имя...

— Килен! Килен! — приоткрыв дверь, сам Аллайр позвал ее. Был благодушен, мягок. — Добавь гостям еще немного. Пить хотят. Наверно, сейчас уже разойдутся...

Муллаян больше не показывался. Кумыс в корогэ Гюльюзюм вынесла сама. Действительно, вскоре гости поднялись. Гюльюзюм

слышала, как, провожая Мухаметгали, ее свекор добродушно гудел:

— Вот станешь властью — неужели пешком будешь ходить? Достоинство надо поддерживать. Будешь пока запрягать моего гнедого со звездочкой. Справишь себе лошадь — вернешь.

Пьяный Сафаргали поддержал:

— Ызнамо дело. Если у человека, имеющего влас, скотный двор будет пустым, какой уж тут авторитет... У меня одну овцу... да, возьмешь... Если, конечно, изберут... Цену — то, хе-хе, как-нибудь потом...

Почти ничего не поняла Гюльюзюм из этих прощальных разговоров. Лишь сердцем почувствовала: говорили все не попусту.

Ночью ей не спалось. Рядом, не умолкая, посвистывал нос Латипа. Хотелось вскочить и убежать из душного, сытого дома. Куда?.. Только не из аула! В этом сером, полуголом ауле светилась все же какая-то искорка, она удерживала Гюльюзюм...

На рассвете во дворе послышался суматошный рык Аллаяра. Бай подгонял сыновей:

— Муллаян! Скачи на яйлэу, пригони кобыл! И Касима там не оставляй. Латип! Тебе, тебе говорю, что ты там чешешься? Ступай, быстрее приведи Зайнетдина.

Пришел, пошатываясь со сна, зевающий Зайнетдин, и суматоха усилилась. Принялись с грохотом укладывать на телегу бороны. Но каким проворным и сильным оказался сам Аллаяр! Этот пожилой бай казался таким медлительным, степенным. А тут хватить железную борону и в один мах кидает на телегу. И еще, и еще — одну за другой!

Отперли большой кандалный замок на амбаре, который с прошлой осени так и стоял запертым. А в амбаре еще амбар — чтоб никто не знал о его существовании. Там тоже небольшая дверь и тяжелый замок. Открыли и ее, и Муллаян с Зайнетдином, пыхтя, потащили к второй телеге четырехпудовые мешки с просом и гречихой. К этой телеге уже прицеплена единственная на весь аул конная сямка. А Аллаяр, вытирая пот с лица, все поторапливал, покрикивал.

Народ в ауле еще только просыпался, а из Аллаярова переулка уже выехали четыре телеги, каждая запряжена парой — пересевать участки, побитые градом.

Вскоре ко двору Аллаяра начали сходить соседи. У каждого под мышкой стеганая шапка, в руке — крапивный или холщовый мешок. Бай принимал просителей суховато. Но все же давал по пуду-полтора проса и гречихи с тем условием, чтобы осенью отдали в пять раз больше. Некоторые из мужиков просили в уплату за зерно взять на этот год их наделы — чтоб пересейл для себя. Тут же и подрядились к Аллаяру сеяльщиками.

— Ладно, ладно, пусть мир будет сыт. Если мир будет сыт — и воробью перепадет, не околеет! — шутил хозяин, провожая мужиков.

К обеду Гюльюзюм осталась одна в большом доме. Со всеми делами покончено, но руки скучают без работы. Все еще хлопочет: одно протрет, другое перенесет на новое место. А сама рассеянна, все думает, даже вздрагивает иногда. Хоть и одна, а все-таки с огляд-

кой достала исцарапанный осколок зеркала, заглянула в него. Есть в доме и большое — с дверь — зеркало, но Гюльюзюм не подходит к нему — не привыкла. А этот осколок — свой, из родительского дома привезла. Память о тех временах, когда была еще девочкой...

Из осколка смотрело красивое задумчивое лицо. Брови — два крыла ласточки. Черные глаза. Алые губы твердо сжаты. Аллах, оказывается, она нисколечко не изменилась! Может, это зеркало хранит в себе ее прежний облик? Фу, чепуха какая! — Гюльюзюм стало вдруг стыдно. Поскорей спрятала зеркальце в такое место, о котором знает только она да еще Салима. Вышла на крыльцо, постояла. Вернувшись, принялась взбивать подушки, которые и так стояли торчмя. «Для кого стараюсь?» — руки ее повисли. Стало даже душно. Гюльюзюм открыла окно, выходящее на улицу, и отпрянула. Не от страха, а от знакомой, невыносимой сладости. По улице шли двое к мугэзю — общественному амбару для зерна. Один — незнакомый, в черном городском костюме и в очках. Второй — Садрислам, он шагал налегая на свою палку, слегка прихрамывая. Они о чем-то разговаривали, поглядывали на дома. Посмотрели и на дом Аллаяра. Гюльюзюм отступила на шаг от окна. Садрислам, размахивая рукой, что-то объяснял незнакомцу. Вот они уже прошли, зашагали в нижний конец деревни.

Скрылись... И Гюльюзюм почувствовала, что она чего-то ждет. Может быть, это просто из-за одиночества? Но вот вернулась с яйлэу Салима. Ворвалась радостная, возбужденная. А чувство ожидания не покидало...

Снаружи возле открытого окна постучали в решетку палисадника.

— Хозяева дома-а-а?

Из дома не ответили. Это — неписанный закон. Когда приходят по делу, особенно летом, в дом заходить не полагается. Вот так постучат под окном и спрашивают, дома ли хозяин. Отвечать положено только мужчинам. Если хозяина дома нет, женщины молчат.

Не дождавшись ответа из дома, тот же голос с улицы повторил свой вопрос:

— Хозяева дома-а-а? — И добавил:— Сейчас же идите на сход к мугэзэю! И женщинам велено приходиться. Никто ыштобы не оставался!

Гюльюзюм снова замерла. Вот чего она ждала! Хотелось прямо сейчас же побежать туда, куда позвали. Посмотреть, послушать, что будут говорить... Ей показалось, что и у самой у нее есть на кончике языка несколько слов, которые просятся на волю. Вот так вырваться бы из этого дома, где и слова приходится отмеривать фунтами да осьмушками, и оставив за собой распахнутую дверь, открыв лицо, говорить, прямо глядя в глаза людям... Только как это можно — без разрешения свекра выходить из дома? Да еще идти туда, где соберутся мужчины!..

— Эх, Салима, Салимакэй! Пойти бы на этот их ысход до послушать умные слова того человека... Который приехал. И Садрислам-агай, наверно, хорошо говорит...

Покраснела, отвернулась в сторону.

— Ба-а, енге! Возьми да и пойди, если так хочется. Позвали же! — беспечно проговорила Салима.

— Тебе-то легко сказать, — засмеялась Гюльюзюм. И, вздохнув, добавила: — Слышно ли... Потом разговоров будет...

Уже под самый вечер вернулись с поля мужчины. Устали основательно, но были довольны: пересеяли почти все места, где пшеницу побилло градом. Продолжая говорить о завтрашней работе, которую тоже решили начать с утра, принялись за еду.

С улицы опять донеслось:

— Хозяева дома? Приходите на ысход!

Звать начали с самого обеда, но у крестьянина свой закон: пока не вернется стадо, пока не покончат с делами и не поужинают, — хоть что обещаай, все равно не соберешь.

На этот раз посыльный очень четко добавил:

— Чтоб дома никто не остался. Теперь савитский время. И для женщины ыравноправие!

Гюльюзюм бросила быстрый взгляд на свекра. Задержал и Аллаяр на своей килен испытующий взгляд.

С верхнего конца деревни народ уже неторопливо спускался к мугэзю. Вдруг Гюльюзюм почувствовала себя так, будто к ней вернулась улетевшая было душа. К мугэзю шли две женщины! Впрочем, им можно — они вдовы. Но вот, выйдя из соседнего дома, присоединилась к ним третья. Замужняя! Женщины шагали несмело, но шли. На сход! Пуще прежнего загорелась надеждой и Гюльюзюм. Аллаяр все больше хмурил брови. Наконец пробурчал под нос:

— Ты тоже иди... Раз времена такие...

Даже не подумав, Гюльюзюм бросила по привычке:

— Что вы, кайным, неприлично!..

Ай-й, отсохни язык! Ведь свекор теперь возьмет да и скажет: молодец, килен, не ходи, раз не хочешь. Поспешила исправить ошибку:

— Уж и не знаю... Если и Салима пойдет...

ХІІІ

Мугэзэй — продолговатый старый амбар — стоит несколько поодаль от домов аула. Раньше в нем хранился хлеб, который каждую осень в ауле собирали со всех дворов. Это и гэнэ несли в мугэзэй все, кто сколько мог. А весной хлеб раздавали семьям, которые начинали голодать. Вот уже несколько лет мугэзэй пустует.

Но на сход собираются по-прежнему сюда. Сегодня перед мугэзеем особенно много народа. Будут выбирать аульный Совет. Это не то что выборы старосты, не церемония с вешанием на его шею медали.

Народу сегодня больше еще и потому, что кроме мужчин пришли женщины. Сначала как будто и не поддавались уговорам, а вот все же собрались, стоят отдельным кружком, спиной к группе мужчин, и каждая держится за краешек платка.

Гюльюзюм с Салимой обошли сторонкой толпу мужиков и тоже присоединились к этому кружку. Их одежда была получше, чем у других женщин, обе сначала чувствовали неловкость.

В прежние времена на сходах стоял, не затихая ни на миг, такой шум и гомон, что люди подчас не могли услышать друг друга. Сегодня шума почти нет. Народ изнурен, печален. Год не обещает радости. Да и яркий кумач на столе, за которым будут сидеть прибывшие из канткома и волости представители, — этот кумач тоже внушает робость.

Первым говорил Кулумбетов. Как это было и в волости, он довольно пространно рассказал о происходящих в мире делах. обстоятельно обрисовал трудности и нехватки, в которых живут уезд и волость. Сказал, что советская власть вернулась навсегда. Так что надо и в ауле выбрать свою советскую власть и ее председателя. Самая важная задача на ближайшее время — восстановить разоренное белыми хозяйство, особо подчеркнул Валиулла.

Слушали молча. Каждый глубоко ушел в свои думы. Когда Садрислам спросил, нет ли вопросов к докладчику, никто не откликнулся.

Гюльюзюм могла бы задать очень много вопросов. О многом хотелось бы ей узнать... Но как же это — вдруг открыть рот и крикнуть перед всем миром...

Предложили выбрать председателем аульского Совета Мухаметгали. Кто-то стал перечислять его достоинства, говорил, что он многое повидал в жизни. Гюльюзюм беспокоили эти слова. Она почувствовала, что все это заранее было условлено на вчерашнем меджлисе в доме ее свекра. Вдруг сразу загалдели, заспорили в разных местах, стал нарастать привычный для сходов шум.

Аллаяр тихо стоял в сторонке, скрестив руки на груди. Не говорил ни слова. В другом конце стоял Мухаметгали. По случаю собрания он надел свою белую с потертым воротником рубашку и завязал на шее никому не понятную черную повязку под названием галстук. Прихватил и свою черную, инкрустированную трость.

— Как сам Мухаметгали-агай думает? — спросил его Садрислам. — Скажи перед народом. Если выберут, справишься?

Хоть Мухаметгали и знал, что в председатели предложат его, все же не ожидал: неужели придется говорить? Переступая с ноги на ногу, замялся:

— Я-то... что я...

— Выйди перед миром и говори! — крикнули из толпы. — Ты ведь раисом будешь! Биртсидателем, так сказать!..

Переваливаясь с боку на бок, мелко семеня, Мухаметгали подошел к столу.

— Я-то что... У нимеса это дело вот так поставлено... ну... там деревни такие аккуратные... Нимес знает дело... У них даже вот эти дороги, по которым в поле ездят или, скажем, в лес... Камнем, понимаешь, выложены — что твой брусок для правки бритвы.

— Опять запел про своего нимеса!

— Здесь ведь сабитски влас...

— Про сабитски влас говори!

Окончательно растерявшийся Мухаметгали умолк. Тут Садрислам шепнул на ухо представителю из канткома несколько слов и поднялся.

— Товарищи! Старшие и младшие! Не мучим ли мы Мухаметгали-агая, требуя от него



непосильного? Мы живем уже два года при советской власти. Надо прямо сказать, что эту советскую власть мы завоевали собственной кровью, на ноги поставили собственными руками. А Мухаметгали-агай... Нет, я не хочу сказать, что он в чем-нибудь повинен. Просто он ведь был в это время в немецком плену. Всего лишь два-три месяца, как начал жить при советской власти. Нет ничего удивительного, что он мало знает нашу с вами жизнь. Пусть привыкнет, разберется, поучится... Может, нам стоит немного подождать?

Все смолкли. Эти слова заставили людей призадуматься.

Муллаян, сидевший на полуразрушенном крыльце мугэзэя, вдруг вскочил, и его волкодав Буребыу тоже встал.

— Мухаметгали выберем! Он...

Что он хотел сказать еще, никто так и не услышал. Аллаяр подскочил к своему старшему сыну и, дернув за рукав, заставил опять сесть.

— Пока ни в чем не разбираешься, нечего тебе соваться! Сиди и слушай, о чем говорят турэ — начальники!

И сам тут же начал говорить:

— Наш собственный коммунист товарищ Садрислам правду сказал. Говорить речи о советской власти Мухаметгали еще рановато. Не будем требовать невозможного — Садрислам говорит совершенную правду. Да, правду он говорит, когда советует немножко подождать. Поработает, привыкнет, — научится и речи держать про советскую власть. Если будет исполнять то, что ему будет повелевать советская власть, если будет отстаивать нуж-

ды народа, — думаю, с него этого вполне будет достаточно... А речь я говорить не собираюсь. Только хочу поддержать слова почтенного Садрислам-узамана...

Народ одобрительно зашумел. А Аллаяр шагнул назад — туда, где стоял раньше, и принял беспечный вид. Совсем не подал виду, что рад этому шуму.

Взял Садрислама мягкими руками и больно посадил на твердое. Вон как повернул! Садрислам решил немедленно внести в дело ясность.

— Товарищи! Я иное имел в виду. Может, пока не будем выбирать? Может, найдется другой человек, более подходящий? — вот что я сказал.

— Канишна! — вдруг поддержал его юный Тахаутдин, до сих пор молчавший. — Мухаметгали уже при должности. Вчера нанялся к Аллаяру. Уже и обмыли!

— Эй, аксакал! — крикнул ему Муллаян и показал пудовый кулак. — Забыл? А то напому...

— Кыш, петухи! — Аллаяр добродушно засмеялся. — Товарищ Тахаутдин, и Советы карают за клевету.

— Давайте выбирать! — закричал, зашумел сход. — Мухаметгали наш, свой человек!

— Он же неграмотный!.. — вдруг послышался голос.

— Зато жена у него — Ямиля-килен — с образованием! Она же мугаллимэ, учительница!

— Будет вместо бисаря!

— Выбираем! Выбираем!

Решением схода Садрислам остался недо-

волен. Да и собой тоже. Его слово не было принято народом! Может быть, он плохо знает Мухаметгали? Может, новый председатель аулсовета сумеет все же работать? Только почему Аллаяра так уцепился за него? Ведь как искусно провел свою мысль! Наверно, здесь что-то кроется. А народ — почему же он стоит так дружно за Аллаяра? Ведь этот народ совершил революцию и завоевал свободу, стал хозяином жизни! Ему бы следовало гордо отвергнуть все, что предлагает кулак!

Конечно, основную причину Садрислам давно почуял. Досадно, горько, но это так: советская власть еще не освободила мужика от кулацких лап. Сил еще не хватает. Политическую свободу народ получил. Но почти весь аул по горло в долгах у Аптелгалимовых. И вряд ли скоро люди избавятся от этих долгов. Год-то вон какой, ничего хорошего не сулит. Так что приходится садиться на арбу Аллаяра. А если уж сел — известное дело, затягивай и его песню. Ведь что привезли с собой представители из кантона и волости? Только хорошие обещания. От Аптелгалимовых вроде больше проку, — так думает осторожный крестьянин, который не раз уже обжег губы, научился дуть в ложку...

Долго раздумывать не было времени. Сход перешел к вопросу о комбеде. Как представитель волостного комбеда, слово получил Садрислам. Он рассказал о задачах, стоящих перед комитетами крестьянской бедноты. Через комбеды Советское правительство подаст руку помощи крестьянам, которых белые разорили и довели до нищеты. Объяснив это, Садрислам задумался, подбирая дорожку покоро-

че, чтобы от общих слов перейти прямо к делам аула Утекэй.

Тут ему помог Сафаргали. Он только что освободился от должности очередного старосты и почувствовал себя вольнее. Да к тому же еще и подвыпил.

— Камбит! Камбит!.. — он скривил губы.

— Ну, ну, говори, Сафаргали-агай!

Сафаргали не заставил себя упрашивать.

— Камбит! Камбит! Приезжаете сверху да все говорите, говорите. Да... Такие слова великолепные... Стоишь да и таешь, как масло. А под поясом все так же пусто. Сам черт не разберет, что это за кэмит! Низнай.

«Кэмит» — это же он «комедия» хочет сказать...» — Садрислам шевельнул бровью. Народ сдержанно засмеялся. Хмельной Сафаргали еще больше разошелся.

— Есть такая бабушкина сказка... Принесла невестка откуда-то полтустака гороху и отдала свекрови: «Размочи для ужина». Старушка горох убрала, а сама жует да жует. До самого обеда все ходила да жевала. А невестка смотрела-смотрела и не выдержала: «Ах-хай, кайнэм, ты же этак съешь все, а детям что останется?» Тогда бедная старушка достает из своего беззубого рта горошину и подает невестке. Оказывается, как утром взяла одну в рот, так и ходила весь день, перекатывала во рту... Вот и мы — не становимся ли мы похожими на эту старушку? С тех пор как нам дали влас, только и делаем, что толкуем об одном и том же. И сыты не становимся, и слов не убавляется. Старухе простительно, у нее зубов не было, а горох все-таки был. А наши зубы вот! — Тут Сафаргали ощерился, по-

казывая всем свои желтые лошадиные зубы.— А гороха нет! У Совета есть камбит, а помощи нет! Неужели это слово значит: сабитски камбит — сам себе пособит? Сам себе пособить и я могу, в меру сил. Только на кой тогда черт нам все эти сабиты да камбиты?

Тут его прервал неожиданно осмелевший Файзулла:

— Постой-ка, Сафаргали-энем!¹ Не выходи-ка из рамок... Ты что — из голодающих? Скотина у тебя есть, не обижен. И от Советов никакого вреда пока тебе не было. Что это ты так обливаешь Советы помоями! Ведь слышал, какое тяжелое время переживаем. Кому-кому, а уж тебе-то можно бы и потерпеть. Ишь, сейчас ему подай! Раз Советы сказали, значит, все так и будет. Комбед даст. Но вот, видишь, хлеба побил град. У кого есть семена — пересевают. А что делать тем, у кого нет? Ждать? Через два дня будет поздно. Советы учат: помогите друг другу. У кого есть лишнее — делитесь, не будем ждать, пока привезет комбед. Вот и надо бы поделиться, — он метнул взгляд на Аллаяра. Остальные тоже взглянули в ту сторону, но тут же и отвернулись — как бы бай не заметил.

Аллаяр, будто ничего не слышал, молча стоял все в той же позе — скрестив руки на груди.

Завершил Файзулла свою речь крепким русским «давай!»:

— Дауай, пусть поделятся. А осенью народ по справедливости отдаст. Ведь грешно оставить землю пустой...

¹ Энем — младший брат.

Народ одобрительно загудел. Садрислам и Валиулла удовлетворенно переглянулись. Вчере ночью, когда они ехали втроем под хлюпанье колес, Файзулла нагнал на них уныние. А сегодня агай высказал прямо-таки государственную точку зрения!

И вдруг из кружка женщин, из того единственного места, где все время стояла глубокая тишина, прозвенело отчетливо:

— Ну конечно же! — это был голос Гюльюзюм.

Мужчины смолкли, обернулись. А Гюльюзюм уже скрылась между платками — видать, готова была провалиться сквозь землю.

— Гюльюзюм, килен, говори, говори, раз уж начала! — закричали мужчины. И женщины, окружившие Гюльюзюм, стали подталкивать ее. Правда, вытолкнуть ее не удалось. Но из-за платков все же послышался застенчивый голос Аллаяровой невестки:

— Что же тут говорить. Файзулла-агай правильно сказал... Помогать друг другу — это хорошо... Потом, если посмотреть хорошенько — ведь очень жалко ребятишек... Сестры, давайте вместе подумаем... как-нибудь приведем их в человеческий вид...

Соблюдая приличие, Гюльюзюм говорила не всему собранию, а словно бы советовалась с женщинами, стоявшими вокруг нее.

— Все, что сможем, соберем как-нибудь... Хоть один раз в день покормить их, бедняжек, горяченьким. Вот и наши... Тоже ведь могут что-нибудь выделить. Ведь не совсем уж обеднели... Э-э-э, не умею я говорить... — Гюльюзюм умолкла, и толпа женщин окончательно сомкнулась вокруг нее.

— Хо-ой, Гюльюзюм-килен, маладес!

— Долго живи!

Даже Аллаяр на этот раз не смог скрыть свое удивление. Выпучил глаза в сторону кружка женщин. А когда соседи обратили внимание на него, усмехнулся, помотав головой. Все заметили: недобрая была эта усмешка.

Кулумбетов удовлетворенно зашептал в ухо Садрислама:

— Вот тебе и первая активистка!

Тот замотал головой:

— Это невестка-то кулака? Дождешься от них. Наверняка здесь что-нибудь подстроено.

Он понял, что пришло время ему досказать свое слово. Не спеша поднялся.

— Товарищи! Все вы говорили правильно. Конечно, комбед поможет. Он ведь только начинает работу. Особенно правильно то, что сегодня мы сами должны помочь друг другу. Советская власть — это мы с вами. Зачем же ждать, пока правительство само принесет и положит перед нами все, что нам нужно. В самом ауле есть возможности. Вон Аптелгалимовы — за бесценок занимают земли других... Пользуются тем, что ваш хлеб градом побило...

И сразу прозвучал грудной, сытый голос Аллаяра:

— Грех на душу берешь, Садрисламулым! Я никого не неволил. Даже не уговаривал. Кто сам пришел, тому дал, оторвал от собственного рта. Сами же говорите, что земля не должна пропадать. Разве Советы запрестили куплю-продажу? — Его голос ослабел, задрожал от обиды. — Чью я землю взял силой? Не отдал ли вам свое последнее?

— Верно! Маладес, Аллаяр! — раздались голоса.

— Правильно! Спаситель наш!

— Однако с таким «спасеньем» надо кончать, — отрезал Садрислам. — Пусть каждый сам сеет... Зимой-то что есть будете? Сами же говорите, что для проса и гречихи еще не поздно...

— А семена, семена где взять!..

Садрислам постучал карандашом о стол.

— Завтра же взять на учет все запасы, у кого есть. Пусть хозяева отдадут семена в долг тем, у кого нет. Осенью столько же вернут. Пуд за пуд! Такое нужно вынести решение. Вот у Аптелгалимовых...

Снова раздался жалостный голос Аллаяра:

— Садрислам-улым, зачем несправедливо обижаешь? Все, что было, я уже раздал. Ничего уже не осталось. Если есть закон — ищите, обыскивайте. Грабьте...

— Взять на учет, — твердо повторил Садрислам. — Аульный Совет завтра же утром должен приступить к этой работе. Чтобы не позднее чем завтра народ успел посеять.

Мухаметгали послушно кивнул.

— И второе: обязательно открыть ашхану — столовую для детей. Некоторые женщины... — Садрислам не захотел назвать имя Гюльюзюм. — Они правильно здесь говорили. Завтра же надо собрать игэнэ. Пока подоспелет помощь от комбеда, сами будем подкармливать детей.

Кулумбетов, не поднимаясь с места, поддержал Садрислама:

— Вон там говорила килен... Как ее зовут?

— Гюльюзюм! Гюльюзюм! — закричали из толпы.

— Гюльюзюм-килен введите членом комитета бедноты, пусть отвечает за сбор игэнэ и за ашхану для детей.

Одобрительно загудели. Обернулись в сторону женщин — Гюльюзюм там уже не было. Садрислам ничего не сказал. Сидел, собрав на лбу складки.

Сход закончился. Тут Тахаутдин и еще один егет сняли со стола красный кумач, привязали его к палке и полезли на тесовую крышу мугэзэя устанавливать флаг. Народ расходился. Уже было довольно темно, и казалось, что движется вся улица. Неподвижной оставалась только фигура Аллаяра — он все смотрел на крышу мугэзэя, на полоскавшийся над нею флаг. Чуть поодаль темнели еще две фигуры — ожидавшие его сыновья.

Гюльюзюм пришла домой — почти прибежала. Зажгла в большой половине лампу и убавила фитиль — чтоб горел не так ярко. Сердце билось часто, лицо горело. Пусть стыдно, а все же высказала то, что жгло душу. Хоть отбавила чуть, а то слишком уж много накипело. Знала: когда вернутся мужчины, коршуньем налетят.

Будто воздуху не хватало — выбежала на крыльцо. Все тело овеяла успокаивающая ночная прохлада. «Ладно, пусть говорят, что хотят», — отмахнулась рукой от навязчивых опасений и вышла за ворота. Сразу увидела белую фигуру Салимы — девушка шла, почти прижимаясь к забору. Чуть не плача, шепнула:

— Не взяли, енге... Сафура-инэй даже отвернулась. Как будто я со злом к ним пришла. Вот так, не оборачиваясь ко мне, стоит и говорит: «Дитя мое, мы хаир-садака не собираем. И Садрислам ругается...»

Гюльюзюм вспыхнула. Стыд какой — на сходе так не краснела. Встретить бы сейчас Садрислама да поговорить. Сказать бы ему все. «Ты не смотри на меня так косо, агай, ладно? Я ведь желаю тебе только хорошего. Ты же хороший человек, я знаю... Ты...»

Многое сказала бы ему Гюльюзюм. Только знает она — все это невозможно...

Тут Гюльюзюм, вздрогнув, отшатнулась к воротам, слилась со столбом. Мимо, прихрамывая, шел Садрислам.

— Садрислам-агай! — то ли прошептала, то ли сердце выстучало. — Садрислам-агай!..

Не услышал. И хорошо, что не услышал, — что могла бы сказать ему Гюльюзюм? Ведь если бы подошел — ни слова не нашлось бы. А кажется — так много надо сказать...

С нижнего конца — со стороны мугэзэя, разгоряченно переговариваясь, шли еще несколько человек. Первым показался Муллаян. За ним, словно жеребенок, мелко топотал Латип. Сзади — Аллаяр.

Гюльюзюм незаметно скользнула в ворота, влетела в дом. Прибавила огня в лампе. Как человек, ожидающий нападения, напряглась. Дверь распахнулась, ударилась о стенку, и Муллаян, даже не оглянувшись на свой — старый — дом, ворвался сюда. Вошел и, сжав оба кулака, остановился. Глаза выпучены, горят злым зеленым светом, заросший подборо-

док выставлен вперед. Неужели хищный зверь вот так и смотрит — ай-яй, как это страшно!..

Из его подмышки вынырнул Латип, в руке лопатка для очистки лемехов от земли.

— Убью-у, сука!

Прямая женская фигура посреди комнаты не шевельнулась. Даже конец платка Гюльюзюм не держала сейчас в кончиках пальцев. Не прижимала его к лицу, как раньше.

В этот миг могучие, со вздутыми венами руки Аллаяра схватили обоих сыновей за плечи.

— Муллаян! — зашипел бай на старшего сына. — Пока по-хорошему говорю: убирайся. Есть у тебя дом — иди и дубась свою жену сколько душе угодно. — Он подтолкнул Муллаяна к выходу. Тощего, как сухой курай, Латипа, схватив за шиворот, подвел к другой двери: — Иди, иди на свое хике. Угощай сон, а то он заскучал по тебе.

Теперь перед Гюльюзюм остался только один зверь. Но он был страшнее тех двоих. Аллайр не сразу накинулся на нее. С минуту смотрел рачьими глазами. Медленно покачал головой.

— Бесстыжая! — хрипло прошептал. — Как жеребец заржала перед всем народом!

Это был уже не тот ласковый свекор, который всегда ее защищал, отводил от нее злобу сыновей.

— Какой позор! Хоть ложись да умирай. От сытости, от сытости прыгаешь, детка! От жиру! С завтрашнего же дня чтоб ноги твоей не было на пороге этого дома. К вшивым своим голодранцам иди!..

Гюльюзюм опустила голову и, обойдя свекра, молча шагнула к двери.

— Ку-уда! — заорал Аллаяр, стал на пути. — Хо-ой, змея! Прыткая какая! Подождика уходить. Свата... Отца твоего вот вызову и поговорю. Тогда и иди... — Он вышел, громко хлопнув дверь. Звякнула накладка, тяжело стукнул замок.

Гюльюзюм долго стояла посреди горницы. Ноющие удары сердца отдавались во всем теле. Но слезы не подступали. «Может, правда, от сытости прыгаю?» — подумала она.

Вышла в малую половину, легла на свое место. В мыслях все спрашивала себя: «Может, мне, женщине, не надо было выскакивать?» Сразу же предстал перед нею в темноте сухощавый, хромо́й человек, опирающийся на палку. Нет, ему не понравился бы ход ее мыслей. «Надо уходить, — к такому выводу пришла она. — Ни дня не останусь в этом доме».

Рядом спал ее Латип, посвистывал носом. «Что я здесь оставляю? — думала Гюльюзюм, гневно уставясь в темноту. — Уйду завтра же!» Пришел еще один вопрос: «Куда?» Задумалась. Но так и не решила — усталость взяла свое. И сама не заметила, как уснула.

Над крышей мугэзэя развевался красный флаг Совета. Однако аул был пробужден все тем же голосом муэдзина, который, как и вчера, нараспев провозглашал азан с минарета мечети.

— Аллахиакбар, аллахиакбар! — неслись привычные слова утренней молитвы. — Эшхади энне иллахи иллаллахи!.. Эшхади энне мухамедрасулулла...

Кулумбстов прощался с Садрисламом. Он уезжал в другой аул волости проводить такой же сход. Давал Садрисламу свои последние советы:

— Ты, дружище, действуй обдуманнее. Народ все еще не знает, кому верить. Вчера я на сходе все прислушивался и вот что подумал: жестковато ты действуешь. Сплеча рубишь, напропалую. Надо быть немножко дипломатом... Конечно, в хорошем смысле... Надо действовать, хорошо зная, что спрятано под языком и у тех и у других.

Когда солнце поднялось над домами, хозяин, на воротах которого висел муят, подал повозку. Садрислам остался стоять посреди улицы...

Аул сегодня особенно оживлен. Из дворов выезжали телеги. У кого нет лошади, выходил с мешком или лукошком за спиной — все направлялись в поле.

Словно выждав до того момента, когда повозка с представителем кантона скроется с глаз, на улицу вышел Мухаметгали и, мелко семеня, направился к Садрисламу. С независимым видом подал Садрисламу лист бумаги:

— Дела, как говорит нимес, зер гут стали, брат. Вот тебе эсбискэ.

— Что это за список?

— Эсбискэ тех, кто не имеет семян. Я называл имена, а жена моя Ямиля записывала. То есть мой бисэрь...

Садрислам внимательно посмотрел на председателя.

— Хорошо. Список, скажем, составлен. А дальше что? Какая от этого польза?

— Есть уже и польза... Теперь они все с

семенами. Вон, видишь сам, сеять пошли. Взяли у товарищей Аптелгалимовых. И товарищ Сафаргали добавил, кому не хватало. И еще несколько товарищей — из тех, что повольней дышат.

— Как же это получилось так быстро? — Садрислама озадачило сообщение Мухаметгали.

Новый председатель деловым тоном ответил:

— Не спали. Время ведь не ждет.— Он уже понял по взгляду Садрислама, какой вопрос назревает в его душе.— Все сделано, как вы... то есть сабиты, велели. Справедливо... по согласию. Вот здесь все в эсбискэ записано. Вот и тамги и подписи.

И правда — на этой бумаге красиво и отчетливо было записано, кому и сколько дано проса и гречихи и кто дал. Получившие поставили кто свою подпись, кто тамгу — крестик или замысловатый значок.

— Один эсбискэ остался у тех, кто дал семена. А второй аулсовет взял, то есть я.

Такое важное дело и так быстро, удачно завершено! Садрислам обрадовался. Однако закрадывалось и сомнение. Как же это новый председатель сумел так ловко повернуть дело? Странно: все обошлось без ссор, без строгих внушений. Даже поугагать никого не пришлось! Вышел сегодня из дома, решив возглавить эту работу, а его вмешательство и не потребовалось. Вот ведь как получилось!

Да, Аптелгалимовы не спали в эту ночь. Позвали Мухаметгали и Сафаргали, велели записать всех, у кого нет семян. Ждать, пока нагрянут комбедчики и потребуют, не было

смысла. Лучше уж самим показать добрую волю. Да и о том, сколько вернут осенью, можно будет договориться. Три ли, пять ли пудов отдадут за пуд — с глазу на глаз легче решить. Так что до рассвета весь аул уже был обеспечен семенами. Очень довольный этой удачей, Аллаяр подошел утром к Гюльюзюм, которая доила корову, и мягко сказал:

— Килен, вчера я, кажется, резковат был с тобой... Ладно, уж, мы ведь не чужие... Возьми вон пуд проса, отнеси в мугзэй. Пусть будет наше игэнэ. Да и гречки прихвати.

— Теперь начнем выполнять второе решение, — сказал Мухаметгали, не давая Садрисламу нахмуриться. — Говорю про ашхану для ребятни. Вот сейчас возьму с собой Гюльюзюм-килен и Файзуллу... Мы же выбрали их... Пройдусь по домам. Кто сколько даст...

— Правильно! — Лицо Садрислама посветлело. Все о семенах да о семенах думал. А о детишках голодных и забыл...

— Поставим Гюльюзюм варить. Сытый человек на детскую еду не позарится.

Лицо Садрислама опять нахмурилось. Опять эта Аллаярова Гюльюзюм! Что нужно этой невестке бая? Как репей — так и лезет в глаза. И эти тоже — так и норовят хоть куда-нибудь да втиснуть свою!

— Это еще посмотрим, — жестко отрезал и смолк. Вспомнил, что председатель аулсовета не он, и добавил мягче: — Сами смотрите, вам решать.

Подошел Файзулла. Постоял, терпеливо выжидая, наконец влез в разговор:

— Игэнэ-то вроде соберем... Кое-что по мелочи найдется. А вот с солью как быть?

Да, с солью действительно получается загвоздка. Прямо-таки чернос горе. Нет, и надеяться не на что. Но Файзулла, оказывается, пришел не просто поныть, пожаловаться. У него и дельный совет был припасен.

— Что я думаю: не взять ли мне моего Шарифулла и вашего Хаирзамана да не поехать ли на Усолку — поварить там соли дня два-три?..

Верстах в тридцати от Утекэя возле аула Табын в Агидель впадает солоноватая река Усолка. В годы войны народ съезжался сюда варить соль. Дело нелегкое: сожжешь воз дров, выпаришь бочку воды — получишь горстку черной соли... хоть горстку, но получишь!

— Поезжай, поезжай, агай! — с радостью подхватил Садрислам это предложение.

В волость он отправился в приподнятом настроении. Народ посеял все-таки свои просо и гречиху. Открыть ашхану для голодных ребятшек — тоже дело нешуточное. И соль будет в супе — Файзулла уже выдрал из очагов свой котел и котел Галиакбер-агая. Сразу же и на телегу уложил. Да и Мухаметгали расторопным оказался. Похоже, что будет работать неплохо.

Выйдя за околицу, оглянулся. Над коньком мугэзэя тихо полоскался на горячем ветру красный флаг.

XIV

Во дворе Аллаяра звонко засмеялась Салима. Это она сорвала с Касима кэпэс — сте-

ганую шапку. Напялила себе на голову и бросилась убегать. Касим, приподняв задок телеги, смазывал оси. Он неторопливо сунул помазок в ведерко с дегтем и нехотя затрусил за Салимой вокруг телеги.

— Говорю же тебе, отдай! Мне за дровами надо, Аллаяр-бабай заругается!

— Догонишь — кэпэс будет твоим! Поймай! — Салима выбежала за ворота.

Тут Касим услышал за забором голос соседки:

— Бесятя-то как! Все с жиру, с жиру...

Стало неудобно. Хоть и собрался было как следует припустить за Салимой, схватить, чтоб завизжала, и отнять кэпэс, — но сдержался. Пошел к телеге. Поостыв, подошла поближе и Салима.

— А еще говоришь — егет! Кэпэс носишь! А сам и меня не можешь догнать! На, бери свой кэпэс, хи-хи-хи! — и надвинула ему кэпэс по самые брови. — Ты что молчишь? Касим... — Она нагнулась к уху егета, зашептала: — Касим, я тебе сделаю еще один платочек, ладно? А когда у Ямили-апай научусь писать, вышью на платке и твое имя... А кругом цветы... Касим, а ты что мне подаришь? Давай дружить, а? Ну что ж ты молчишь? Ну тебя, какой-то...

Касим незаметно сунул помазок в ведерко и вдруг мазнул дегтем по голым икрам девушки — они были почти на уровне с его наклоненной к колесу головой. Салима взвизгнула, словно ее ужалила змея.

На крик, хрипя и охая, выбралась на крыльцо старуха Аллаяра Гюльсагура,

— Салима, ох-ох, что это ты вой здесь подняла? Ых... Работы нет, что ли, у тебя... Ых... На ногах-то у тебя что, чернолапая?.. Ай, поганая...

В это время из двери аласыка — летней кухни — появилась Гюльюзюм, неся на коромысле два ведра, доверху нагруженные узелками. В руке — третье.

— Сестричка, пойдем, поможешь до мугэзэя донести...

— Чтоб из двух ног со двора ни одна! — зашипела с крыльца старуха, даже забыв охать. — Куда еще подбиваешь девчонку? Хватит того, что сама свихнулась с пути... Ых... В темную могилу вгоните меня... — Старуха, всплакнув, поднесла к глазам кончик платка. — Айда-ка лучше, Салима... Собирайся, кызым. Вон Қасим по пути отвезет нас на яйлэу...

— Кайнэм, почему у тебя такие тяжелые слова? — мягко проговорила Гюльюзюм. — Как это я свихнулась? Кормить детей — это же для нас самих будет сауап — зачтется на том свете... Люди всем миром стараются, а тут...

— Кто же против детей? — Голос свекрови опять стал суровым. — Тебя жалею! Вари тут, вари и корми — ни слова против не скажу. А то целыми днями пропадаешь, возишься с этой вонючей нечистью. Нет чтобы о муже подумать, о семье... Хы!..

— Не знаю, кайнэм, чем не угодила тебе. Уж как стараюсь — ни одного дела дома не остается. Ведь варить здесь Садрислам-агай не велит...

— Хы!.. Садрислам! Дубина кафыров!.. — Резко постукивая клюкой, ворча что-то под нос, свекровь ушла в дом.

Опустив голову и закусив губу, сгибаясь под грузом трех тяжелых ведер, Гюльюзюм вышла на улицу.

— Енге, ты уж не серчай... — проговорила Салима, проводив ее до ворот. Настроение ее совсем упало — будто и не она только что, хоча, носилась по двору.

Гюльюзюм и Ямиля уже больше недели вместе готовили для детей еду — из тех продуктов, которые удалось собрать. Но до сих пор еще Гюльюзюм не привыкла к Ямиле. Сначала варили обеды во дворе Аллаяра и раздавали их прямо у ворот. Там не было времени для откровенных разговоров. Да и место было неподходящее. Опрятно одетая, с белым воротничком, выпущенным поверх зеленого бархатного камзола, эта молодая женщина всегда смотрела прямо в глаза. Ее гладко расчесанные на прямой пробор волосы, нежные белые руки — все это казалось чужим. Было страшно первой начать с нею разговор. Что ни говори, ученая женщина. Скажешь что-нибудь необдуманно — еще засмеется. Оттолкнешь ее от себя. Всю минувшую неделю молодая килен Аллаяра незаметно присматривалась к мугаллимэ, и с каждым днем ее удивление росло: сама Ямиля ведь приехала не бог весть откуда — всего лишь из аула Ташбаш, а в облике ее, в каждом движении так и чувствовалась учительница — вежливая, образованная. Как же могла она, такая, ни на

кого не похожая, принять в мужья этого темного, совсем неграмотного Мухаметгали, готового к тому же лизать Аллаяру пятки? Как они разговаривают друг с другом, какие слова находят? Хотя... ведь живет же Гюльюзюм с Латипом?

Единственной подругой Гюльюзюм, с которой можно поговорить как с близким человеком, была пока лишь Салима. Но перед нею невозможно полностью раскрыть то, что таишь в душе, — она все еще девочка. Гюльюзюм частенько бросает на Ямилю взгляд, полный ожидания. Когда же Ямиля, у которой все, за что бы ни взялась, получается так красиво и к месту, — когда же мугаллимэ сама скажет ей первое слово? Конечно, не о крупе или соли...

Файзулла-агай привез с Усолки полпуда соли. К этому времени Садрислам уже запретил варить еду для детей в аласыке Аллаяра. Очень уж неприглядно это: как только из трубы аласыка повалит дым и ветер запахнет пшеничным супом, к дому Аллаяра, похожему на красивую игрушку, бегут малыши. Одни без штанов, другие — в лохмотьях вместо рубашки, тонконогие — бегут с тустакками и ложками в руках. словно ожидая подачи, часами томятся, уставясь на ворота бая.

Когда Садрислам увидел это, у него волосы встали дыбом. Нет, эти дети народа, завоевавшего свободу, не должны обивать порог бая. С нынешнего же дня пусть учатся высоко держать голову, быть гордыми!

Галиакбер, Файзулла и Мухаметгали, нарубив хвороста, втроем сплели против мугэзэя стены аласыка. Нашли несколько кирпи-

чей, притащили камней и, намесив глины, сложили очаг. Прошел еще день, и ашхану перевели к мугээю. Перед аласыком повесили на веревке ржавый лемех плуга. Дети должны собираться лишь тогда, когда Гюльюзюм ударит камнем в этот лемех. Но может ли ждать голодное дитя? Еще и вода в котле не вскипела, а они уже несмело подходят к мугээю. Поблескивают потухшие глаза, шмыгают носы. Так и норовят ребятишки хоть разок взглянуть сквозь щели плетня на котел...

— Муки осталось лишь на одну затирушку. Енге, что завтра будем варить? — спросила Гюльюзюм с убитым видом. — Наши все смотрят, как бы я не унесла чего из дома, — добавила, словно оправдываясь, не поднимая головы. Это были первые слова, которые она произнесла от горестного сердца, не чувствуя отчужденности. И эти слова как бы перекинули мостик через речку, разделявшую двух женщин. Общая забота сразу сблизила их. Две женщины стояли по обе стороны очага, и каждая читала в глазах подруги одну и ту же невеселую думу.

— Эх, родненькая, и я о том же горюю... — вздохнула мугаллимэ Ямиля. — Пришло распоряжение, чтобы наши послали в кантон обоз. Будто бы что-то должны привезти. Два дня, как уехали, а все еще не возвращаются. А всего ведь тридцать верст. Может, попусту болтали?

Пока приготовили мучную затирушку, пока покормили детей, помыли посуду и прибрали, две килен стали близкими подругами. Ведь здесь не двор Аллаяра и не его аласык, срубленный из сосновых бревен. Что ни говорите —

на воле. Этот аласык и Гюльюзюм и Ямиля считают своим. Ведь это же первая постройка в ауле, которая не принадлежит никому, а, как говорит Файзулла, — «упший». Да... Если взяться за дела сообща, этих «упших» вещей станет куда больше!

И у Гюльюзюм, и у Ямили нашлось много слов, которые давно просились на волю. Оказывается, и горести и печали у обеих почти одинаковые. И для того чтобы поделиться между собой горькой правдой, не нужно подыскивать умные, ученые слова. Самые простые слова — это ведь слова и самые ясные.

В детстве Ямиля, как многие девочки из ее аула, ходила учиться к абыстай — жене муллы. За одну лишь зиму сумела выучиться грамоте. Ее подруги, как частушки, пели: «элеп, бей, тей, сей...» — но так и не поняли, на что это может пригодиться. А это была арабская азбука. Узнав значение букв, Ямиля с жадностью набросилась на книги, стала читать. К следующей зиме в ауле не осталось ни одной книги, которую она не прочитала бы. Ее стыдили: «Еще научись и письма писать егетам!» И верно — упорная девчонка научилась и писать. А в один из дней оказалось, что она намного грамотнее самой абыстай! Ямилю стали звать в дома — написать или прочитать письмо. Читая книги, Ямиля узнала, что в мире существует такая штука, которую называют «театром». Даже выпросила у одного шакирда книгу, по которой играют театр. Собрала девчонок и мальчишек, устроила из паласа занавес, и все они принялись на хике играть этот самый театр. А тут еще стали приходиться письма от шакирда. Один раз даже посылку

с книгами прислал. Отец с матерью стали беспокоиться — ведь дочь входила уже в тот возраст, когда начинают ждать сватов. «Дочка твоя всех детей развращает своим шайтанским тыятыром, — выговаривал мулла отцу Ямили. — На ваши же головы собирает несметные грехи». И решили, пока не случилось ничего худшего, выдать ее замуж: Еще семнадцати лет не было, а уже, хорошенько припугнув, увезли ее в аул Утекэй к молоденькому тихоне мужу, сыну знакомого человека. Правда, Ямиля и Мухаметгали прожили вместе всего лишь три месяца. Не успели даже как следует узнать друг друга и привыкнуть, как началась германская война. Мухаметгали с самого начала увезли на фронт, и там он пропал без вести. Отца его уже не было в живых, скоро отошла в мир иной и свекровь. И Ямиля вернулась к родителям в Ташбаш, там решила ждать своего мужа. В родительском же доме учила детей грамоте.

Так и прошло около шести лет, пока не вернулся из плена ее Мухаметгали.

И вот они встретились. Не муж — сплошная загадка. Как он раскроется в конце концов? Какая жизнь ждет Ямилю впереди?..

— Апай! Раз ты такая сильно грамотная, ты, наверно, коммун? — не скрывая своего восхищения, однажды ни с того ни с сего проговорила Гюльюзюм.

— Не-е-ет! — усмехнулась Ямиля, махнула рукой.

— А я, если бы грамотной была, сразу записалась бы в коммуны, — взметнув вверх изогнутые брови, Гюльюзюм остановила на Ямиле прямой и открытый взгляд.

— Нет, мне никто не нужен. Ни коммунисты, ни белые, ни красные. Мне бы одно: чтобы все люди были равны и счастливы. Чтобы уважали друг друга, любили, чтоб не было притеснений.

— Эй, апай, ведь я же совсем темная. Как слепая курица. Мне ведь, как и тебе, хочется читать книги. Чтоб все на свете повидать, чтоб глаза раскрылись. Буквы-то я разбираю... Правда, забывать начинаю, что знала.

— Ты еще молодая, сестрица. У тебя есть время. Лишь бы в мире все успокоилось...

— Нет, апай, не выйдет, похоже, ничего. Все нити надежды оборваны. Буду, наверно, нюхать навоз коров нашего Аллаяра, пока в могилу не уйду...

— Не говори так, туганым. В мире все идет как будто к хорошему. Да и сама ты не из слабеньких. И языка, по-моему, не лишена. Дом у тебя полон книг — читай да почитывай. Сама увидишь — до осени успеешь стать лучшей моей помощницей. Как раз к открытию школы.

— Эй-й, апай... Это только сказать легко.

К мугэзэю со скрипом подъехали две телеги. Гюльюзюм и Ямиля ожидали, что из кантона действительно прибудет обоз — что ни воз, то гора груза. А на этих телегах лежали всего по два-три мешка да тощенькие узелки.

Как раз в это время Садрислам, приехавший из волости, собрав Мухаметгали, Файзуллу, Тахаутдина и еще нескольких егетов, проводил с ними беседу о партии и комсомоле. Увидев приехавшие из кантона возы, прервали свой разговор, поспешили к мугэзэю. Мухаметгали даже присвистнул:

— Только и всего! А уж разговору было... Если бы нимес посмотрел, сказал бы — швах...

Садрислам остро взглянул на него — мол, придержи язык при народе — и распорядился перенести в мугэзэй привезенное добро. Из аула уже спешили любопытные. Все входили в мугэзэй и рассаживались — кто на старых ящиках, кто на разохшихся, готовых упасть лавках. Вошел и Садрислам. Оглядел всех и остановился перед своим отцом Галиакбер-агаем, который, основательно расположившись около Файзуллы, вынул из своего кэпэса тубетейку и как раз собирался надеть ее на бритую голову.

— Атай, — Садрислам сморщил лоб, — тебе лучше бы пойти домой...

Галиакбер-агай тяжело поднялся на ноги. Лицо его потемнело.

— Что же это со мной приключилось, сынок? Почему вдруг я стал ненужным?

— Ты не член комбеда.

— Хы... — Глубоко обиженный старик направился к выходу. У двери остановился. — Если я не нужен, то о себе хотя бы позаботился. Скоро босым станешь, бегая по мирским делам. А ведь в одном из этих мешков есть хотя бы пара сапог.

— Отец! Ради аллаха, не беспокойся. Мне ничего не нужно.

— Хы... Коммуном стал, так... Собственное твое коммуство и не может тебя прокормить. Поешь-то идешь ко мне, не к своим коммунам.

Нахмутив лохматые брови, старик еще раз с обидой произнес: «Хы...» — и, сгорбившись, вышел из мугэзэя. Все, кто не был членом ком-

беда, почувствовав, что сказанное касается и их, уже успели выйти.

— Ну, Мухаметгали, ты — председатель, — сказал Садрислам. — Берите на учет все, что привезли, и делите между теми, кто больше всего нуждается.

— Ситца — тридцать пять аршин, — проговорил один из егетов, вернувшихся с обозом, и вытащил из мешка светло-серый сверток.

— Кому раздадим? — спросил Мухаметгали.

— Кому не во что одеться. Сначала детям, конечно, — сказал Садрислам.

Файзулла смотрел на дело иначе:

— Дети, они и есть дети. Летом и без штанов побегают. Есть женщины, у которых нет даже мешков, чтобы прикрыться. Из-за того и приходится им дома сидеть...

— Верно, верно, — заговорили все члены комбеда.

Ситец решили отдать вдовам, у которых худо с одеждой. Спички оказались без коробок — в бумажных пакетиках. Постановили раздать на каждый двор по пакетику. Зажиточные дворы в расчет не брать. Из восьми пудов гречневой крупы четыре оставили для детской ашханы. Остальное постановили разделить между семьями, где имелись больные, обессиленные люди. Ямиля тут же села составлять список.

Несколько бутылок мутного керосина даже не стали делить — оставили для нужд аульного Совета.

— Ну что же. Утро вечера мудренее. И у нимеса, оказывается, так говорят. — Мухаметгали, потянувшись, поглядел из окна на длин-

ные вечерние тени. — Подумаем-ка одну ночь. Не забыть бы кого...

С ним согласились.

— Ты хорошенько запри мугэзэй, — посоветовал Файзулла. — И ночью глаз не спускай.

Вышли, отправились по домам. Гюльюзюм с ведрами на коромысле уже входила в свои ворота. Как это она успела?

XV

Поднимаясь на крыльцо, Гюльюзюм чуть не налетела на Салиму, сидящую на ступеньке. Перед девушкой стояли игрушки: деревянный самовар, чайник и чашки...

— Ах, сестричка! — Гюльюзюм рассмеялась. — Уж не в куклы ли собралась играть?

А Салима и в самом деле зачастила, как малое дитя:

— Это Касим привез мне из лесу. Сам сделал. Вот эта большая чашка — ему. Он — отец. Эта — мне, я буду мать. Вот эти маленькие — нашим малышам... Красиво ведь, енге, а?

— Красиво, очень красиво! — Гюльюзюм похлопала по спине свою юную подружку и, посмеиваясь, прошла в дом.

Только в доме этом долго веселым не пробудешь. Пора готовить ужин. А там вернется стадо с пастбища. Оглашая весь аул мычаньем, заполнит двор...

Алляр и Латип вернулись с поля лишь поздним вечером. Муллаяна все еще не было — вот уже два дня выл Буребыу на цепи.

Лицо старшего Аптелгалимова было задумчивым, жестким. Он грубо прикрикнул на Салиму:

— Опять разбросала на крыльце свои шайтановы погремушки! Неси теплой воды!

Войдя в дом, захлопал дверьми. Пинком отбросил бухарскую кошку, которая ласково прильнула к его ногам.

— Где вы все? Подошли, что ли?

Гюльюзюм, подоив коров, отнесла ведра в аласык и выбежала навстречу Аллаяру:

— Вы звали, кайным?

— «Звали», «звали»... — Он окинул взглядом свою килен, постоял молча. — Распутная! Кобылица бесстыжая! Тьфу! Все попохатывашь возле мугэзэя... Метелка поганая...

— Кайным, зачем так обижаешь? Никакого же греха за мной нет. Все ведь из-за детишек...

— Хватит! Как отвечать научилась! Хо-ой, существо чернолицое! И лицо ведь не прикроет! Детишки... Нашла себе детишек — все сопляки да оборванцы... — Тут он перенес свой гнев на Латипа, который, переступая с ноги на ногу, пошмыгивал носом сзади него: — Хо-ой, бестолковый! Ходишь тут, носишь мужское имя... Заимела бы свое дите — не бегала бы на улицу, не ржала, как кобылица. Сидела бы дома, утонув в дерьме своего дитяти...

— Кайным...

— Чего еще ждешь? Что губы развесила? И нас хочешь с голоду уморить? Готовь-ка, давай что-нибудь...

Опустив голову, Гюльюзюм ушла в аласык. «Несчастливая моя голова, — шептала сквозь

слезы.— Сюда приду — мучат. А там — не верят...»

Через некоторое время услышала за спиной мягкий голос:

— Килен, ты уж не обижайся на старика...

Гюльюзюм обернулась. Почти всю дверь аласыка заполнила плотная фигура Аллаяра. Вид у свекра был жалкий, прибитый.

— Сам не рад... Вот так накинусь на человека, а потом всю ночь не сплю, каюсь. — И опять заговорил — все о том же, уже не раз слышанном: — Для вас ведь стараюсь. Ведь это жизнь, а в жизни всякое бывает. Даст аллах, наступят дни, заживем в дружбе и согласии, как птицы, будем перекликаться песнями... Хорошо еще, что ты у нас есть, доченька. На кого бы еще мог опереться?

Тут он оглянулся назад и крикнул Латипу:

— Все еще возишься? Запрягай, запрягай живее! Поедем в Чувашский Хайгадак, там я заказал, чтобы наткали мешковины. На яйлэу сегодня Сафаргали хочет ночевать.

Садясь на телегу, Аллайр продолжал ласково приговаривать:

— Ты же смотри, доченька, в доме ни одного мужского существа не остается. Будь здесь и глазами и ушами.

...В полночь из лугов примчался целый табун лошадей. Перешли реку Кузьелгу и ворвались на яйлэу. С лошадей, пофыркивающих от быстрого бега, соскочили на землю три человека. Выбежавший из кибитки Сафаргали привязал всех лошадей к столбам навеса — чтобы остыли. Муллаян и его два товарища

шумно дышали, жадно пили кумыс. Шепотом переговаривались с Сафаргали.

— Подложим огня — и на коней, — сказал один.

Сафаргали тут же оборвал его:

— Не вздумайте! С огнем играть нельзя. Все сделайте тихо.

— Мухаметгали сам будет сторожить, ты же сказал. Его что, прикончим? — чуть слышно спросил Муллаян.

— Ш-ш! — Сафаргали ладонью прикрыл его рот. — Ты только покажи. Сам и близко не подходи: как бы не узнал. Скрутят, завяжут глаза и бросят. Мухаметгали нам еще долго будет нужен.

И остальным двум дал Сафаргали советы:

— Людям тоже на глаза не лезьте. Узнают — всем головам конец.

Эти двое не были чужими для Утекэя. Жители аула хорошо еще помнили свадьбу Аллаяра, на которой гуляли дружки жениха, прискакавшие из Оренбургской стороны. Отец этих двоих не раз еще бывал в Утекэе и наконец справил свадьбу, увез с собой дочь мульты. Два брата мальчишками каждое лето приезжали сюда вместе с матерью.

Надев коням на ноги стеганные мешки и завязав их, Муллаян и двое его товарищей прыгнули в седла.

— Скачите по целине, — только и успел шепнуть им Сафаргали, и всадники бесшумно растаяли в темноте ночи.

...Уже начало светлеть небо над горой Караул, а трое не возвращались. Сафаргали так и не вошел ни разу в кибитку — все расхаживал по яйлэу. Уже и в коленях заболело, стали

дрожать, а он все ходил — не мог усидеть на одном месте.

Наконец кони с обмотанными стеганкой копытами почти бесшумно появились — но не с той стороны, откуда их ждал Сафаргали.

— Ну как?..

— Сделано. Как ты сказал. Вот, спрячь подалее, — Муллаян сбросил Сафаргали два нетяжелых свертка.

Всадники спешили лишь для того, чтобы снять стеганые чехлы с копыт и отвязать пригнанных лошадей. Тут же опять оказались в седлах. Взмутив воду и громко пофыркивая, табун перешел реку Ситьелгу.

...Салима чувствует себя легче пушинки, ходит не касаясь земли, будто парит. Она готовит чай. Белое-пребелое платье на ней — будто теплое облачко. Плывая в невыразимо сладостных волнах, она несет самовар и ставит его на хике. Он точь-в-точь как тот, что сделан Касимом в лесу, только из него вырывается настоящий пар. Чашки тоже как будто те самые. Только они все время звучат, выводя таинственную мелодию. А Касим здесь. Вот рука его тянется к самой большой, самой красивой чашке. Зачем торопиться? Ведь они ждут гостя. «Касим, потерпи, вот он уже входит!» — шевелятся губы Салимы. И верно — гость идет. Да какой красивый, какой осанистый егет! Похож на сказочного Акъял-батыра... И в то же время схож еще с кем-то, с очень знакомым... Да ведь это Шафик!

А что это за странный шум на улице?

Вздрогнув, Салима проснулась. Оказывается, еще рано, только начинает светать. Можно опять закрыть глаза. Только, в самом деле,

чьи это тревожные голоса? Кто это кричит на улице? Что они делают там ни свет ни заря?..

Спрыгнув с постели, подошла к открытому окну. По улице бегут люди. Вниз, в сторону мугэзэя. Кажется, что-то случилось. Торопливо одевшись, сунула босые ноги в кату — кожаные калоши — и выбежала на улицу.

Возле мугэзэя — кучка людей. Суматошно галдят, размахивают руками. Отчетливо слышен тоскливый зов Мухаметгали:

— Ямиля-а!

Дверные петли мугэзэя выворочены. Мухаметгали вбегает в мугэзэй. Оттуда опять доносится тревожное:

— Ямиля-а!

Он выбегает из амбара, в голосе его слезы.

— Не видели Ямили?

— Да нет же. Надо хорошенько поискать...

Мухаметгали бежит к оврагу, кричит все отчаяннее...

— Ямиля-а-а!

Вместе с другими Салима вошла в мугэзэй. Весь он пропах керосином. Чуть не закашлялась.

Привезенные вчера мешки кем-то торопливо взрезаны — вдоль и поперек. На полу рассыпана гречиха. Она облита керосином...

— Погубили!

— На что рука поднялась — на пропитанные детишек!

— Кто же мог?..

— Ситец украли!..

— И спички ни одной...

— Подождите — тут не в спичках беда. Ямиля-килен пропала.

— Хоть бы не убили...

Мухаметгали сквозь слезы, со стоном рассказывал:

— Сам-то я стоял, пока за полночь не перевалило. Тут она и прибежала: иди, говорит, поспи. А я за тебя покараулю...

— Тише! Угломнитесь на минутку,— крикнул Файзулла. Он растянулся на полу, припав ухом к щели между половицами. — Садрислам, Тахаутдин! Откройте-ка подпол, вроде слышно что-то...

Садрислам с Тахаутдином спустились в подполье. Вскоре опять показались, облепленные паутиной. Осторожно передали Файзулле и Мухаметгали обмякшее тело Ямили. Руки и ноги ее были туго скручены волосяным арканом. Сквозь платок, которым был заткнут рот и обвязано лицо, просачивалась кровь. Кровь запеклась и в волосах. Вся одежда была изорвана, — видно, боролась с грабителями, не давалась в руки.

Как только на Ямиле ослабили аркан и вытащили из ее рта платок, она шумно вздохнула. Но глаза не открыла. Лицо ее было в крови.

— Ну-ка, Мухаметгали, не путайся под руками, — сказал Файзулла. — Дай развязать...

— Такого волосяного аркана что-то я не видел в нашем ауле, — проговорил кто-то.

Тут Ямиля сквозь стон шевельнула губами:

— Чужие люди... чужие...

— Бери моего коня, скачи в волость, — сказал Садрислам Тахаутдину.

XVI

Ямилю осторожно уложили на телегу, отвезли в дом Мухаметгали. С помощью соседок Гюльюзюм осторожно передела ее. Промыла теплой водой две кровоточащие опухоли на темени и глубокий порез на виске — длиной в палец. Повязала голову чистым платком.

Она уже успела полюбить свою мугаллимэ, увидела в ней близкую подругу. Прислушиваясь к ее тихим стонам, вытирала глаза кончиком платка. Чьих же это рук дело?

Но не только она — и Садрислам и все его товарищи по комбеду, сколько ни топтались возле мугэзэя, не могли напасть на хоть что-нибудь значащий след.

По вызову Садрислама и Мухаметгали из Хайгадака приехал сам Алтынбаев, с ним пять человек вооруженной дружины и фельдшер из волостной больницы. Дружинники осмотрели каждую щель мугэзэя — так внимательно, будто пропускали сквозь игольное ушко. Дотошно расспрашивали людей.

— Это дело кулаков, — несколько раз убежденно повторил Садрислам. — Надо пошарить вокруг Аптелгалимовых.

— Подозревать можно кого угодно, — круто оборвал его Алтынбаев. — Следов-то нет. Никого из Аптелгалимовых дома не было.

Вызвали Гюльюзюм. Она подтвердила: да, все мужчины были в отъезде.

— Тогда ты сама, что ли? — Садрислам вскочил с места. — Вечно тут околачиваешься!

Алтынбаев сурово посмотрел на него. Гюльюзюм, громко всхлипнув, бросилась из мугэзэя.

— Конечно! Конец! — шептала она, все ускоряя шаг. — Провалитесь вы все вместе с вашими детьми! Раз у меня на лбу написано, что я Аллаярова килен, значит, так тому и быть. До черной могилы мне оставаться этой килен. Правильно делает Ямиля, что не записывается в коммуны. Они тоже людей обижают. Вот была бы она здорова, все бы ей сейчас выплакала...»

Приехавший из волости старик фельдшер осмотрел Ямилю.

— Сотрясение мозга. И крови много потеряла. Нужен полный покой...

Кроме этих слов, никакой другой помощи он оказать не смог — белые, отступая, начисто ограбили единственную в округе больницу.

К Ямиле то и дело приходили приехавшие с Алтынбаевым дружинники. Расспрашивали.

— Чужие, чужие люди, — повторяла мугаллимэ чуть слышно. — Сзади по голове ударили... Оглушили...

— Если сзади ударили, откуда узнала, что чужие?

— Первый раз ударили, считай, мимо... Не попали в темноте. Кто-то из них зашипел: «Это же женщина». А второй шепчет: «Жена того... председателя». Хотела обернуться, тут и ударили...

Алтынбаев уехал с дружиной, так ничего и не установив.

— Это рука Аптелгалимовых, — стоял на своем Садрислам. Но никаких фактов к своим догадкам добавить не смог...

...Муллаян на своем коне переправился вброд через мелководную Ситъелгу. Он устал, но был доволен. В сумерках разглядел у ки-

битки две человеческие фигуры. Отец стоял, скрестив руки на груди,— подждал сына. Подождать топтался Сафаргали, виновато опустив голову.

— Вот и второй явился! — зло захрипел Аллаяр и, схватив сына за пояс, с ходу сорвал его с седла. Ткнул кулаком ему в нос. — Мелкий воришка! Позор! Ыстрам! — Схватившись обеими руками за голову, повернулся, вбежал в кибитку. — Женщину побили! — загудела Аллаяровым басом вся кибитка. — Баты-ыры!

Муллаян, харкая, сплевывая кровь, подошел к Сафаргали. Испуганно зашипел:

— Что, узнали?

— Да, нет... Тут другое...

Сафаргали не договорил. Из темного проема кибитки вдруг вылетел мягкий сверток и шлепнулся на траву. За ним прошуршал по траве и второй.

— Иди, отнеси! — зашипел Аллаяр, высунувшись из кибитки. — Недостойный!

— Куда? В мугээй? — несмело спросил Муллаян.

— Да, да, да! — зло захохотал Аллаяр. — Только попросить извинения не забудь!

Муллаян пожал плечами, взглянул на Сафаргали. Тот поманил рукой:

— Иди, объясню...

...Прошла неделя, и по аулу пополз слух, что преступник нашелся сам собой...

Аллаяр позвал Мухаметгали в свою клеть, подвел к весам, велел отвесить пуд пшена. Зорко следя за весами, говорил с глубоким беспокойством:

— Уж больно несчастными остались эти дети. Обобрали ведь не кого-нибудь — их. Айда,

пусть уж едят. Коли до сих пор дотерпели, надо как-то поддержать хоть до нового хлеба. И не хочешь, так оторвешь от своего — жалко ведь ребятишек! Как отвесишь, сразу мне бумажку дай с печатью: мол, Аптелгалимов добровольно пожертвовал Советам пуд... нет, два пуда. Второй тоже отвесь — себе возьмишь...

Гюльюзюм уперлась — не захотела идти варить для детей суп. Но Мухаметгали все же уломал ее:

— Кроме тебя, не на кого надеяться. Если отдать в руки какой-нибудь голодной женщины — и половины не попадет в рот детям. Здесь ведь не то что у нимеса. У нимеса не заведено воровать разную мелочь. У них все зер гут. Если нимес ворует — так ворует завод, а на винтик и не посмотрит...

Опять раздались громкие удары по лемеху — это был в ауле самый красивый звук. Дети с тустаками в руках наперегонки побежали к мугэзю.

— Хаирзаман-туганым, какая у тебя красивая рубашка! — воскликнула Гюльюзюм, увидев младшего брата Садрислама. И все дети с завистью уставились на счастливец.

— Отец ездил в Хайгадак, привез с базара. А мама сшила, — похвастался Хаирзаман и сам пощупал подол своей темно-голубой ситцевой рубашки.

Раздавая суп, Гюльюзюм опять взглянула на новую рубашку Хаирзамана, и по лицу ее пробежала тень настороженности и сомнения.

Пришел Мухаметгали — проверить, как идет раздача супа. Ничего не говоря, подержал, помял в руке ситец новой рубашки. По-

смотрел на Гюльюзюм, она сразу побледнела, глаза их встретились. «Тоже почуяла?» — говорил взгляд Мухаметгали. Председатель даже не спросил детей, вкусен ли суп. Многозначительно присвистнул и широко зашагал через выгон в аул.

На следующий день под вечер в дом Галиакбер-агая нагрянули с обыском дружинники. Быстро нашли на чердаке грязный пеньковый мешок, а в нем моток ситца.

— Это?

— Да!

Вызвали людей, тех, что видели в мугэзэе этот бледно-серый ситец, привезенный из кантона.

— Да, этот самый.

Сравнили с рубашкой, которую стащили с Хаирзамана.

— Этот, этот самый. Покрашен только.

И повели Галиакбер-агая в волость. Хаирзаман, который два дня был самым счастливым мальчиком в ауле, теперь не выходил из дома, плакал навзрыд.

Весь этот день Аллаяр с довольным видом стоял у своих ворот, скрестив руки на груди и широко расставив толстые короткие ноги. Иногда подзывал проходившего мимо мужика:

— Слышал? Вот тебе и «делю рук Аптелгалимовых»! Тоже мне коммунист... Ничего ему не нужно!..

Говорил так, будто Садрислам уже сидел в тюрьме.

— Ловко, ловко они с отцом все проделали, — пел и Мухаметгали. — Ведь спички даже не взял, когда делили! Отца своего выгнал!

Садрислам в эти дни был в волости — даже ночевал там. Посуровевший Алтынбаев вдруг предложил ему сдать наган, приказал не выходить из конторы.

Начали допрашивать старика Галиакбера. С какой стороны ни приступали, твердил одно и то же:

— В то утро, с неделю назад — мать наша вышла к задам огорода нарвать молодой крапивы на суп. Идет обратно и несет этот несчастный мешок. Знать, кто-то шел по переулку и перекинул через плетень. Я-то ведь не видел этого вашего ситца. И не слышал о нем. Мне и в голову не пришло, что дело тут связано с вашим мугэзем! Держал при себе, думал — хозяин найдется. Ну и привыкать начал — хозяин-то не идет. Про себя прикинул: если ворованный товар, жулик и не покажется — даже зад заткнет, чтоб молчал. Если вещь нажита добрым путем — как-нибудь, думаю, рассчитаемся с хозяином. Ну и отхватили с одного конца Хаирзаману на рубашку. А чтоб не пачкалась и чтоб людям в глаза сразу не бросалась, мать наша вскипятила дубовую кору и покрасила. А мальчику сказали: «У стерлитамакской марьи купили в Хайгадаке». А Садрислам — тот даже из волости еще не вернулся... Если бы увидел — сразу бы сказал: не трогайте и нитки, надо проверить, отнести в сабит. Сам бы и отнес — потому и поспешили сшить, пока не приехал из волости. С ребенка, думаем, не сдерет. Кто же мог знать, что в такую беду попадем...

Садрислам только одно и мог сказать: он не видел этого свертка в своем доме. Когда отца с сыном свели на очной ставке, крикнул:

— Эх, атай, атай... Погубишь ты мою голову.

Сразу же после очной ставки Галиакбера отпустили домой. Алтынбаев даже отдал рубашку Хаирзамана:

— Ладно уж, пусть носит мальчик. Остальной ситец передашь вашему Мухаметгали. Если с толком разделить да пошить недлинно — может всем Хаирзамановым ровесникам хватить...

Разгневанный Садрислам привел с собой в Утекэй дружинников и на следующую же ночь, даже не посоветовавшись с Алтынбаевым, произвел шумный обыск в доме Аптелгалимовых. Ничего подозрительного не нашли — и от этого гнев его распалился еще больше. Уже решил было обыскать всех сомнительных людей в ближайших аулах, но тут вернулся из кантона Алтынбаев и строго поговорил с Садрисламом.

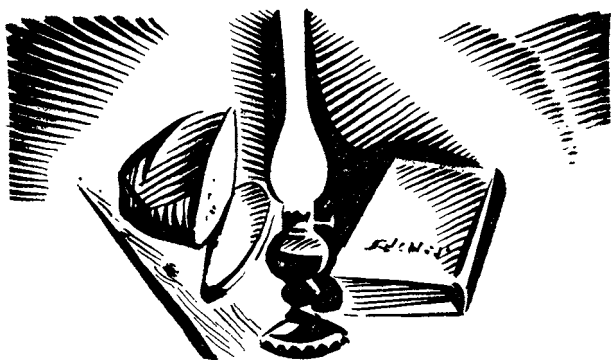
— Этак мы всех восстановим против себя, — сказал он. — Проверку вести надо осторожно, заруби себе это на носу, Имангулов. Дело-то провернули с умом. Толковая голова у этого врага. А дело здесь не только в мотке ситца. Это крупная провокация против Советов. Дети остались без обедов. Женщины аула, поверившие было нашим обещаниям, оставлены без спичек. А ситец — думаешь, случайно он упал на твой плетень, а не к твоему соседу? Смекаешь? Кто-то уже хочет избавиться от тебя, от коммуниста. А в народе этот «кто-то» уже, наверно, шепчет: «Вот опи, ваши коммунисты, вот их настоящее лицо!»

— Это дело рук Аптелгалимовых! — снова повторил Садрислам. — Их рука!

— Действовать, доверившись лишь чутью, нельзя.

— Пока не переверну вверх дном все их кулацкое гнездо, не успокоюсь.

— Брось, брось свои кавалерийские замашки! — голос Алтынбаева зазвучал резче. — Твой авторитет в ауле — это для народа авторитет всей партии! Береги его!..



Часть вторая

I

Самая лучшая пора в ауле — начало лета, время сенокоса, то время, когда созревают хлеба. Все живое радуется, красота природы переполняет душу радостью.

Но в голодные годы глаз бедняка не замечает таких вещей. В ауле Утекэй, который совсем недавно был ограблен белыми догола, по-иному радуются переменам в природе. Весной говорили: «Уже ходим по черной земле, иншалла, слава аллаху!» Чуть дальше к лету крестьянин сказал: «Рот коснулся травы, — пожалуй, не помрем!»

«Смотри-ка, дожил и до этого!» — удивился он через месяц, проведя рукой по усам еще зеленых колосьев. Сам он к этому времени уже был — одна кожа да кости...

Дни, когда колосится рожь, — самые лучшие, отрадные дни года... Крестьянин возвращается со своего поля самым счастливым в мире человеком — он увидел первый колос ржи. Этот колос — как только что родившийся жеребенок — весь блестит. Жеребенок солнца! С того дня, как он покажет голову из своих пеленок, хозяина земли покидает вся его степенность. С утра уходит он в поле, готовый за уши тащить новорожденного вверх.

«Добираемся до нового хлеба! До новины!»

Но сегодня и эти слова звучат в Утекэе подавленно, безнадежно — уж очень мало этой самой «новины» в нынешнем году.

Хилые колосья, уцелевшие после града, собравшись там и сям жиденькими островками, бессильно раскачиваются под ветром. Правда, просо и гречиха не плохи. Они только и красят лоскутное одеяло полей Утекэя. Но сколько еще надо ждать, пока они поспеют! Хватит ли той сытости, которую дадут эти болезненные, щуплые колосья ржи, чтобы дотянуть до уборки проса и гречихи? Осталось ли в закромах Аптелгалимовых что-нибудь, чтобы добавить к фунту крупы, полученной от «камбита»?

Ах эта пора, когда рожь отцветает... Нос голодного человека ведь очень чуток. А тихий ветерок то и дело приносит с поля дразнящие ароматы. То пахнет медом, то свежее испеченным хлебом — слюни так и текут. И дни-то, как назло, в эту пору самые длинные...

Хорошо еще, что дети не очень-то сдали. Комбед не забыл их, хоть и помалу, но присылал. «Иншалла, спасибо правительству».

— В стране еще не прекратились войны.

Сколько надо кормить и одевать. А дедушка Ленин-бабай и детей Утекэя не забывает, — говорит Файзулла.

Сегодня Файзулла добрые полдня сидел, поворачивая и так и этак письмо, недавно пришедшее от старшего сына — Шафигуллы. С утра, пока заставлял каждого заглянувшего в дом грамотея прочитать этот листок, выучил наизусть почти все, что писал ему сын: «Я скоро приеду домой. Врагу остались считанные дни — будет разбит. Только бы вы были живы и здоровы. Мы еще поживем, еще будет и у нас счастливая жизнь!» Эти слова радостно звучат в ушах Файзуллы, как будто их произнес сам сынок Шафик. «Эх, разбирали бы мои глаза грамоту, сесть бы да и прочитать это письмо самому! А потом взять бы с подоконника огрызок карандаша, тот, что принес вчера младший сынок Шарифулла, да и начать нанизывать петли да крючки, как в этом письме. И написать бы ответ Шафигулле...»

Файзулла глубоко вздыхает: такое чудо может быть только во сне. А затвердевшие пальцы уже зудят, тянутся к карандашу. У агая есть о чем написать Шафигулле. Подробно бы описал все, что происходит в ауле. Рассказал бы о подлости баев. Что же нам с ними делать? «Ты ведь коммунист, Шафик, коммунист-красноармеец, посоветуй что-нибудь, — написал бы он. — Вы же, молодежь, теперь стали самый пупок земли. Вот и у меня, пока ходил по пятам за Садрисламом, глаза начали открываться. Я тоже с ним заодно, считай, почти коммунист. Сашупствуший, как говорят в волкоме. А Садрислам даже ска-

зал, что я и коммунистом стану. А я вот — ни читать, ни писать...»

Тут Файзулла даже зло усмехнулся — над самим собой. Нет, не написать ему вовек столько слов...

Он кладет перед собой чистый лист бумаги — Шафигулла вложил его в свой конверт, чтоб ему ответ написали. Берет с подоконника огрызок карандаша. Первым делом он подносит острие карандаша к языку. Затем примеривается: как бы сподручнее зажать его в пальцах. Ему удается прищемить карандаш кончиками большого и указательного. Теперь надо обрисовать положение дел в ауле, чтобы сын все понял. Как это сделать? Дрожит непослушный карандаш и выводит в верхнем углу листка нечто похожее на дом. Затем Файзулла в мыслях считает все дома, начиная с верхнего конца аула. И выстраивает возле нарисованного дома палочку — одну за другой. Эти палочки должны сказать его сыну, сколько осталось в ауле домов. Оказывается, осталось меньше половины... Пересчитав палочки, Шафигулла наверняка догадается, о чем хочет сказать отец. Жаль только — кривоваты палочки...

Обрадованный тем, что найден путь для письменного разговора с сыном, Файзулла еще горячее принимается за дело. Опять слюнявит карандаш и, подумав, рисует чуть в сторонке еще один дом — ведь мугэзэй так и стоит: в стороне от домов аула. Над мугэзэем Файзулла ставит большой флаг. Смотри-ка! Кажется, рука начинает привыкать к карандашу!

Таковыми же знаками грамоты, придуманной агаем, в письме даются полные сведения о

количестве людей и скота, оставшихся в ауле. Неизвестно, все ли поймет тот, кто будет читать это письмо. Но на листке бумаги становятся в ряд все слова, что не дают покоя неграмотному отцу.

Письмо дописано. Файзулла складывает лист в треугольник — тем же хитрым способом, как было сложено и письмо Шафигуллы. Обрадованный своим достижением, словно младенец, взобравшийся на коня, наш грамотей, на ходу подцепив свои кожаные калоши, торопливо зашагал к дому Мухаметгали.

Ямиля приподнялась на постели:

— Айда, проходи, Файзулла-кайнага! — Чтобы скрыть рубец на виске, она сдвинула к лицу свой головной платок.

— Килен! Если не трудно, напиши-ка адрес!

— Что же тут трудного, Файзулла-кайнага! — Ямиля взяла свой карандаш с ящика, служившего ей вместо стола. — А Шафигуллекайнешу от нас передали привет?

«Как бы не вздумала раскрыть конверт», — Файзулла пальцем прижал лежавший на ящике треугольник письма. На спине его от напряжения выступил пот.

— Передали, передали, как не передать!

Как только на бумажный треугольник легли ровные ряды кружков и загогулин, Файзулла схватил его и сунул в карман. Тут Ямиля удивленно спросила:

— А письмо кто же написал?

Файзулла, слегка покраснев, забормотал:

— Письмо-то... Письмо... — И поскорее ушел, даже забыв попрощаться.

Так и не понявшая ничего Ямиля впервые от души рассмеялась, как здоровый человек.

Если год голодный, у народа не хватает терпения дожидаться, пока рожь окончательно созреет и зерно затвердеет в колосьях. Выкапывают во дворе яму, треногой ставят над нею шесты, а к ним прислоняют совсем зеленые снопы сжатой ржи — так, чтобы получилось вроде шалаша. В яме под этим шалашом разводят медленный огонь — распаривают снопы. У кого есть баня, распаривает в ней. А потом раскладывают снопы на солнце, они быстро высыхают, и сморщенное зерно сразу выпадает — стоит только легонько ударить цепом. Это в Утекэ называется «молотить овин».

А потом начинают в домах свой говор большие и малые ручные мельницы...

Файзулла решил распарить десяток снопов в своей бане. Она почти вся ушла в землю, так что агаю пришлось работать в ней, согнувшись в три погибели. Он как раз подвешивал к матице жерди для укладки снопов, когда услышал знакомый голос:

— Здоров ли, агай?

Файзулла обернулся и увидел позади себя сапоги и галифе Садрислама.

— Пока еще здоров. — Словно боясь обрушить головой прогнивший потолок, Файзулла, не разгибаясь, вышел к гостю.

— Ты, вижу, тоже собрался молотить овин?

— Да вот, хотел было...

На осунувшемся лице Садрислама — тревога.

— А я как раз к тебе по этому делу. Хочу посоветоваться.

— Ху-уш, добро. Пусть совет будет взаимным.

— Понимаешь, весь аул готовится. Нельзя ли попробовать отговорить народ от этой затеи с овином?

Файзулла насторожился. Собрав складки на лбу, Садрислам стал пояснять свою мысль:

— Много ли в поле ржи? За один раз ведь обмолят и съедят все. А осенью что сеять будем?

— Оно конечно... — задумчиво проговорил Файзулла. — И до спаса остается немного, каких-нибудь десять — пятнадцать дней. Айбай, что же делать-то? Терпения ведь нет, туганым, окончательно народ извелся.

— Перетерпели большее, агай. Может, попробуем уговорить, чтоб еще малость подождали?

— Ай-хай, Садрислам, понять-то поймут. А вот удержаться... Как удержишь голодного? — Оглянувшись на свою баню, Файзулла махнул рукой: — Айда уж, — и зашагал к воротам.

Отыскав Мухаметгали, они пошли по дворам.

— Немного осталось, потерпим как-нибудь, братцы, — говорил Садрислам. — Самим ведь семена будут нужны. Как-то стыдно становится — из года в год надеяться на государство. Войны еще не закончились, у государства много нужд. Чтоб нам давать, приходится ведь у кого-то вырывать изо рта...

Люди не говорили ничего. Молча провожали их, не поднимали глаз от своих сарыков и лаптей.

— Сюда зайдём? — спросил Файзулла,

когда подошли к высокому забору Аллаярова двора.

— Обязательно! — Садрислам свернул к воротам.

— Уж они-то овин молотить не станут. Небось старый запас не знают, куда девать...

— Посмотрим.

— Айдате, турэ-начальники, проходите! — крикнул им Аллаяр. Он стоял на гумне, в конце своего огорода.

Касим с Зайнетдином около него копали яму под овин.

Не раз уже Файзулла давал себе зарок при встрече с людьми из этой семьи держаться достойно. Однако и на этот раз старая привычка взяла верх. Сам того не замечая, выпалил:

— Аллах в помощь...

Тьфу, опять старое взяло! Много раз сгибалась его спина перед этими Аптелгалимовыми. Одним махом не выпрямишь.

Аллаяр двинулся навстречу — само радушие:

— Ярхамикалла! Да благословит бог! Пусть мои старания пойдут на пользу всем...

У Садрислама от этого притворства так и закипело в душе. Нахмурился, резковато спросил:

— Тоже собираетесь молотить овин?

Аллаяр затоптался на месте.

— Да вот, родной, решились было, помолясь аллаху... Если, конечно, будет разрешение начальников...

— Начальников здесь нет... — оборвал его Садрислам и добавил, помедлив: — Гражданин Аптелгалимов...

Аллаяр тут же словно бы осел, уменьшился в росте.

— Гражданин начальник... Имангулов-туган... Очень уж измотали нас в эти годы. Пока гоняли, как собаку, приговаривая «бай» да «бай», осталась в руках только палка сухая — подпереться. Белые приходили — грабили... Красные приходили.. кхм... сами отправляли. Видели же — весной раздал аулу, от своего рта оторвал... Свои же все-таки, не из чужой утробы. За какой палец ни укуси — все равно болит...

Садрислам опять резко оборвал его жалобы, которым не видно было конца:

— Выходит, овин молотить собираетесь?

— Слышал я, будто запрет есть... Неужели правда?..

— Вам-то? Вам запрета нет! — напрямик отрезал Садрислам.

Файзулла и Мухаметгали уставились на него удивленно. Садрислам тут же и объяснил:

— Смотрите, всем вашим работникам чтобы хватило, — он кивнул в сторону Касима и Зайнетдина.

Аллаяр хлопнул себя по ляжкам.

— Какой может быть работник в советское время? Они же мне как дети родные. Насильно не заставляю. Хотят — пусть уходят. Сами же цепляются за мой хлеб. — Тут он посмотрел на Зайнетдина и Касима, копавших яму, как бы призывая их в свидетели. Те молча продолжали копать.

— Намолотите побольше, — настойчиво повторил Садрислам. — Чтобы можно было выделит и тем, кто задаром косил вам сено.

— Как это я мог заставить задаром косить сено? Зачем обижаешь меня, кордаша твоего отца, кордаша Файзуллы, с которым мы вместе росли... Туганым! Зачем понапрасну обижаешь честного трудового человека?

— Глоток кумыса в счет берешь? Значит, и я тебе что-то должен — глотнул ведь из твоей руки...

— Эй, туганым, туганым. Как будто сегодня родился. Помочь же!.. Святой обычай, от дедов остался. Не обижай их кости, ты же мусульманин.

— Словом, смолоти и раздай своим косильщикам. Только по-честному... — Садрислам повернулся и зашагал к воротам. Файзулла тоже двинулся за ним.

А Мухаметгали задержался. Стоял перед Алляром с виноватым видом. Тот шепнул:

— Иди быстрее... Догони! Подумают еще...

Догнав Садрислама и Файзуллу уже за воротами, Мухаметгали похвастался:

— Припугнул немного Аптелгалимова. Пообещал в трех местах устроить овин...

II

Умен Алляар, а выдержки в нем — на десятилетия. С величайшим терпением ждет он тех дней, когда снова сможет вздохнуть полной грудью, твердо, без опасений будет ходить по своей земле. Он уверен: дни эти придут. Ведь вот колчаковцы все еще цепляются за землю Башкортостана, упорно бьются. На юге некий генерал Деникин объявился, развертывает наступление. Известно Алляру и о дей-

ствиях иностранных государств: и на юге и на севере России высаживается много чужеземных солдат. Одна бригада башкирских войск все еще сражается на стороне белых.

Изредка ночными призраками появляются на яйлэу Аллаяра кунаки — проезжают по своим делам. Шепчут в уши радостные вести. Будто бы в белебейских и каргалинских краях точат сабли, готовят топоры. Народ-то там зажиточный. А зауральским башкирам будто надоело терпеть притеснения русских — не сегодня-завтра начнется резня... Конечно, дело тут не в русских и не в башкирах — Аптелгалимов понимает это хорошо, все-таки повидал кое-что в жизни, знает и русских и башкир. Разговоры о притеснениях — ширма, за нею действуют ловкие, умелые руки...

Когда Аллайр думает обо всем этом, душа его наполняется теплом. Не зря выписывает он и русские и татарские газеты, прочитывает каждую до последней строчки. Читает он газеты и красных и белых. Если сравнить, что пишут те и другие, много полезных выводов можно сделать. Башковитый бай всегда готов к любому потрясению, к любой перемене. Встречает события, как говорится, подобрыв полы — чтоб никто не наступил. Такого политика этак запросто на зубок не положишь. С любым хозяином поедет в телеге, будет петь сго песни. Если на ухабе поломается ось и хозяин нагнется, чтоб исправить, Аллайр может и по затылку стукнуть. А коли стукнет, то так, чтоб не встал.

Прав Файзулла, Аптелгалимовым не нужна овинная молотьба. Аллайр и это делает для

отвода глаз. Мол, смотрите, мы тоже вот дожили — молотим овин...

— Отдохните, поешьте и принимайтесь копать еще в двух местах, — мягко сказал Аллаяр, подойдя к Зайнетдину и Касиму, которые стояли разогнувшись, вытирая пот. Оба удивленно посмотрели на него.

— Для вас, для вас все... Поставим столько овин, чтоб всем хватило. Сами видите, велят.. — в голосе бая чуть слышно дрогнула ярость.

Как раз в это время в ворота въехала телега с желто-зелеными снопами ржи. На снопах сидели Латип и Гюльюзюм.

— Распрягай! — хрипло приказал Аллаяр сыну. — И этого хватит. Если будут есть с молитвой...

После обеда он подвел к готовым ямам двух своих сыновей. Кроме них, никого не подпустил к ответственному делу.

— Все снопы разложите на три копны. Кладите потоньше да повыше...

Латип, шмыгнув носом, спросил было:

— А почему?..

Отец, побагровев, уставился на него:

— Делай, что велено, и не трепли языком! Огня в ямах решили пока не разводить.

— Сегодня пятница, подошло время молитвы, — сказал Аллаяр сыновьям. — Грех делами заниматься. Утром сделаем, если аллах благословит...

На заре Аллаяр разбудил Гюльюзюм:

— Килен... Сходи-ка на гумно, посмотри. Вчера вечером лупоглазый Тахаутдин с ниж-

ней улицы что-то крутился там. Как бы лопату не украл или еще что...

— Ах-ах, кайным, зачем же егету воровать... — пробормотала ошалевшая со сна Гюльюзюм. Чуть было не сорвалось у нее с языка: «Он же камсамул!» Уже знала — Тахау собирается вступить в комсомол.

Тут же и вспомнила: верно, Тахаутдин вчера в сумерках, посвистывая, прошагал мимо их гумна, спускаясь к себе на нижнюю улицу.

— Иди, иди, дитя, ноги не отсохнут. Почему-то в последнее время тревожусь из-за пустяков. К старости, наверно, дело идет...

Гюльюзюм нехотя вышла из дома. Через минуту прибежала — бледная, с широко раскрытыми глазами.

— Ужели утащил?

— Лопаты-то на месте...

Страшная весть, которую принесла килен, мигом подняла на ноги всю семью. Прокладывая по росистой траве темную тропу, все побежали на гумно. Добежав, остановились, онемели. Там, где вчера были поставлены три овина, остались три кучки пепла...

— Ближко не подходите! — заревел Аллаяр. — Надо проверить. Латип, беги, веди сюда Мухаметгали, Садрислама и Файзуллу!..

Оказалось, что Садрислам еще вечером уехал в волость и не вернулся. Мухаметгали и Файзулла пришли, захватив с собой двоих соседей.

— Полюбуйтесь, ямагат! До чего докатился этот народ — для них же приготовленное превращают в пепел! — Аллаяр чуть не плакал.

— А я еще в темноте обратил внимание,— проговорил Мухаметгали. — Думаю, что это вы так рано развели в овине огонь...

Файзулла молчал, нахмутив лохматые с проседью брови, и остро следил за каждым движением Аллаяра. Изредка неопределенно покашливал, прикрыв рот пальцем.

— Откуда такое слово взяли? Дескать, я кулак... Скажите, ямагат, кому из нашего аула я причинил зло? Ведь если так пойдет дальше, того и гляди подпалят дом! — плакался Аллаяр. — Файзулла-кордаш! Мухаметгали-туганым! Сами же от имени Совета давали фарман. Собирались раздать всем, кто помогал на сенокосе... — Он вдруг махнул рукой и, как жестоко обиженный ребенок, резко повернулся, зашагал к дому.

— Подожди, кордаш, имей терпение, — сказал Файзулла. — Разберемся.

Аллаяр с поникшей головой, обессиленно передвигая ноги, вернулся.

— Тут какая-то бутылка, — сказал один из соседей Файзуллы, копаясь палкой в куче золы.

Мухаметгали поднял бутылку, темную от копоти, присвистнул и стал внимательно разглядывать.

— Файзулла-агай... Может, глаза мои подводят. Узнаешь?

Файзулла узнал. Это была бутылка из-под керосина. Кантон прислал тогда несколько таких бутылок вместе со спичками и крупой. Считалось, что весь керосин был разлит в мугэзэе, и о нем уже забыли. Нет, оказывается, как и моток ситца, керосин уцелел. И так же странно дал о себе знать...

Люди переглядывались, разводили руками.

— Спичка! — Мухаметгали, присев, шарил пальцами в траве. — Вот еще! Эге-е, тут просыпана целая горсть...

— Вот и то, обо что чиркают! — проговорил один из мужиков, поднимая с земли коричневую полоску картона.

Да, здесь был просыпан один из пакетов со спичками, присланных кантоном, из фонда комбеда.

— Вот еще спички!..

— Он тут перелезал через плетень!..

— Братцы, суета тут не поможет, — проговорил председатель аулсовета. — Пойдемте-ка по следу. Видите, куда идет — на нижнюю улицу.

По следу поджигателя, подбирая то тут, то там упавшие спички, подошли к дому Тахаутдина. Навстречу никто не вышел. Прежде чем войти в дом, Мухаметгали пошарил под развалившимся крыльцом и вытащил оттуда еще одну бутылку из-под керосина. В сенях висел старый бешмет, в его кармане нашли два пакета спичек.

— Вот, оказывается, кто поджигатель народного добра! — Аллаяр первым вошел в дом. — У-у, адова головешка. Вот он!

— Да-а, у малая дело швах! — проговорил Мухаметгали, следом за ним протискиваясь в дверь. Вошел в полутемный дом и Файзулла.

Одинокий сирота Тахаутдин, положив под голову стеганую шапку, спал как убитый на старом паласе.

— Э-эй, свинья, чтоб голова твоя сгнила в остроге! — Схватив за воротник, Аллаяр приподнял его. — Ишь, растянулся! Поработал! —

и сунул под нос еще не опомнившемся от сна подростку полупудовый волосатый кулак.

— Чу, чу, Аллаяр, не горячись, — Файзулла схватил его за кулак. — Отпусти, говорю, малая! Разобраться надо.

Схватил Аллаяра за руку и Мухаметгали. Тахаутдин упал на палас, свесился через край хике и опять закрыл глаза. Наверно, подумал, что видит сон.

Тяжело протопав в сенях, треснувшись головой о низкую притолоку, ворвался Муллаян, растрепанный и опухший. Повеяло тяжелой самогонной вонью. Почему-то его до сих пор не было видно, — должно быть, спал дома, а теперь вот прибежал...

— У-у, сучье отродье! — Легко оттолкнув Мухаметгали и Файзуллу, он хлестнул Тахаутдина по щекам справа и слева. Взвизгнув, Тахау громко заплакал.

— Хо-ой, пьяный пэри! — на этот раз Аллаяр вцепился в шею своего сына. — Знает, когда надо геройство показывать — когда с делом покончено. Целую ночь прогулял в Крапкау у беспутных баб...

— Стойте! — крикнул вдруг Мухаметгали. Он, видно, вспомнил о своих председательских обязанностях. — От имени сабитски влас!.. Сейчас же все выйдите отсюда! Вешаю замок и ставлю караул. Никто чтоб близко не подходил, пока из волости не прибудет следствие. Понятым из аула никуда не уходить!

Вышли на крыльцо. Тахаутдин, который окончательно проснулся, услышал грохот за-сова...

Под вечер на посланной Мухаметгали подводе приехал следователь с хмурым, будто

раздавленным лицом и седящими усами. Прежде чем увидеть преступника, он осмотрел место происшествия, порылся в золе. Затем допросил понятых. И только после этого велел принести в дом Тахаутдина стол и стул.

— Говорить только правду! — сказал он Тахаутдину и, вынув наган, положил его перед собой на стол. С минуту смотрел в глаза бледного, испуганного подростка. — Откуда взял керосин и спички?

— Какой керо...

— Не спрашивай, а отвечай.

— Не знаю.

— Кто их тебе дал? Кто велел поджечь овины?

— Никто не велел.

— Тогда, выходит, сам?

— Нет, агай...

— Твои агаи сидят знаешь где? Ждут расстрела. Комсомолец?

— Собирался...

— Борешься против кулаков?

— Борюсь.

— Поджогами?..

— Я не вино...

— Об этом скажем мы... За что мугаллимэ убить хотел? Крупу отравил зачем? Тоже с кулаками боролся?

— Я же ничего не...

— Узелок с ситцем зачем Имангулову подбросил? Кто тебе помогал? Кто были те, ты знаешь, о ком речь...

— О чем спрашиваете?.. — ослабевший от испуга Тахау спешил вставить свое слово в те короткие промежутки, когда следователь умолкал, чтобы перевести дух.

— Послушай, Тахаутдин. Если будешь говорить правду, самому будет легче. Выпущу, пойдешь к своим девчатам, на посиделки. Даю тебе подумать целую ночь. Нам важно узнать, кто тебя подстрекал. Кто твои старшие товарищи. Расскажешь — останешься в живых.

— Я ничего не знаю!..

— Ладно. Дело твое. Все-таки подумай немножко.

Следователь велел запереть дверь и ушел ночевать к Мухаметгали.

Садрислам, выезжавший в аулы по делам волости, как только узнал о происшедшем, поспешил в Утекэй. Он давно уже изучил Тахаутдина — честный и работающий подросток был весь открыт перед ним. Не раз Садрислам останавливал на нем внимательный взгляд, думая об одном и том же: если удастся в Утекэе организовать комсомольскую ячейку, вот кто может стать вожаком...

Но что это опять задумал Аптелгалимов? Садрислам был уверен: дело здесь не просто в поджоге овина, перед ним — новая, хорошо продуманная провокация. В тот раз ограбили мугэзэй, сегодня — пожар в овине Аллаяра. Тогда уничтожили советское имущество, сегодня — овин кулака. Цели вроде бы противоположные, но не в одну ли точку все время целится враг? Тогда хотели очернить его самого — коммуниста. На этот раз ударили по активисту, будущему вожаку молодежи.

Садрислам проскакал по уснувшей улице Утекэя. Вокруг стояла тишина. Только изредка где-то в верхней части аула плакала и взлаивала собака. «Аптелгалимовский ко-

бель!.. — осенило вдруг Садрислама. — Однако опять Муллаяна нет дома...» Он направил коня прямо к воротам Мухаметгали.

Следователь еще не спал. Садрислам высказал ему все, что лежало на душе.

— Есть смысл повернуть следствие в сторону самих Аптелгалимовых, — заметил под конец, а внимательно слушавший их беседу Мухаметгали почему-то вздрогнул. — Может, придется начать с обыска... — сурово закруглил Садрислам.

— Может, и придется, — сказал следователь, позевывая.

Вместе с Мухаметгали Садрислам тут же отправился на нижнюю улицу. У дома Тахау окликнули караульного. Никто не ответил. И вдруг Садрислам увидел криво повисшую взломанную дверь. Вбежал в дом, чиркнул спичкой и отшатнулся, чуть не упал назад. Тахаутдин висел на ременной уздечке, привязанной к зубу бороны, вбитому в матицу.

Хорошо, что в кармане был складной нож. Одним махом Садрислам перерезал ремешок. Тахау рухнул мешком. Быстро освободив его от петли, Садрислам резко встряхнул подростка за плечи, приложил ухо к груди. Ничего не слышно. Взял начавшую остывать руку и вдруг почувствовал чуть заметные толчки крови.

— Кажется, жив, — Садрислам принялся тормошить Тахаутдина. Тот чуть слышно вздохнул. — Живой! — заорал Садрислам. — Мухаметгали! Беги, зови людей! Следы посмотри...

Выбежав на улицу, Мухаметгали вынул наган и три раза выстрелил в воздух. Помогло

ли это ему отыскивать следы — неясно. Но зато проснулся весь аул. Стали сбегаться люди. Прибежали Аллаяр с Латипом. Подоспел и следователь. За домом кто-то из прибежавших споткнулся о человеческое тело, брошенное в крапиве. Это был караульный, связанный по рукам и ногам. Его развязали, вытащили изо рта тряпичный кляп. Кашляя и запинаясь, он стал рассказывать, как все произошло.

Оказывается, прискакали двое. Кинули поводья коней на плетень и прошли во двор. Караульщик принял их за проверяющих. А те вдруг сбили его с ног, затолкали в рот кляп и тут же скрутили всего веревкой. Чужие люди, голоса совсем незнакомые. Больше шипели. Еле расслышал: «Мы, камсамулы, еще покажем им! Всех кулаков перебьем, ни одного не оставим. А хозяйство все спалим! Сегодня же! Только быстрее бы освободить Тахау...» Поговорили так и — в дом. Скоро и вылетели обратно, страшно напуганные, охая и причитая: «Эх, друг, друг, погубил себя! Поторопился, наложил на себя руки». Охая, оттащили караульщика в крапиву. Потом зарычали: «Ну, подождите же, кулачье! Всех спалим!» Вскочили на коней и ускакали.

Тахаутдин пришел в себя лишь на рассвете. Тихо рассказывал:

— Как зашли — не слышал. Ударили раз — видно, легко. Тут и проснулся. Слышу, шепчет один: «Пусть как будто он сам...» Еще раз ударили — видать, крепко дали, — больше ничего не слышал...

Следы конских копыт привели к Ситьелге, затем к Агидели и там словно канули в реке.

Аул охватила тревога. Пошли толки, слухи. Говорили, будто в округе всех жгут — то гумно горит, то хлеба на корню. А поджигатели — молодые егеты. Они называют себя камсамул и хотят, чтоб совсем не осталось богатых, а везде чтоб были одни только нищие.

Теперь уже невозможно было удержать народ — в каждом доме начали рыть ямы для овинов, задымили бани. Аптелгалимовым, конечно, радость — за семенами опять к Аллаяру придут! Выйдя за ворота, поглядев вдоль улицы, бай с довольным видом пощипывал свои жесткие усы.

Следователь не нашел никаких доказательств, которые подтверждали бы связь между поджогом Аллаярова овина, ограблением мугэзэя и покушением на Тахаутдина. Допросили и Аптелгалимовых. За Муллаяном пришлось ехать в Кравково, нашли его у русской марьи — лежал пьяный вдрызг. Хозяйка сказала, что и в ту ночь он был у нее — пришел с вечера и до утра не выходил.

Хоть расследование и не дало результатов, дело решили не закрывать. Но в округе день ото дня становилось тревожнее. То и дело по крыльцу волостного управления взбегали озабоченные гонцы. Из Хайгадака, нахлестывая коней, уносились в разные стороны отряды дружинников. В аулах ждали разбора более таинственные и страшные дела. Поэтому события в Утекэе вскоре отошли на второй план, их стали понемногу забывать.

III

Кулумбетов долго разъезжал по кантону — помогал восстанавливать Советы в волостях и

аулах. Везде одна и та же, знакомая картина. Если весной на дорогах стояла непролазная грязь, перемешанная колесами пушек, то сейчас сапог на треть тонет в мягкой горячей пыли. Поля заросли сорняками. При последнем отступлении белые с особой злобой творили свои мерзости. И в русских, и в татарских, и в чувашских деревнях следы их нашествия сразу бросаются в глаза. Дома, дворовые постройки разрушены, во многих местах вместо домов стоят среди пепла и углей одинокие печи, протянув к небу шеи труб. В башкирских аулах запустение было особенно заметно. Лишь из редких труб пробивался дым. Когда-то к каждому дому вела веселая тропинка, протоптанная в траве. Теперь почти все позарастали. Что ни дом — заброшен, что ни окно — с прорванным пузырем, зияет, как проткнутый и вытекший глаз.

Жестоко отомстили белые этим аулам за то, что башкирские войска перешли на сторону красных...

И в каждом ауле одно и то же горе — посеяли мало, хлеб не уродился. Везде один и тот же вопрос: «Знает ли о нашем положении Ленин-бабай?»

— Знает. Даже лучше, чем ты и я. Все время думает о том, как избавить вас от голода и нищеты, — отвечал на это Валиулла.

Когда белых прогнали, стали наконец приходиться центральные газеты. Как и каждый, Валиулла искал: нет ли в газете ленинских слов. Тех слов, которые давали самую правильную, точную оценку времени, пробуждали в человеке надежду. Газету, в которой было напечатано выступление Владимира Ильи-

ча от двадцать шестого января этого, девятнадцатого года, он, отправляясь в свою поездку по аулам, захватил с собой. Пока ездил да читал людям ленинские слова, газета окончательно истрепалась. Народ ведь не верит, когда просто читают, — им покажи, дай поддержать газету в руках. И вот берут, смотрят на заголовок статьи, просят разобрать вот эти, самые большие буквы. А из них-то как раз и складываются слова: «Все на работу по довольствию и транспорту!»

Ленин прямо говорит: первое полугодие 1919 года будет еще тяжелее предыдущего полугодия. Голод усиливается. Сыпной тиф становится самой грозной опасностью. Когда Кулумбетов стал объяснять ленинские слова по-башкирски, все будто услышали твердый голос вождя революции: «Спасти миллионы и десятки миллионов от голода, от тифа можно, спасение близко, надвинувшийся голодный и тифозный кризис можно преодолеть и победить вполне. Отчаиваться нелепо, глупо, позорно. Бежать поодиночке, врассыпную, кто во что горазд, чтобы как-нибудь одному оттолкнуть более слабых и пробиться вперед — это значит дезертировать, покидать больных и усталых товарищей, ухудшать общее положение».

Услышав эти слова, отощавшие люди оживали, их плечи как бы сами расправлялись. В потухших глазах уже светилась надежда. Но ведь Ленин не велел лежать и ждать спасения. Спасение — в том, чтобы взяться всем, как один, и помочь друг другу. Зайнулла смотрел на Гайзуллу, а тот поглядывал на Аптрахима. «Смогут ли они мне помочь? А я

им? Правда, стоит у меня в хлеву некое животное, мешок с костями, который назывался лошадью. У Аптрахима нет и того. Может, он сумеет наскрести семян для сева? А третий кто-нибудь, смотришь, позаботится о наших детях... Тяжело все же пахать землю одной лошадью. Если бы пару — легче было бы обрабатывать землю не то что одного — пятерых хозяев. А вот у вдовы Кузайнап, оставшейся с пятью детьми, совсем ничего нет. Что же — бросить их в голодную пасть смерти? Нельзя. Выходит, надо и ее надел вспахать...»

Ленинские слова «спасение близко» Зайнулла, Гайзулла и Аптрахим понимают по-своему. Они уже видят обозы с хлебом, которые вышли в путь из Уфы и Стерлитамака, направляются к ним. Ведь у бедняков все уже съедено — все, что можно было смлотить в овине. Земля должна была бы уже дать новые всходы озими, а она пустует, томится и пыст ветер. Удовлетворить бы душу этой дорогой земли, чтобы зазеленела, чтоб, как во сне, поднялось над нею море колосьев... Этому видению крестьянин готов поклониться, как поклоняются богу!

Потому что настоящий бог у крестьянина — на земле. Ему он молится горячее и чаще всего, стараясь угадать так, чтобы молитва закончилась, как раз когда ангел произнесет свое «аминь». Угадаешь — все сбудется! И когда крестьянин произносит эту свою главную молитву, она не похожа на туманные суры из Корана. Ясные слова, каждое омыто слезами:

Дай хлеба мне, побольше дай;
Страдать, томясь, не заставляй.

Быстрее дай, щедрее дай,
Насыпь, чтоб было через край.

Родник достатка засорен, —
Расчисти его, услышь мой стон,
Ту щель, куда уходит он,
Заткни, а мне побольше дай!

Не жду откуда — пусть придет,
И жду откуда — пусть придет.
Взгляни — здесь каждый хлеба ждет.
Но больше всех ты — мне подай!

Большую работу проделал Кулумбетов в кантоне, а теперь едет в Стерлитамак.

Обозы! Повсюду тянутся обозы. Но это не те подводы, которых ждет в своих мечтах крестьянин-бедняк. Они тянутся из села к городу. Из-за реки Ашкадар, через мост, одна за другой тянутся подводы. И с противоположной стороны, проехав брод на реке Стерли, катятся телеги — все в Стерлитамак.

Крестьяне ждут хлеба для себя. А в этих телегах — хлеб для армии.

Попался на пути Кулумбетова и особенный обоз, нагруженный не хлебом. Стерлитамак стал столицей, в телегах везли канцелярское имущество Башкирского советского юмхуриата, возвращавшегося из эвакуации.

Тому, что Башкортостан объявлен автономным советским государством, Валиулла Кулумбетов был очень рад. Наконец-то стала явью вековая мечта башкирского народа. Свободным государством объявлена страна, народ которой участвовал в стольких битвах, принес столько жертв, но так и не смог избавиться от ига национальных богатеев и русского царизма. Лишь революция, советская власть и ленинская партия смогли освободить

народ от этого ига. На Башкортостан, который уже начал увядать, нынче словно плеснули «живой водой». Теперь-то он вскинет гордо свою голову!..

Но вот чего Валиулла никак не может понять: в республику Малой Башкирии почему-то входит лишь половина башкирских земель. Остальная часть по-прежнему называется Уфимской губернией. Одно-единое озеро разделено на два. Притом сам Стерлитамак вместе с уездом входит в Уфимскую губернию. Но он же и центр Малой Башкирии! Как-то сложно все...

А связи!.. Между Стерлитамаком и Уфой и то дороги плохи, а уж на собственные земли — скажем, на Урал или в Зауралье — уполномоченным республиканского правительства совсем не проехать. Столица-то в стороне — как островок в Уфимской губернии!

Вот так, думая о положении башкирской деревни, о нынешнем политическом лице Башкортостана, Валиулла ехал в Стерлитамак. И незаметно доехал до города.

Попетляв по грязным улицам, среди одноэтажных старых домов, выкупав колеса в нескольких зловонных лужах, наконец выехали к реке Стерли. Тут до центра рукой подать. Кулумбетов отправил подводчика обратно, а сам спустился к реке — ополоснуть ноги и переобуться. Вот он и приехал в столицу. В Табынском кантоне у него не было еще определенной должности. Теперь, после возвращения правительства, он получит, наверно, назначение на работу. Если подвернется случай, выскажет и некоторые свои соображения товарищам из руководства...

Перемотав портянки, он надел сапоги и зашагал к центру города. По-прежнему окружали его старые низкие дома. Уже перевалило за полдень, а у большинства домов ставни все еще были закрыты и прихвачены поперечной железинной, пропущенной внутрь дома. На улице был день, а хозяева сидели в темноте, прислушивались. Кто сегодня постучится в ворота — красные или белые?..

Вот показались и двухэтажные каменные дома, их можно пересчитать на пальцах. Всѣ лавки и склады с тяжелыми железными дверями.

В одном из таких домов поместился ревком республики. Вокруг него, как на базаре, кишит народ. Входят и выходят — татары, башкиры, русские, чувашаи... Кто в лаптях, кто в стоптанных сарыках. Мелькают тюбетейки, войлочные шляпы. В коридорах столько народу, что не пробьешься. Только и слышно: «Семена... Семена...» Вот уже который день слова эти звучат в ушах Кулумбетова.

Откуда-то из глубины коридора, поскрипывая деревянной ногой, вынырнул Антонов. Его желтое, худощавое лицо показалось Кулумбетову грустным. Со скупой улыбкой подал он руку Валиулле.

— Здесь, брат, еще никакого порядка нет. Хожу, прошу назначения — никакого толку. Сунусь туда — гонят сюда. Толкнуусь сюда — направляют туда! Голова кругом пошла. А время-то бежи-ит...

— У предревкома был? — спросил Валиулла.

— У Юмагулова? Что ты! Дни и ночи заседают. Комплектуют кантонные ревкомы.

— Я тоже ведь к нему. Зайдем-ка вместе. Должен же быть конец их заседаниям!

Прождали целых два дня — и не попали на прием. На третий день Валиулла подошел к полувоенному в поношенном офицерском кителе. Под кителем виднелся наган.

— Мы представители Табынского кантона...

Человек этот ушел в кабинет и быстро вернулся:

— Придется подождать...

Но вот наконец Антонова и Кулумбетова вызвали.

Юмагулов сидел за столом и громко разговаривал по телефону — то по-башкирски, то переходя на русский язык. У него было широкое калмыцкое лицо с угольно-черными глазами и пышным черным зачесом. Антонов и Кулумбетов разглядывали его, рассматривали кабинет, уставленный по углам кадками с фикусами и пальмами. Входили сотрудники Юмагулова, он, продолжая говорить в трубку, подписывал бумаги и жестом отпускал одного за другим.

Вот Юмагулов наконец положил трубку и стал пристально всматриваться в лицо Антонова. Поманил рукой, предложил сесть. Кулумбетову широко улыбнулся, указал на кресло:

— Прошу...

— Вы, наверно, знаете уже — мы из Табынского кантона... — начал было Валиулла. Но Юмагулов будто и не слышал его — повернулся к Антонову:

— По какому делу?



— За назначением на работу. Я — землемер.

С официальным видом Юмагулов задал несколько вопросов — где учился Антонов, откуда он. Потом спросил:

— Какой национальности?

— Чуваш...

— Родно-ой! Это же Башкирия! Нам собственные кадры нужны!

Антонов скрипнул деревянной ногой. Голос его задрожал:

— Не понимаю... По-моему, везде одна и та же советская власть...

Юмагулов побледнел.

— Не учите меня политграмоте, товарищ... Антонов, кажется? Мы — автономная республика. Обращайтесь в Стерлитамакский уездный комитет. До свидания.

Поднявшись, Юмагулов через стол подал руку Антонову. Тот тоже тяжело встал и удивленно всматривался в председателя ревкома. Юмагулов опять снял телефонную трубку, что-то закричал. Пожав плечами, Антонов направился к двери.

Поднялся с места и Кулумбетов. Но Юмагулов заметил это движение. Прикрыл трубку рукой, сказал:

— Ты, брат, чуточку подожди, — и даже будто подмигнул.

Окончив телефонный разговор, Юмагулов не стал садиться за свой стол — подсел к Кулумбетову.

— Ай-яй-яй... — покачал головой, словно решил пожурить младшего брата. — Ты что же это, братец!.. Можно сказать, коренной

башкир, а ходишь за хвостом этого чуваша, как его...

— Николай Иванович Антонов. Коммунист. Этот человек много сделал, помог организовать волости в кантоне...

— Спасибо за разъяснение, — Юмагулов говорил все так же приветливо. — Вижу, ходишь за его хвостом. А надо иметь чуточку гордости. Все-таки мы — представители самостоятельного государства!

Валиулла молчал. Его сбил с толку этот неожиданный переход от официального тона к почти братской нежности. Юмагулов принялся подробно расспрашивать — где Кулумбетов был в эти бурные годы, что делал. Один раз — в Саранске — он уже расспрашивал его с тем же внимательным наклоном головы.

— О-о, какая богатая биография! Какие противоречия! Шакирд из медресе «Галия», мугаллим, полковой мулла, коммунист! У нас, башкир, не часто встречаются такие...

Развалившись на стуле, он стал расспрашивать о медресе «Галия». Оказывается, он хорошо знал и Галимьяна Ибрагимова, и Мажита Гафури.

— Слушай, — вдруг сказал Юмагулов, потемнев. — Шаихзаду Бабича свои вроде зарубили, красные. Не разобрались еще, ошибка это или дело здесь посерьезнее...

Оба умолкли, вспомнив трагическую гибель поэта. Это случилось при переходе башкирских войск на сторону Красной Армии, в феврале. На Валиуллу эта весть подействовала тогда как удар обухом.

Как будто бы с Юмагуловым найден общий язык. Но почему он так холодно принял

Антонова? Почему оттолкнул? Ведь коммунисты не валяются на дороге — большинство на фронте. Неужели из-за национальности? Но куда же тогда девать всех чувашей, которые живут в Башкирии?

Валиулла не смог сразу во всем разобраться. Да и времени для этого не было.

— Работы много, люди нужны вот так, — Юмагулов провел пальцем по горлу. — Сам выбирай, куда душа желает.

— Я-то что. Бывший халфа...

— Значит, по делам просвещения! В центре хочешь остаться?

— Да нет... В кантон вернусь. Родные места...

— Прекрасно. Пока возвращайся в кантон заведующим отделом просвещения. Председателем ревкома там будет Гайсин. Должны сработаться. Понадобись — вызовем. Может, станешь и наркомом. Ну ладно, до свидания, брат...

— Извините, у меня еще не все. Если можно...

— Конечно, конечно!

— Я побывал во многих местах. Опасность есть — боюсь, не посеют озимые. Семена...

Юмагулов нахмурился:

— Твое-то собственное дело ведь решили? Вот и хорошо. А об этом побеспокоятся другие.

Валиулла не отступался:

— Если бы касалось только меня я и беспокоить вас не стал бы. С этим-то делом я и пришел — народ же беспокоится...

— Пусть народ не беспокоится. — Юмагу-

лов подал руку. — Башкиры получают все. Для того и юмхуриат нам дан. Уже о семенах подумали. К границам Башкирии посылаем заградотряды. На сторону не уйдет ни зернышка. Ну, желаю успеха.

В глубоком раздумье, настороженный вышел Кулумбетов из ревкома.

IV

Отдел просвещения!..

Кулумбетов продолжал разъезжать по организационным делам кантона и все не находил времени для своей прямой работы. Между тем наступила осень — пора занятий в школах. А партия — это Кулумбетов хорошо знал — поставила борьбу с неграмотностью в один ряд с борьбой против классового врага и интервентов, с борьбой против разрухи. Надо немедленно наладить школьные занятия. С чего же начать? Откуда найти столько учителей — для каждой деревни? Да еще таких, которые учили бы на основе новой, советской политики. А учебники? Не только новых — даже старых книг нет. И здания для школ нужны — найти их еще труднее. На тех местах, где были когда-то школы, сейчас кучи золы и углей.

И к руководству республики по этому делу не сунешься — там сейчас началось что-то совсем непонятное. Ссорятся с Уфимским губкомом. Мы, мол, самостоятельное государство, в Башкирии может быть только одна власть — наша. Отказались от сотрудничества в деле заготовки продовольствия не только с

Уфой, но и с другими соседними губерниями. Между русскими деревнями и башкирскими аулами из-за непонятной национальной политики пробежал холодок.

«А ведь Уфимский губком мог бы, наверно, нам помочь в школьном деле, у них большинство районов — башкирские, — думал Кулумбетов. — Почему бы не подумать сообща? У них и образованных людей побольше — в Уфе да в Оренбурге были до революции знаменитые медресе, большие школы. И учебники можно бы выпустить сообща...»

Так думал не только Кулумбетов. Но Юмагулов твердил свое: «Если Уфа хочет вести дела вместе с нами, пусть присоединяется к нам».

Время, конечно, даст ответ на все вопросы. Но если бы спросили у Валиуллы, он не колеблясь сказал бы: Башкирия должна быть единой, советская власть везде должна быть одинаковой, должна строиться на основе общей, советской, партийной политики.

Время даст ответ... А вот обучение детей надо наладить немедленно.

В кантоне согласились с предложением Кулумбетова созвать съезд образованных людей. Сразу же было послано в волости указание: выявить всех, кого можно поставить учителями. Занести в список и прислать делегатами на съезд.

Съезд собрался в Башкирском ауле, издавна славившемся своим медресе. Народу собралось много — просторный зал медресе еле вместил всех.

Поглядел Валиулла на делегатов — пестрый состав! Передние ряды заняли люди в старых шинелях — одни прислонили к коленям костыли, у других пустой рукав засунут под поясной ремень. Эти держат себя свободно, как хозяева. На остальных смотрят чуть свысока. Видать, прошли и огонь и воду, чувствуют в своих руках власть. Читать и писать, скорее всего, научились в окопах. Их первый урок начинался с вопроса: что такое революция? Эти будут главной опорой в школьном деле.

Но всего ярче бросилось в глаза то, что каждые два из трех делегатов обеими ногами стояли в борозде. Руки как лопаты, в мозолях да в занозах. Захватили с собой скудный припас — лежит у них на коленях в холщовых узелках. Каждый, отправляясь на съезд, постарался приодеться. Самые бедные и те — хоть онучами обмотали ноги, зато белыми-пребелыми. Надели новые лапти.

Немало и прежних мугаллимов — учителей медресе. Вот они, все собрались вместе, прибились к одной стене. На них длинные, уже поношенные черные сюртуки, узкие в талии. На выбритых до блеска головах прямо посажены черные тюбетейки. Халфы считают неприличным смотреть по сторонам, разглядывать соседей. Сидят выпрямившись, как фанатики-суфии, лишь мечут изредка блестящий взгляд. Тот, в кого угодит эта мгновенная молния, может подметить в ней искорку насмешки: «И ты сюда заявился, лапотник? Тоже хочешь стать халфой?» Но тут же искорку эту гасит скрытая печаль.

Что точит сердца этих людей? Валиулла хорошо их понимает — сам был халфой до революции, преподавал в известных медресе. Как почитали учителей аульчане! А тут все первые ряды заняли самоуверенные мужики в серых шинелях, заполнили медресе запахом окопного пота! Где же почет? Взяли верх и позволяют себе открыто усмехаться в лицо образованному человеку!

Смогут ли эти халфы в советской школе разъяснить ребятам истину, которую завоевали люди с костылями, с пустыми рукавами шинелей?

Те, что раньше служили муллами и муэдзинами, тоже сидят вместе — в последних рядах. Молчат, не шевельнется ни один, только мигают, как примерные шакирды. Знаком Валиулле и этот народ. Эти беспокоят больше, чем халфы.

До съезда Кулумбетов туманно представлял себе работу заведующего отделом просвещения. Теперь же, окинув взглядом всех делегатов, сразу понял: вот она, его работа! Через этих людей ему предстоит проводить в школах советскую политику. И начинать надо с воспитания тех, кто станет учителями. Образованных, культурных — вооружить революционной убежденностью. У тех, кто носит за пазухой камень, вырвать этот камень. А таких, у кого камень не вырвешь, убрать с дороги...

Получается, что и сюда, в дело просвещения, пришла революция. Работник просвещения должен быть революционером! У Кулумбетова будто заново открылись глаза.

В самом последнем ряду — позади мулл и муэдзинов — сидят несколько женщин. Сразу видно — чувствуют себя неловко. У двух на головах черные, расшитые позументами шапочки — калфаки. Обе в очках — должно быть, из бывших учительниц. Три их соседки — наверняка дочери мулл. Одеты ярко, но без вкуса. Кажется, вот-вот примутся жевать сладкую смолу или лузгать семечки.

Еще одна сидит — эту никак не понять. Она и не учительница, и не дочь муллы — это уж точно. Но и не «сырая» крестьянка. Голова обмотана желтовато-белой цветастой шалью, в открытом треугольнике видны лишь одни глаза. Странно — закрыла почти все лицо, но приехала на съезд образованных людей! Кулумбетову показалось, что он вроде бы знает эту женщину. Где же он видел ее?

Разглядев рядом с нею недавно избранного председателя Утекэйского аулсовета Мухаметгали и Садрислама, Валиулла тут же вспомнил: она из Утекэя, жена этого Мухаметгали! Кажется, ее избили до полусмерти... Выздоровела, выходит. Значит, и в Утекэе будет учительница.

Когда Садрислам, вернувшись из волости, сказал, что Ямиля-енге должна поехать на съезд образованных людей, Мухаметгали ни слова не проронил. Но когда этот партиец с наганом ушел от них, сразу нахмурил брови:

— Поедешь, что ли?

— Велел же ехать...

— «Велел»! А велел ли я?

— Ба, дай хоть опомниться. Я только что собиралась посоветоваться с тобой.

— «Посоветоваться»! Раз уж учишь — учи. А на всякие съезды-мьезды... Ни шагу в ту сторону, поняла?

Никогда еще он не говорил с нею так грубо. Ямиля удивилась:

— А что стрясется, если поеду? Хоть научат, как надо с детьми разговаривать.

— «Научат»! Слишком много ходила на миру, пока мужа не было дома. Вот и научили...

— Мухаметгали, не клевети на мою чистую душу, аллах покарает...

— У нимеских фрау весь разврат оттого и идет, что они по всяким клубам да съездам бегать начинают. Генух! Дабольна! — Мухаметгали даже топнул и, не зная, куда себя деть, вышел вон.

С тех пор как Мухаметгали вернулся из плена, в их семье ни разу не вспыхивала ссора. То, что муж вдруг бросил Ямиле грубые, обидные слова, сильно подействовало на нее. Расплакалась.

С крыльца дома послышался голос Гюльюзюм:

— Апай, ты дома?

Ямиля торопливо вытерла слезы. Гюльюзюм вошла, как всегда высоко подняв изогнутые дугой черные брови, вся сияя в улыбке. Заметив, что мужчин нет, откинула платок назад, завязала на затылке. Всегда, закончив какое-нибудь из своих бесчисленных дел, Гюльюзюм бежит к своей образованной подруге. Ямиля учит смышленную килен грамотно писать. В память Гюльюзюм грамота впитывается, как капли дождя в иссушенную зноем землю. А сама она тайком показывает

буквы Салиме — словно знакомит с новыми друзьями.

Гюльюзюм сразу заметила, что Ямиля расстроена.

— Апай, уж не больна ли?

— Да так... — Ямиля попробовала улыбнуться. Все равно голос выдал. Пришлось рассказать в двух словах о ссоре с мужем.

— Апакай! Поезжай, несмотря ни на что. Это ведь он из-за своей неучености...

— Уж не знаю... Неизвестно еще, как посмотрит на это твой кайнага.

— Э-эй, верно! То-то твой сломя голову побежал к нашим, в переулке чуть не сбил меня. Если что случится, он всегда к нам спешит за советом. Побегу-ка, а то наш старый злодей опять научит его чему-нибудь.

— Брось уж, Гюльюзюм, пусть их делают, что хотят...

— Нет, апай, бегу. Увижу твоего, прямо в глаза ему скажу: «Что ты все землю роешь копытом? Отпусти-ка мою апай!»

Но уговаривать Мухаметгали не пришлось. Как только он рассказал все Аллаяру, тот сразу принялся его стыдить:

— А еще председателем называешься! Ну и дурень. Вот узнают — посмотришь тогда. Сейчас же отпуская. Тебе же на пользу будет. Если не поедет Ямиля, пришлют учителем другого. Будет у тебя под носом еще один репей вроде Садрислама... Подальше, подальше от беды! Школа должна быть в наших собственных — я хотел сказать, аульного Совета — руках.

— Оно, с одной стороны, конечно...

— Никакого «с одной стороны» нет. Вре-

мя такое — женщины должны ездить на съезды. — Аллаяр постоял, всматриваясь в Мухаметгали, едко усмехнулся:— Впрочем, ты, конечно, имеешь основания... Это же они вдвоем будут ехать — и через Агидель, и лесами. Хоть он и коммун, но, видать, себе на уме, хе-хе... А в нашу Гюльюзюм как постреливает глазами! Думает, не вижу...

— Ни шагу не ступит за порог! — вспыхнул было Мухаметгали. Потом почесал затылок. — Агай, ты сам сказал — так не годится... — И вдруг просветлел лицом: — Сам с нею поеду!

Аллаяр, искоса наблюдавший за ним, тут же одобрил:

— Правильно, мужское решение. Айда, бери во дворе тарантас на рессорах, в пристяжку моего иноходца запряги. Пусть видят, как разъезжает утекэевский председатель.

Так что Аптелгалимов, который не упускал из виду ни одной мелочи вокруг себя, сунул свою лапу и в эти дела. Учитель в ауле должен быть своим человеком. Все, что будут говорить на съезде, до единого слова должно войти в его, Аллаяра, ухо.

Вернувшись домой, Мухаметгали постоял молча и наконец хмуро буркнул Ямиле:

— Ладно уж. Соберайся...

Съезд продолжался два дня. С трибуны говорили главным образом начальники из кантона и еще несколько человек из тех, что были при костылях или с пустым рукавом. Под конец все же прояснилось то, что было главным для многих сидевших в зале: как начинать занятия. В тех аулах, где были крупные медресе, дела обстояли проще. Там есть и помеще-

ние и учителя. Решили там учить ребят по-прежнему, только придерживаться новой политики. И чтоб не говорили по старинке «мед-ресе». Теперь это «мэктэп» — школа. А учителя называть не халфой и не мугаллимом, а говорить просто: учитель.

Пока не пришли новые учебники, съезд разрешил собрать все имеющиеся в ауле книги и пользоваться ими. Только молитвенников и Корана чтобы и духу не было. Учителя будут получать заработную плату. Она пока еще очень мала, ее могут выдавать мукой или крупой. Но ни в коем случае не принимать подношений от родителей. Топливом учителя и школу обеспечивает аул, этот вопрос будет решен окончательно в волостях.



Стояли тихие, ясные дни. Пожелтели леса на горах. Стаи диких гусей и журавлей, вытянувшись в тонкие нити, плыли по ясному небу на юг. Опустевшие поля словно приготовились к зимнему сну. Эти тихие картины убаюкивали ленивую мысль, звали к отдыху, к покою.

Лошади будто чуяли настроение седоков — рысили неторопливо, размеренно. Человек, сидевший на облучке, уткнув нос в воротник, задумался о чем-то. Мужчина и женщина, что сидели сзади, молчали, рассеянно смотрели по сторонам. Лишь проезжая разрушенные аулы, они будто просыпались: пепелища, черные срубы без крыш, косо осевшие избы — все это возвращало мысль в полный горя бранный мир...

Укатанная дорога пошла под уклон — спу-
скалась к переправе через Агидель. Крепкие,
с железными обручами, колеса задрезжали
веселее. В низине было прохладно. Ехавшие
в тарантасе зябко подобрались.

— Видно, скоро начнет подмораживать,—
заметил Мухаметгали и подоткнул полы жены.

Когда съехали с парома на свой берег,
кони, почуяв близость аула, резвее рванулись
вперед. Тут Садрислам, не оборачиваясь
назад, сказал:

— Давайте все-таки подумаем, чей дом
сделаем школой...

Видимо, всю дорогу он ломал голову над
этим. Ямиля ничего не сказала. Обеспокоен-
ная тем же, она прошлась в мыслях по всем
домам аула из одного конца в другой. И не
один раз прошлась — нет в Утекэе такого до-
ма, где можно было бы устроить класс.

«Мечеть?» — думал Садрислам. Уже не
раз он мысленно занимал мечеть под школу.
Да вот беда — в кантоне посоветовали не тро-
гать церкви и мечети, не обострять отношения
с верующими, которых в деревне большинст-
во. К тому же мечеть в Утекэе прогнила, вся
в щелях. Зимой не натопишься.

Мухаметгали вдруг наморщил лоб и про-
бубнил под нос:

— Уж низнай... Беда. Хоть бросай аул и
беги куда глаза глядят.

— Убежать легко. — Садрислам, обернув-
шись к нему, посмотрел ожидающе. — А я вот
нашел, — проговорил он, помолчав. — Как
приедем, позови обоих Аптелгалимовых.

Мухаметгали тут же понял все. Сразу лег-
ким стало тело от страха. И до этого он уже

чувствовал себя между двумя огнями, а теперь, видать, совсем худо будет...

Оставив Садрислама у ворот Файзуллы, Мухаметгали заехал во двор Аптелгалимовых и дрожащими руками стал распрягать лошадей. А в голове одно вертелось: как бы это поосторожнее сказать Аллаяру, чтоб ладно получилось.

Тут из дома вышел сам хозяин. Мухаметгали словно кто ударил под коленки — так ослабел. Аллаяр вперевалочку, неторопливо приближался. Шел, как бай идет к своему работнику, — даже не поздоровался, не взглянул. Потер крупы лошадей, ласково похлопал их по бокам.

— Вспотеть заставили... Ну да, животные ведь теперь ничейные. Что вам до добра, которое не свое... — Он долго щупал шею у коренника. — Чересседельник подтянули бы еще потуже — смотришь, и совсем задушили бы коня. Пока отлеживался на нимеском сахарном заводе, пока жирел там на сладком, совсем забыл, как лошадь запрягают, братец-турэ...

— Не я запрягал. Садрислам ведь и близко не подпускает.

Аллаяр будто и не слышал — все еще не глядя на Мухаметгали, спросил о главном:

— Ну, что же вы там назаседали?

— Назаседали-то?... Да уж назаседали. Вот, не успели еще приехать, а Садрислам уже вызывает... Вас с Муллаяном. Меня чуть за горло не схватили: быстрее да быстрее.

— Значит, вызывает, говоришь? — Аллаяр тут же все понял. — Хы!..

Он крепко задумался, больше ничего не

сказал. Так же вразвалочку направился к дому. На крыльце, уже открыв дверь, обернулся:
— Поить не вздумай! Привяжи, чтоб остыли...

Аулсовет временно решал все свои дела в доме Файзуллы. Хозяин дома и Садрислам сидели за самодельным столом, который совсем не терпел прикосновений — так и норовил уплыть из-под руки. Садрислам вслух читал письмо Шафигуллы. Оно пришло сегодня.

«Дорогие отец, мать и Шарифулла-туганым! — писал сын Файзуллы. — Всем вам от меня боевой красноармейский привет. Сам я жив и здоров, чего и вам желаю. Про то, как наши красные башкирские войска бахадирски сражались, защищая город Харьков, я уже вам писал. Отважные егеты нашей дивизии, как беркуты, крепко стояли и под Полтавой. Трудно описать героизм наших красных конников и стрелков, которые остались в глубоком «мешке» при обороне города Бахмача. Голодные, три дня и три ночи пробивались штыком и саблей из окружения. И пробились, уничтожив очень много разъяренных денкинских офицеров и солдат. Конечно, и наших батыров полегло немало. Вечно будем помнить о них и беспощадно отомстим за них любому врагу Советов. Тут я полежал немного в санпоезде, получил небольшую рану. Сейчас окончательно выздоровел. Наверно, вы увидели новый адрес на конверте. Нашу дивизию перевели на другой фронт. Погрузились в эшелоны и вчера прибыли в большой город Петроград. Белый генерал Юденич со своими погаными белобандитами, оказывается, собирает-

ся опять напасть на нашу революционную столицу. Чтобы защитить ее, сам товарищ Ленин призвал наши красные башкирские войска. Раньше нас сюда прибыла Отдельная башкирская стрелковая бригада добровольцев, созданная в городе Белебее, и конный полк из города Стерлитамака. Петроградские рабочие встретили нас, как своих родных братьев. Мы поклялись бахадирски отстоять этот славный город — город, где родилась наша революция, от поганых белобандитов и уничтожить всех до одного. Будем твердо стоять, атай! Ни на минуту не забудем свою клятву. Живите во здравии, а мы скоро вернемся с победой. Вот тогда и будет у нас самая большая радость...»

Читая, Садрислам счастливо улыбался. Но часто набегали на его лицо и тени грусти. Он от души завидовал счастью Шафигуллы. Как вырос его друг детства! В каких славных походах участвует! Он ходит сегодня по тем улицам, где совсем недавно ходил сам Ленин...

Поговорили о Шафигулле. Садрислам вдруг что-то вспомнил, лицо его опять стало суровым.

— С этим Мухаметгали никакого толку не добьемся в делах,— сказал он, поворачиваясь к потемневшему уже окну. — Как заехал к Аллаяру, так и пропал. Не может своей головой решать. Кто что прикажет, так и бежит...

— Человека ведь нет подходящего. Не от хорошей жизни поставили. Трусоват. Вот еще увидишь — подойдет сюда под самый конец нашего разговора с Аллаяром. Нарочно задержится, чтобы чистеньким остаться.

— Эх, скорее возвращались бы Шафигулла и остальные!.. — крикнул Садрислам. — За-

жимать, зажимать надо контру. У нас еще тихо, но тишина эта меня настораживает. Вот чую, и все — что-то готовится...

— Ваши званые гости идут! — Муслима торопливо вошла в дом. Достала щипцами из очага красный уголек, приложила к фитилю семилинейной лампы без стекла и стала дуть.

— Знаешь, туганым, давай-ка будем с ним помягче, — торопливо проговорил Файзулла. — Не думай, не боюсь... Просто знаю тебя, ты весь в отца пошел. Горячий...

Аллаяр чуть приоткрыл дверь. Бодренько, добродушно протянул:

— Дома ли хозяева-а-а?

— Айда, айда, кордаш! — Файзулла встал навстречу. — Заходите. Айда, Муллаян-туганым!

Тон Файзуллы показался Садрисламу слишком елейным. Наморщив лоб, он отвернулся к стене.

— Ассалямагалайкум, турэ-начальники!

— Турэ здесь хоть и нет... Магаликумассалям, баи! — сказал Файзулла.

— Баев здесь хотя и нет, в добром ли здравии живете, ямагат?

— Слава аллаху. Айда, проходите...

Садрислам не двинулся, лишь чуть заметно кивнул вошедшим. Представитель волости, он не вмешивался в этот разговор и терпеливо ждал, пока Аллаяр и его сын смиренно, но зная себе цену, усаживались на краю хике, пока они, пожелав достатка дому, творили молитву и оглаживали ладонями щеки. Потом, как водится, начались расспросы о здоровье хозяев и их детей, о том, все ли цело в доме и в хозяйстве, цела ли скотина. Файзулла сте-

пенно отвечал, что, слава аллаху, все здоровы, все в хозяйстве идет благополучно...

Посидели молча. Обе стороны знали, о чем пойдет разговор. Одна выжидала: «Что же, начинайте...» Другая прикидывала, с чего бы начать, подбирала слова.

Файзулла несколько раз кашлянул и решился прервать гнетущую тишину.

— Понимаешь, Аллаяр-кордаш, пришла пора ребятам в медресе ходить. В ышкул, что ли, по-нынешнему... Садрислам-мырда вернулся из кантона, и вот мы решили посоветоваться с вами.

«Посоветоваться! — в душе усмехнулся Аллаяр и сжал зубы. — Вы позовете советоваться, жди! Не советоваться вызвали, а фарман давать, приказывать!»

— Поня-а-атно... — протянул он с улыбкой. — Во-он, значит, как... Мы-то пока прикидывали, как бы свести концы с концами, пока копошились в своей землишке-барахлишке, об этом даже и подумать не успели. А савитски влас ни о каком деле не забывает. Ай, головы какие!.. А нам вот и на ум не пришло, раз нет своих шакирдов...

— Зачем так говоришь, кордаш? — мягко остановил его Файзулла. — А ваша Салима?

— Ба! Это уже зрелая девушка... Постесняется, наверно, ходить на уроки с такими малышами, как ваш Шарифулла.

— Все должны учиться, говорят Советы.— Файзулла обернулся к Садрисламу: «Ты-то чего молчишь? Скажи же хоть что-нибудь!» — молили его глаза.

— Да, учиться должны все, — резанул Садрислам. — И ваш работник Касим тоже.

Аллаяр вздрогнул, однако овладел собой и даже успел толкнуть локтем своего сына, который начал было подниматься с хике. Голос бая вырвался из его груди, как рыдание обиженного:

— Эй, Садрислам-улым, сын мой... Все из-за Касима зубы у вас болят. Куда же я его деду? Выгоню? Голодом уморю? Он ведь у меня живет как сын. Должен сын помогать отцу по хозяйству? А вы его как работника...

— Раз он вам как сын — еще лучше, — сказал Садрислам резче. — Одевайте, кормите... А на время ученья освобождайте от работы.

— Так и придется сделать, раз такой фарман... Впрочем, это мы сделали бы и без фармана. Мы же думали, что учить будут только малышей.

— Вот видите, в вашем доме уже нашлось два шакирда. Муллаян-туганым, скоро ведь и твои один за другим в ышкул-медресе пойдут, — проговорил Файзулла радостно. Разговор пошел наконец в нужном направлении. Он снова обернулся к Садрисламу: почему он опять молчит? Немного растерявшись, решил все же продолжать: — Шакирды-то найдутся, только вот нету места, где им можно слушать уроки...

— Да-а-а,— протянул Аллаяр по-русски и озабоченно нахмурился. И Муллаян, который следил за каждым движением отца, подал голос.

— Да-а-а,— тоже по-русски протянул и почесал затылок.

— Подумаем сообща, ямагат, где бы открыть ышкул, — сказал Файзулла и подкрутил в лампе фитиль, чтоб было светлее.

Садрислам, бросив из-под нахмуренных бровей гневный взгляд, резко оборвал разговор, который тек слишком размеренно, по-деревенски:

— Вот что... Этим делом должен заниматься аульный Совет. Где Мухаметгали? Пошли-ка Шарифулла, Файзулла-агай. Пусть разыщет. Немедленно чтоб явился сюда.

— И председателю бедному нет покоя, — посочувствовал Мухаметгали Аллаяр. — Дни и ночи носится по мирским делам, бедняжка. А дома-то пустой сусек. Мышь упадет — голову разобьет.

Никто не отозвался на это даже улыбкой. Снова разговор застопорился. Мухаметгали все не шел. Потеряв терпение, Садрислам поднялся и подошел к Аптелгалимовым:

— Придется вам потесниться.

Лицо Муллаяна побагровело. Он тоже встал:

— Как это потесниться?

— Ты не петушись, дослушай, — отец потянул его за рукав. — Садрислам-туган, как же мы должны потесниться? И так тесно, одна шея торчит, как у журавля. Только и можем, что дышать...

— Не приbedняйтесь, гражданин Аптелгалимов. Учебу придется начать в доме Муллаяна.

— Что? Уже из дому выгоняешь? Мотри, сгет! У тебя тоже одна голова... — На этот раз Муллаяна не мог сдержать и отец. Встал с выпученными глазами, почти уткнулся лбом

в Садрислама: — Что ж, тесни! Попробуем давай, кто сильней потеснит!

Садрислам даже не шевельнулся, смотрел не мигая.

— Муллаян, отстань, — Аллаяр опять потянул сына за полу. — У него в руках и влас и наган. Пусть грабит средь бела дня...

— Поосторожней в выражениях, гражданин Аптелгалимов. Это не грабеж.

— Выгонять из дому, когда на носу зима, — это ли не грабеж! Всё «контра» да «контра» говорите. Да прямо за горло... А Муллаян вместе с красными освобождал Уфу. Как и ты, рану в бедре получил.

— Сказки! И это еще проверим.

— И не стыдно тебе перед Муслимой-килен! Проверяй! Заставь снять штаны!

— Ладно, хватит вам, ямагат, — вмешался Файзулла, вспомнив что он — хозяин дома. — Не будем портить мир и красоту беседы.

— Все уже и так испорчено, Файзуллакордаш, родной! Ведь из дому гонят, который построен честным трудом... — опять в голосе Аллаяра послышались слезы. Вдруг бай выпрямился и резко добавил: — У меня глаза тоже понимают грамоту. И в советском кануне нет такой статьи, чтобы грабить, из дома гнать.

— Никто вас не гонит. Потеснитесь — только и всего, — сказал Садрислам и сел на свое место.

— Конечно же! — Файзулла поспешил подтвердить его слова и смягчить напряженность. — По-моему, вы не поняли Садрислама. Семьи у вас не так уж велики. Если и по-

теснитесь, доживете до весны. Ведь говорят же, что одну зиму и заячья шуба выдерживает. А летом, если аллах прикажет, и ышкул построим.

Тут в дом быстро вошел Мухаметгали. Он будто с самого начала участвовал в споре, — сразу вмешался:

— Совет даст расписку, что дом взяли на время.

Муллаян махнул рукой:

— С этой вашей распиской знаешь куда сходить?..

— Поосторожней говори! — остановил его отец. Опустив голову почти до колен, посидел в раздумье. — Ладно, сынок, потерлим. Собирай лохмотья, переедешь ко мне. Лбом ведь не прошибешь...

— Вот так бы сразу, — заулыбался Мухаметгали, подоспевший на готовенькое.

— Только вот что, — Аллаяр грозно затряс пальцем перед носом Мухаметгали. — Завтра же между двумя домами поставьте забор. Чтоб и ворот не было. Не хватает мне еще убирать, что нагадят дети сорока отцов. И стар я, и гордости еще не потерял. В сторону мечети пробейте ворота.

— Не горюйте, — Садрислам взял свою палку. — Школьные ворота не будут смотреть в вашу сторону. И в сторону мечети тоже. Пусть выходят прямо к народу. На большую улицу прорубим.

Отец с сыном вышли, окунулись в темноту. Неторопливо зашагали вдоль плетня. Идущий чуть позади Муллаян проговорил отрывисто:

— Прямо взбесился этот Садрислам. Может, пристукнуть?

— С-с-с! — зашипел отец. — Даже думать не смей. Если бы дело упиралось только в одного этого щенка... Я бы давно сам...

— Что же делать?

— Терпи, сынок, терпи. Как говорят русские, всякому овощу свое время...

Сзади затопал Мухаметгали. Они остановились.

— Председатель, — независимым тоном сказал Аллаяр, даже будто приказал, — вот я о чем все думаю. Школу-то мы с тобой нашли. А вот сам ты перезимуешь ли в своей дырявой горнице?

— Ума не приложу, агай. Все никак не подправлю: ни времени, ни достатка нет...

— Про то и говорю. Одной половины старого дома, по-моему, для школы хватит. А ты перебирайся в меньшую. И Ямиле твоей хорошо будет. Топить легче, и школа перед глазами. Если нужда какая — мы, как говорится, бод боком. Слава аллаху, не совсем еще конченные люди.

— Ай, спасибо, агай! — Мухаметгали обеими руками схватил лапу Аллаяра. — Вовек не забуду!

— Ладно, не раскисай, брат. — Аллаяр брезгливо освободил руку. — Иди-ка домой, обрадуй Ямилю-килен.

Мелко топоча, Мухаметгали растаял в темноте. Помолчав, Муллаян спросил негромко:

— Отец, не очень ли щедрыми мы стали?

Аллаяр вздрогнул.

— Эх, дети, дети... Узковаты же лбы у вас! — и звякнул щеколдой калитки.

VI

Мухаметгали и Ямиля быстро перенесли свои пожитки в меньшую половину будущей школы. Не зажигая света, поужинали и легли спать.

Но Ямиле не спалось. Лежала, уставясь в темный потолок, перебирала в уме все нужное для того, чтобы начать занятия. Если вынуть доски длинного хике через одну — получатся как бы узкие столы. В промежутках, где доски вынуты, усядутся дети. Можно напилить для них низких чурбаков. Так что пока можно обойтись и без парт... Отдел просвещения прислал пачку бумаги. Если расходувать бережно, все равно ненадолго хватит. А учебников нет — так и сказали. Среди старых книг Ямили нашлось несколько годных для занятий с детьми. Завтра надо будет взять на учет всех детей, которые пойдут учиться, переговорить с родителями. Заодно и о книгах спросить — может, у кого-нибудь есть. У старика Аллаяра много книг... Вот удалось бы их заполучить. Только вряд ли — когда между двумя домами ставили забор, Аллаяр как волк ходил по своему двору. Все поглядывал... А книг полный шкаф. Если посоветоваться с Мухаметгали? Где уж там, ничего не получится. У него все жилки дрожат перед Аллаяром. И рта не открывает.

Может, Садрисламу сказать! Нет, нельзя! Ему ведь только скажи — сейчас же пойдет в дом Аллаяра и в два счета вынесет оттуда все. На такое Ямиля никогда не согласится. Ведь советская власть должна быть самой справед-

ливой и человеческой властью в мире, ограждать человека от всяких притеснений!

А коммунисты все-таки обижают людей. Люди нажили имущество, а они распоряжаются им, как своим. Разве это справедливость? Ямиля думает тихо, молча ищет свою справедливость. Ей хочется, чтобы все были равны, чтоб всем было радостно жить, каждый чтоб мог получить образование. Всем людям — большим и малым — надо объяснить одну правду: так, мол, и так, все вы свободны и равны. Имущие, умерьте свою жадность, для наживы чужую силу не применяйте. Если силы ваши бьют через край, направьте их на полезные дела, учитесь, становитесь просвещенными. Тогда сами увидите: вам захочется протянуть руку близким, которые, как и вы, родились от своих матерей. Помощь ближнему станет вашей потребностью, станет вашим *и м а н о м* — делом совести. И вы поймете, что отстаивать равноправие и свободу — ваш человеческий долг. Все зло среди людей, обиды, тяга к богатству, притеснения — все это от необразованности.

Бедняки! Все вам кажется, что вас обобрали богатые. Кто из вас попрытче — *норовит* вырвать из их рук то, чего они достигли. А тот, кто кроток, безропотен, падает к порогу баев, продает свою собственную силу. А все потому, что неграмотны, живете ощупью, гадаете, куда шагнуть. Нехватки в своей жизни видите, а причин не можете понять...

Люди! Чтобы не ошибаться, нужны знания. Ученье обогатит ваши бедные души. Покажет светлую дорогу, выводящую из бедности. Это не дорога рабства и не дорога грабежа. Вот

станете просвещенными, поведете хозяйство умело и догоните ваших братьев, которые живут в достатке. А братья эти, став образованными, тоже кое-что поймут — встретят вас с распростертыми объятиями. И не станет в мире ни богатых, ни бедных, ни белых, ни красных. Будет единая, дружная семья свободных, образованных людей. Да здравствует свобода! Да здравствуют знания! Да здравствует равенство!

Ямиле хочется засучив рукава немедленно взяться за работу. Сон не идет к ней, она лежит, уставясь в темноту, шевелит губами: в ее думах складываются пламенные речи. Ей хочется немедленно высказать всему народу эти справедливые слова. Вот если бы этот и м а н из ее уст услышали сразу все! И все вместе сразу принялись бы за священное дело. А то ведь останется воз на месте: один, как лебедь, будет тянуть его вверх, другие, как щука, — в озеро, а третьи, как рак, поволокут в болото...

А рядом с образованной женой, по-солдатски всхрапывая, спит невежественный Мухаметгали, уставший целыми днями носиться по мирским делам. За пять лет плена окончательно усвоил Мухаметгали рабские повадки. Когда же выпрямится его спина, так прнученная сгибаться? Ямиля и к этому делу относится как к своему долгу. Верит, что и глаза ее мужа когда-нибудь да откроются.

За стеной дома неграмотный аул безмятежно спит, разомлевший от временной осенней сытости. Один из неграмотных, вполне довольный жизнью, которая сейчас, когда он так славно напился, кажется ему круглой со всех сторон, идет по аулу и хрипло горланит песню:

Будем есть и пить, в наслажденье жить,
Только раз живем в этом бренном мире!..

Неграмотность! Темнота!..

Сон никак не берет Ямилю. Переворачиваясь с одного боку на другой, Мухаметгали услышал вздохи жены.

— Все еще не спишь?

— Нет...

Ямиле хочется рассказать Мухаметгали о своих мыслях. Только это — не для полусонного человека, сладко чмокающего губами.

— Ты скажи все-таки еще раз Хусаин-агаю. Давно пора начинать занятия, а он все еще не сделал нам для класса черную доску.

— Доска готова! — откликается Мухаметгали. — Лаку только нет, чтоб покрасить.

— Уж как-нибудь найдите.

— Найдем, найдем... — Мухаметгали тянет в сон. — Ты уж спи. Пусть тебе приснится что-нибудь хорошее. Говорят, сон, который видишь в новом доме, сбывается.

Повернулся, вздохнул и сразу захрапел...

Неграмотность! Темнота! А ведь и он хочет сделать жизнь красивой, желает жене красивых снов, которые сбываются...

Ямиля и в самом деле увидела сон, незаметно как-то пришел. Только не красивый, а страшный. Опять война — в ауле, совсем рядом, перестрелка. Вздрогнув, Ямиля проснулась. Слава богу, война была только во сне...

Однако что это такое? Не винтовочный ли это выстрел? Да, вот опять выстрелили. Это в верхнем конце. Кто стреляет в полночь? За-

чем? Услышав еще один выстрел, Ямиля принялась толкать мужа в бок:

— Тебе, тебе говорю. Кажется, кто-то стреляет. Не слышишь?

Мухаметгали подошел к окну, постоял, почесываясь. Опять раздались выстрелы. Он торопливо начал одеваться. Нащупав наган, сунул его за пазуху.

Проворно оделась и Ямиля.

— Пока не узнаешь, в чем дело, близко не подходи! — крикнула вдогонку мужу.

Мухаметгали побежал в верхний конец аула. Оттуда донеслось еще несколько выстрелов, и наконец все затихло.

Через час, который Ямиле показался целым годом, Мухаметгали вернулся. Стрельбу затеяли, оказывается, во дворе того самого плотника Хусаина, которому была заказана классная доска. Но стрелял не сам хозяин. Живущий через дорогу охотник Кильмет — вот кто принес к нему свою двустволку и открыл среди ночи пальбу. Куда только не стрелял — в стену дома, в открытую дверь, под хике, в черную пасть печной топки. И при этом повторял слова всех известных ему молитв. А хозяин ходил рядом и показывал: сюда, мол, еще пальни и сюда. Пол-аула разбудили, вся улица сбежалась к этому двору.

Хусаин — известный всей округе мастер. Нет работы, которую он не умел бы делать. О граблях, деревянных лопатах и оконных рамах и говорить нечего; молотилки, жатки, стоящие у Аллаяра и во дворах богачей Дуровки, — вот дело его рук. Красивые прялки, которые можно увидеть почти в каждом доме Утекэя, все снасти для тканья холста — все

это сделал Хусаин, да так, что глаз не оторвешь.

Нынче летом слава долговязого Хусаина разнеслась далеко за пределы волости. Мастер увидел у сына мельника Дмитрия велосипед — единственный на всю округу. Осмотрел эту диковину и сделал такой же двухколесный самокат, только деревянный. Очень забавная получилась машина. И самое удивительное — ни одного куска металла в ней не было — все деревянное, даже гвозди. Изумив не только мальчишек, но и людей постарше, Хусаин пронесся на своем самокате из конца в конец аула. А через несколько дней уехал на нем в какую-то немыслимую даль.

Оказывается, Муллаян и Сафаргали, сговорившись, затеяли с ним спор. Оба уверяли, что ножная машина Хусаина не сможет довести его до Уфы и вернуть обратно.

«А я говорю, доведет и не треснет! За один день проеду туда, на второй вернусь обратно — что дадите?»

«По овце с носа!»

Ударили по рукам, и Хусаин в один из дней августа, удивляя всех встречных, на рассвете помчался к Уфе.

Когда под вечер въехал в город — вот где суматоха-то поднялась! Улицу, на которой он появился, запрудил народ — говорят, когда приезжал царь, и то такого не было! Хусаин остановился на квартире одного своего знакомого. В ту же ночь его удивительный самокат украли. Хорошо хоть, хозяин квартиры успел сообщить куда следует. На следующий день красноармейцы нашли самокат в Нижнем городе.

Хусаин спешил домой, чтобы не проиграть спор, — все-таки две овцы.

Но в этот день ему не удалось пуститься в обратный путь. Его вместе с самокатом начали водить и возить из одного учреждения в другое — и везде уговаривали, чтобы он оставил свою чудо-машину в доме, который называется музеем. «Ты живой талант, талант из народа!» — так его хвалили. Тут же и сфотографировали его вместе с машиной и на следующий день поместили снимок в газете.

— Как же ты достиг такого мастерства? — спрашивали газетчики.

И Хусаин отвечал, пользуясь новым словом, к которому уже привык:

— Этот далан мне дал сам милостивый аллах. Все время помогал, придавал рукам легкость. Подсказывал, как надо делать.

Очень уж религиозным он оказался человеком — совсем сбил его с толку аульный мулла.

Лишь на пятый день уставший и иссохший от голода Хусаин пешком вернулся домой. Послушать его собрались почти все мужчины аула. И хоть ни одного слова неправды не сказал мастер, ему не поверили. «Развалился твой самокат, — смеялись спорщики, — выбросил ты его где-нибудь в дороге». Обещанных овец, конечно, ему и не показали.

Хорошим мастером был Хусаин, а вот достатка не нажил — не умел заломить цену за свой труд. «Дадите, сколько сможете, — говорил всегда. — У меня только руки работают. Остальное — от аллаха». Потому и домишко его в конце концов совсем утратил жилой вид. Постороннему показать — только хлопнет се-

бя по ляжкам: и это дом знаменитого мастера Хусаина!

Несколько лет складывала семья плотника копейку к копейке, и в этом году наконец собрали на дом. В начале лета Хусаин привез из соседнего аула довольно новый сруб. Прежний хозяин хоть и незнакомый человек, а дом отдал за подходящую цену.

Привез его Хусаин, а руки-то свои — выстрогал добела, собрал, одним махом законопатил — за полмесяца поднялся его дом над серыми, осевшими избами, как игрушка, украсил весь верхний конец аула.

Однако недолгой была радость новоселья. Заметили, что Хусаин побледнел, стал ходить, как птица с перебитыми крыльями. А в один из дней раскрыл наконец свою тайну. И не кому-нибудь — мулле Гайфулле.

— Хазрет, не повезло мне с домом. То-то хозяин мало торговался, поспешил сбыть. Как только лягу спать — страшные сны вижу, а проснуться не могу. Ходят, ходят все время — и в чулане, и на крыше. Как на ноги вскочу, тут же убегают на улицу. А наружу с женой выйдем — принимаются топать в доме, в трубе свистят. Дом-то с нечистой силой оказался. Сердятся, наверно, что свезли их с насиженного места. Надо бы что-то божеское сделать, хазрет... пока они не ушли, переломав мне руки и ноги.

Муллу не удивил этот рассказ.

— Эту беду можно было заранее предсказать. Ты ведь немного обидел всевышнего. Пошел на поводу иноверцев-кафыров, создал какую-то бесову тележку. А в месяц великого поста рамазан, когда надо обязательно совер-

шать пять намазов в день, поехал на этой шайтанской арбе в Уфу, пожимал там руки каким-то неверным и кафырам. Если бы подал милостыню, всевышний, может, и простил бы тебя. А ты вместо этого, как русский кафыр, забыв о шариате, во время великого поста уразы принялся строить дом. Ужели этого мало?

И как ни в чем не бывало мулла направился к мечети, постукивая палкой о мерзлую землю.

— Что же мне делать? — Хусаин, плача, бросился за ним, забежал вперед.

— Заколи жертвенную скотину — курбан. Собери людей — слушать Коран. Не забудь и о доле мечети...

Третьего дня Хусаин торжественно собрал парод на чтение Корана. Получив солидный хаир серебром и бумажными деньгами и вдобавок самый лучший кусок от жертвенного барана, мулла расчувствовался. Не пропустил в доме ни одного угла, где мог прятаться нечистый, — все освятил молитвой, везде поплевал.

Спокойно спал Хусаин в эту ночь — ничто не мешало. А утром, когда жена разложила в очаге огонь, оказалось — в трубе нет тяги. Выбежала из дома — посмотреть — и на крыльце споткнулась о дубовую толкушу. А ступа, что еще вчера стояла опрокинутая под навесом, каким-то образом забралась на крышу и уселась на трубе. Выбежал и обладатель «далана», чтоб разбудить соседей. Глядь — вместо навешенных вчера новых ворот стоят серые ворота Кильмета. А на той стороне улицы из новеньких липовых ворот Хусаина охотник Кильмет выводит его же, Хусаина, корову,

которую нашел в своем хлеву. Вошли было с охотником в хлев Хусаина, а там стоит нетель Кильмета, беззаботно жует сено, щедро подброшенное рукой джинна.

Вот какую месть придумали джинны, домовые и пэри в прошедшую ночь! Не понравились им чтение Корана и молитвы муллы...

А Хусаин, видно, спятил от всего этого. Вытащил из очага горшок с горящими углями.

— Спалю, спалю я это пэриево гнездо! Спалю и убегу из аула!

Хорошо, что руки Кильмета оказались сильнее, спасли «пэриево гнездо» от пожара.

— Знаешь, сосед, разозлившись на вшей, шубу жечь не годится, — урезонил его охотник. И дал совет поумнее, чем совет самого муллы.

Вот какая стрельба разбудила Ямилю среди ночи. Два соседа изгоняли из дома нечистую силу.

Невежество! Темнота!..

Знаменитый мастер, а из-за своей темноты оказался в таком смешном положении. А соседи! Приняли несчастье аульного «далана» всерьез. Как дети! Даже председатель аулсовета и тот не смеялся.

Но и сама Ямиля, когда Мухаметгали опять уснул, призадумалась. Дом с нечистой силой! Что-то ведь там есть. Ведь есть же над землей небо. Против воды стоит огонь. Есть черная ночь — она сменяет день. Возле женщины всегда есть мужчина. Каждой вещи что-то противостоит. Раз бог есть, значит, есть и дьяволы?..

И вдруг Ямиля замерла: из каждого уголка чужого дома на нее смотрели, подмигивая,

какие-то мелкие тени с красными и зелеными глазами...

Проснулась она разбитая, усталая. Голова сильно болела. Но, покончив с делами по хозяйству, все же отправилась навестить дома, где ее ждали будущие ученики.

С какого конца начать? Тот конец аула, где высилась мечеть, показался неприглядным. Сама мечеть будто затаилась, выжидала, готовая обрушить божий гнев на аул. Даже обращенные на юг заиндевевшие окна ее казались слепыми. В обомшелом теле мечети, побелевшем от первого морозца, чувствуется какое-то бездушие, холод. Вот в домах, что обступили улицу, — теплота. Может быть, потому, что от них тянет свежесвепеченным хлебом, а из труб поднялись прозрачные столбы дыма?..

Хорошо бы начать с дома Аптелгалимовых — там целый шкаф книг. Но ноги не идут туда. Кажется — зайдешь и тут же задохнешься, закружится голова. Хорошо еще, Салима сама выбежала.

— Апай, когда учиться начнем?

— После базара.

— Эй, долго как! Поскорей бы научиться — беит хочу записать, пока не забыла... И еще маме письмо...

— Айда, приходи, вместе маме твоей напишем.

— Не-ет, апай, стесняюсь. Слова, которые я хочу написать, нельзя говорить никому. — Тут же забыв о письме, Салима затараторила: — Апай, а я придумала кэмит! Смешное такое представление! Я попросила Касима

представлять этот кэмит, а он застеснялся и убежал.

— Ну и что это у тебя за комедия?

— Вот слушай, — Салима быстро заговорила, то и дело переводя дух и играя бровями. — Мулла отправился на ярмарку, а его жена — абыстай говорит работнику: «Я ложусь спать, никого не пускай». Тут кто-то стучит в дверь. «Ты кто?» — спрашивает работник. «Я егет», — говорит кто-то снаружи. «А-а, — повторяет работник, не расслышав. — Деготь...» И будит абыстай: «Абыстай, тебе нужен деготь?» Ха-ха-ай! Правда ведь, смешно? Абыстай орет: «Не надо, не мешай спать!», а егет с улицы: «Нет, надо, она сама позвала!» Работник открывает наконец дверь, и оказывается, что это любимый егет абыстай. Они выгоняют работника и садятся вдвоем пить медовуху. Ха-ха-ай!

Ямиля покраснела.

— Откуда ты знаешь такие вещи?

— И-и, апай, я и не такое знаю! Вот слушай: работник стоит за дверью, глотает слюнки. «Ладно, проучу-ка я вас!» И орет: «Пожар! В верхнем конце дом горит!» Ха-ха-а! Абыстай с егетом выбегают, а работник заходит в дом и выпивает почти всю их медовуху. А то, что осталось, разбавляет ковшом сырой воды и уходит. Те двое возвращаются и снова принимаются пить. Ха-ха-а! Смешно ведь, апай!

— Смешно.

— Хочешь, еще расскажу один театр?

— Ладно, пока хватит. Потом расскажешь. Только чтоб без глупостей...

— Ладно, апай. Скажи-ка, когда пойдем учиться — все ли книги принести из дома?

Ямиля усмехнулась: будь что будет! — и сказала:

— Все сразу тащи. Сколько сил хватит.

— Побегу-ка их готовить! — Салима исчезла за воротами.

Вот ведь — почти готовый талант! Сочинила беит, придумала сценку для театра, да как ловко придумала! Только дать ей знания — и книгу напишет.

Мугаллимэ отправилась по аулу — от дома к дому. Все ей рады, каждый готов послать своих детей в школу. Только книг маловато набирается...

А вот вдова Гюльбану встретила ее невесело. Ее девятилетняя дочь, которая должна пойти в школу, заболела. Лежит, вся пышет огнем.

— Ушла я, заперла дом на замок, непутевая... А она от соседей как раз вернулась. Битый час простояла босиком на мерзлой земле... Может, от этого? Правда, Хаирниса-апай говорит, что сглазили ее, очень уж красивый ребенок... — мать горестно покачала головой.

— А лечить не пробовали?

— Хаирниса-апай пошла обмыть сорок дверных ручек. Хотим напоить этой водой. Говорит, самое лучшее лекарство от сглазу.

— Что вы! Мало вам одной болезни — еще чем-нибудь заразите!

— Все от аллаха, родная. Где есть рождение, там и смерть. Вон в прошлом году, когда дочь Хайруллы заболела лихорадкой, сделали они лихорадочную куклу и подбросили в наш переулок. А мой-то мальчик... — она зарыда-

ла. — Халяф мой! Нашел и принес домой вместе с лихорадкой, которую Хайрулла прогнал. Да и свалился без памяти. И не встал. Дочь спасли, а сынка моего...

С тяжелыми думами вышла Ямиля из этого дома.

Невежество! Темнота...

Были бы у них знания, сами бы посмеялись над такими поступками. Или ужаснулись... Какая наивность! Если дитя выздоровело, значит, знахарка помогла. А если не встало, значит, судьба, воля аллаха...

Добравшись до верхнего конца аула, Ямиля стала свидетельницей еще одной битвы с нечистой силой. В доме Хасана — брата плотника Хусаина, — видно, ломали печь. Через открытую дверь летели во двор кирпичи. Мастер Хусаин стоял у крыльца, глотал пыль. Оба брата во все горло кричали друг другу:

— Забирай эти кирпичи вместе со своими джиннами! — орал из дома Хасан. — А бревна мои обратно неси!

— Подавись своими бревнами! — не уступал и Хусаин. — А кирпич только попробуй принеси хоть кусочек на мой двор. Вон в овраг выбрасывай!

Здесь же, от соседей, Ямиля узнала и о причине раздора. В ту ночь, когда из дома Хусаина охотник изгнал бесов, перед рассветом, когда бывает самый сладкий сон, жене Хасана привиделось, будто к ним через запертую дверь вошла какая-то странная женщина, вся обмотанная грязным тряпьем. Только одна щель была оставлена в этом тряпье, и через нее смотрели на жену Хасана горящие глаза. Рука у нее была подвязана на веревке к шее.

Другой рукой прижимала к себе ребенка — черного, с белыми глазами. Вошла и заплакала, заныла: мужа, мол, у нее Кильмет застрелил, и сама она ранена, а ребенок при смерти. Некуда податься, пустите, мол, пожить.

«Нет, нет! И ноги твоей чтоб здесь не было! Ведь ты же ведьма, от Хусаина удрала!» И стала жена Хасана ее гнать. А ведьма глянула на печь и прошипела: «Э-эй! Из чьего кирпича все это сложено? Из нашего же!» — и вместе со своим ребенком скользнула в топку и исчезла. А кирпичи-то и правда Хасан перевез от Хусаина, выменял на бревна.

Потому и принялись ломать новую печь — чтоб выбросить кирпичи из дому.

Невежество! Темнота!..

Вот болезнь, от которой должна лечить их Ямиля. Сегодня же! Сейчас надо приступить! Но что у нее есть для того, чтобы начать это лечение? Всего лишь одно: справедливые фарманы — декреты советской власти о том, что все люди свободны, равны и все должны учиться...

VII

Наступает время заморозков, время предзимней тишины. Так тихо, что любой звук отчетливо слышен, разносится от одного конца аула до другого. Там вдруг загоготал ожиревший гусь, здесь расхвастался петух перед своим гаремом... Вот вроде рядом, а на самом деле далеко скрипнули ворота. Где-то мать зовет домой малыша...

Отовсюду доносятся звуки осеннего достатка. Наконец-то обрел крестьянин человеческий вид! Голоса стали зычными, лица — приветливыми. Какое трудное лето перетерпели — и остались в живых! И дети живы! И на будущее надежда есть — озимые поля радостно зеленеют, засеяны вовремя, хорошими семенами. До заморозков вылезли дружные всходы. В это трудное время правительство прислало семена! От войска оторвало, от красноармейского рта!.. Такое не забудешь. При каждом вздохе народ благодарит Ленина, творит молитву во здравие.

Не радуются лишь Аптелгалимовы да Сафаргали. И еще мулла Гайфулла — этот клянет в душе и коммунистов и правительство.

Аллаяр невесел, зубы стиснуты, в кармане крепко сжатый кулак. На этот раз расчеты его не оправдались. Раздать побольше в долг на семена — было бы надежнее. Всегда можно вернуть с лихвой. А то жди, когда продрозверстка приедет и выгребет все под метелку.

Зло смеется Аллаяр над теми малограмотными и наивными баями, которые не видят дальше своего носа. Закопают хлеб в землю, припрячут добро и сидят, благословляя аллаха за то что живы и богатство при них. Дождутся, своя же слепота и куснет их за зад.

Сохранить богатство для Аллаяра — это не цель. Для такого политика, начитанного человека богатство — оружие в борьбе. Аптелгалимов-старший считает, что власть как была, так и будет всегда в руках богатого человека. Богатство — это иман. Сумей затянуть человека покрепче в долги, он и запоет твою песню. Как это в газетах пишут — «экономи-

ка», что ли? Сегодня это оружие посильнее винтовок и пушек!

Нынешним летом государство основательно помогло беднякам и обеспечило их хорошей семенной рожью. Это заставило крепко споткнуться иноходца, на котором едут Аптелгалимовы. Спины бедняков, живущих в Утекэе, чуть разогнулись. Народ стал позволять себе вольности в разговоре.

Вот какие мысли грызут Аллаяра по ночам. Вожжи жизни ускользают из рук. Как бы намотать на руку покрепче?..

В эту страду он не спешил с обмолотом своего урожая, не устраивал, как бывало раньше, многолюдную помочь. Все покряхтывал, жаловался на то, что сил мало, тянул, тянул, да и остался позади всех. А когда земля уже начала подмерзать, вдруг сказал:

— Не будем совсем молотить хлеб. Пусть зимует в скирдах.

Этим он прямо-таки сразил своих «узколобых» — Латипа и Муллаяна.

Конечно, у него и здесь были свои расчеты. Пока жить можно. В крайнем случае соберет у ямагат хоть часть долгов. А если с продрозверсткой придут, пусть сами и молотят. Зачем мучиться попусту? А во-вторых — это «во-вторых» слегка отогревает его душу, — пока приедет продрозверстка, бедняки могут слопать свои просо и гречиху. Если так получится, Аптелгалимовым опять, считай, повезло: намолотят сколько нужно и раздадут в долг, как прежде. Ведь и закрома государства имеют дно! Без конца помощь оказывать нельзя! Так что шапки перед Аллаяром будут еще

снимать. А в счет продрозверстки то, что роздано в долг, не включают...

И еще есть третье... Это «третье» больше всего окрыляет бая. В последнее время газеты нет-нет да и напишут о том, что будто бы Москва собирается заменить продрозверстку продналогом. Если это верно, получится совсем славно. Как только пришлют такой фарман, бай без страха обмолотит весь хлеб и ссылет в закрома. Дыши свободно!

Так и решил Аллаяр. Те скирды, что свежены на гумно, стоят там, а остальной хлеб — в поле, огорожен жердями.

— С долгом не торопитесь, — ласково хлопывает бай по плечу соседа-бедняка. — Когда понадобится, сам намекну.

Доп-доп! Доптор-доп! — разносится по аулу глуховатый ритмичный стук. Люди толкут в ступах просо. Просо нынче удалось на славу, вот и толкут его — для каши, для супа, мелют для блинов и пышек. Ручные мельницы тоже в работе. «Просо, просо, просо», — говорят их жернова.

Трудное время, но люди остаются людьми, хотят повеселиться, забыть плохое. Застолья хоть и не так шумны, как прежде, но все же созываются и они.

Файзулла собрался поехать на свадьбу в Алайгыр. Муслима выпрашивает у соседок — у кого мягкие сапожки, у кого полушубок, у кого елэн, украшенный монетами и вышивками. А в другое время и она даст надеть кому-нибудь из них свое желтое платье с оборками, кашмау — старинную шапочку и сэскаб — украшенный бисером и монетами чехол, скрывающий косы от мужского глаза.

Когда с отъездом было решено, Муслима позвала к себе на чай дочь Аптерахима Закию — давно уже созревшую и даже начавшую перезревать.

— Уж ты останься возле Шарифуллы, побудь нашему дому ушами и глазами...

Как только услышала толстуха эти слова, тут же согласилась. Так и подпрыгнула. Это не понравилось Муслиме, но виду не подала. Когда почаяевичали и принялись уже мыть посуду, только тут, глядя в сторону, проговорила:

— Без нас-то не очень расходитесь...

— Что вы, енге! — живо откликнулась Закия.

— Я не против, если соберете девушек вечерком на посиделки.

— Так и сделаем, енге...

Муслима встревожилась не попусту. Проведала уже, что из Ташбаша пришел кайнеш Кильмета, гармонист, и товарища с собой привел. Вчера выпили и вместе с подростками до первых петухов горланили, ходили из конца в конец аула. Взрослых егетов-то нет, так эти уже считают себя парнями. Поплевав на ладонь, приглаживают вихры. И девушки, сохнувшие оттого, что «года уходят», как встретятся с этой компанией, тут же «хи-хи» да «ха-ха»...

А из Тюкая к Гюльюзюм на ултырма — посиделки — приехали свояченицы Латипа. И у Сафаргали тоже съехались девушки на ултырма.

Так что и Муслиму можно понять. Воровато оглядывает Закию, прислушивается к ее вздохам, как будто оценивает. Не зря же слы-

шала от соседок: «Закия, говорят, вашего фронтовика Шафигуллу дожидается».

Правда, она, когда на коромысле несет тяжелые ведра мимо дома Галиакбера, — тоже поигрывает бедрами. Знает, что у него есть неженатый сын Садрислам-турэ.

Соседки — народ глазастый, все рассмотрят!

Уже садясь в телегу, где были уложены пестрая перина и лоскутное одеяло, Муслима шепнула на ухо Закии:

— Если будете варить урынашы — поосторожнее с огнем. Труба у нас плохая...

— Ладно, ладно, енге! Ешь и пей вдоволь, гости спокойно! — Закия так и плясала от нетерпения.

Не успела еще телега свернуть в переулок, а Закия уже нашла Шарифуллу, приветливо заулыбалась:

— Туганым, уж мы сегодня соберемся, посидим немного, а?

— Хорошо, апай! — Кто же откажется попробовать знаменитую кашу посиделок — урынашы, посмотреть на пляску! — И Хаир-замана позовем, апай!

Закия мыла и скребла полы, пока они не стали желтыми-прежелтыми. Потом выбежала на улицу. Остороженько вызвала Салиму.

— Ишь, негодница! Приходи со своими гостями к нам, в дом Файзуллы-агая!

— Эй-й, дохлятина, наши-то ведь сегодня к Сафаргали-агаю идут. На чтение Корана.

— Ладно, ладно, вредная. Ломается еще! Не унесет же домовый твоего Латип-агая под пол. Ведь Гюльюзюм еще остается, удержит его за ногу, хи-хи!..

— Может, и придем...

— Ну уж эту ломаку!.. Уговаривать заставляет! Думаешь, позвать некого? Только ради твоих гостей.

— Ладно, я же сказала, апай...

— Я тебе покажу «апай»! — Закия ущипнула Салиму. — Вот тебе «апай».

— С-с-с! Не ори, Гюльсагура выбежит...

— Прихвати что-нибудь в узелке для урынашы. Хорошо бы бараньего сала...

Когда стало темнеть, Закия взяла две крупные картофелины и вырезала в каждой по глубокой дыре. Вложила туда скатанные вокруг нитки-фитиля куски сала и зажгла эти самодельные свечи. Сбегала к себе. Принесла яркую, всю в крупных цветах, занавеску, завесила ею кухонную половину. Дом принял праздничный вид.

Когда Закия входит или выходит, ветер шмыгает в дверь и колышет занавеску. Огромные, с кулак, красные цветы раскачиваются, как на лугу. Таких крупных настоящих цветов ни Шарифулла, ни Хаирзаман еще не видели. Оказывается, они растут на юге, за Кафской горой. Если, конечно, Закия не выдумала это. Как же красива, должно быть, эта гора! Только там, говорят, живут одни лишь дивы — дейеу-пэрей и драконы-аждахи, которым исполнилось сто лет. Вот и аждаху, которая прожила сто лет в озере Табанлыкуль, подняли грозовые тучи и унесли туда же — за Кафкас. Покойница Малика-эбсй, мать Тахаутдина, в молодости сама видела это. А вот аждаху, что в Агидели, добрые тучи никак не могут вытащить, как ни припадают к реке. Эта аждаха прожила уже тысячи лет и начинает превра-

щаться в юху, а это еще страшнее. Ведь она, став юхой, примет образ женщины и будет ходить среди людей, путать их дела. Лодку Хакимьян-бабая, рыбака из аула Усбалеш, кто чуть не опрокинул? Все она — как ударит хвостом...

Шафигулла и Хаирзаман сидят на белой кошме с черными узорами, посланной поверх хике. Подбрасывают вверх белые бабки — альчики. А разговор их, который начался с цветов на занавеске, увел мальчишек к таким жутким вещам, что даже шевельнуться страшно. Почему-то всегда: как вечер, приходит на ум только такое. Захочешь из дома выйти — беда. В темном чулане поблескивают, как угольки, чьи-то глаза. А попросить кого-нибудь: «Айда, выйдем вместе» — стыдно...

Все, что надо класть в урынашы, девушки принесли еще днем. А сейчас Закия развела в очаге огонь, будет варить посиделочную кашу. В нее полагается класть все, что принесено. Крупа, мука, мясо, масло, картошка — все будет положено в котел. Урынашы никогда не бывает одинаковой, весь смысл ее в этом. И всегда она получается необыкновенно, неожиданно вкусной — не оторвешься!

Довольно смело постучали в дверь. Закия, просияв, выбежала в сени.

— Кто там?

Донесся хриплый бас:

— Закия-а! Открой, блудница-кэнтэй! Убью-у! Егетов тут, оказывается, собрала!

Кто-то подделывался под старика Аптеракхима — отца Закии.

— Кто это там балуется?

За дверью захихикали. Повеяло приятной

свежестью, и в дом вошли красиво одетые девушки — Салима и свояченицы Латипа, приехавшие на ултырма. За ними и те, что гостят у Сафаргали. Лица горят, тронь иголкой — брызнет кровь.

Для начала девушки прикинулись серьезными — как пришли, тут же взяли в руки рукоделье, склонились над вышивками. О каких игрищах может быть разговор? Ведь они и приехали на ултырма только для того, чтобы заниматься вязанием и вышивать!..

А Салима уже затараторила, выкладывает все, что сядет на язык:

— Закия-апай... Ой нет, я хотела сказать Закиякай! Я песню сочинила про просяную булку!

— От тебя все станется. Ну-ка, спой.

И Салима закружилась, позванивая монетами, запела, притопывая:

Ее имя — Закия...

Не поешь — проголодаешься,

Съешь — изжогаю намаешься.

— Выдумщица! — сердито перебила ее Закия. — Сама-то, наверно, и в рот не берешь просяную булку. Позорить-то вздумала...

— У тебя одной, что ли, имя — Закия? Это я потому, что на редкость складно получается: Закия — «узэккюйе». Только потому сюда изжога — «узэк-кюйе» — и попала.

— Сказала бы «Накия», «Гатия» — мало ли женских имен.

— Те не так подходят. Ладно уж, не обижайся, подружка...

— Да еще перед девушками... Ты же знаешь: что вышло из-за тридцати двух зубов — в тридцать два аула разойдется.

— Мы не расслышали! — девушки еще ни-
же склонили головы над пальцами.

Тут Салима захлопала в ладоши:

— Что я слышу! Бутыр-бутыр — какая же
вкусная каша варится! — видно, решила пере-
менить разговор и запела новую частушку:

В каше масло, в каше сало!
В кашу даже мышь упала!
Дай-ка выну, дай-ка выну, —
А она — в рукав, за спину!

— И убежа-а-ала! — с этими словами Са-
лима вдруг схватила в объятия Шарифуллу и
Хаирзамана и стала щекотать обоих. — Закия-
кай! Закиякай! Пока разрешаю, выбирай себе
шурина, у обоих братья есть, хи-хи!..

— Сначала ты выбирай!

— Мне вот этот очень нравится! Ишь, как
вырывается! — крепко прижав к груди Шари-
фуллу, она ласково похлопала его по спине. —
И брат у него, наверно, такой же красивый
егет!

Мальчишкам наконец удалось вырваться,
и они убежали за занавеску.

Пока вся компания смеялась, в окно заба-
рабанили чьи-то ногти. Стук был особенный,
и Закия бросилась к двери. В дом ворвались
еще несколько принаряженных девушек.

— Все? Больше никого не ждем?

— Все!

— Запираю. Больше никого не пустим!

Рукоделье забыли. Затеяли игру в «Бычье
колечко». Одна девушка повернулась лицом к
двери, остальные стали в круг. Та, что у две-
ри, должна была угадывать, у кого в руке
колечко. Ошиблась три раза подряд — и все

девушки, приставив ко лбу пальцы, как рога, принялись ее бодать. Поднялся отчаянный визг. Визжат, шумят, а между тем каждая прислушивается: не подошел ли кто снаружи к дому.

Одна девушка вдруг сказала, будто незначай:

— Тахаутдин со своими в доме Кильмет-агая собрались. Интересно, что они делают? Хи-хи-хи-и!

Тем временем поспела каша...

VIII

Грустно Гюльюзюм... Все домашние ушли к Сафаргали на чтение Корана. Салима со всеми девушками у Закии. Мухаметгали насильно увел с собой Ямилю, хоть у нее болит голова. Осталась молодая килен одна на два дома. Прямо хоть заплачь навзрыд. Слезы так и подступают.

Гюльюзюм не выдерживает и, убавив в лампе огонь, выбегает за ворота — надо и за другим домом присмотреть. Аул окутан темнотой. Его, как и Гюльюзюм, словно придавили тяжелые думы. Правда, кое-где мерцают «мышинные» огоньки — лампы без стекла. Изредка хлопнет дверь, доносятся веселые голоса — и тогда аул как бы встряхивается, оживает. Вот в верхнем конце двое громко переругиваются. Пора гостевая, без этого не обойтись.

Но все это не веселит застланную тучами душу Гюльюзюм.

«Эх, хоть бы прошелся разок по аулу, песню бы затянул», — она вздыхает, стыдясь своих мыслей. Лицо так и горит. А мысли текут все туда же... Хоть он и турэ, хоть и занят своими большими делами в волости, но ведь он же егет! Разве не больно ему — ведь молодость впустую проходит, без радостей. Взял бы да встряхнулся, забыл бы на час свои заботы, схватил гармонь да растянул мехи. Чтоб душа замерла, услышав... Пусть бы даже и не посмотрел в эту сторону. Ах, нет, все-таки пусть бы посмотрел, даже подошел. И чтоб сказал: «О чем задумалась, Гюльюзюм?» А то все «килен» да «енге»... Взял бы за руку: «Что опечалилась?» А она так бы и ответила: «По тебе, по тебе тоскую. Днем и ночью. И не хочу, а глотаю огонь. Знаю, что большой грех. В постели мужа думаю только о тебе...» Нет, пожалуй, такого не выговорить. Только стояла бы и пристально смотрела в его глаза. Долго бы так стояла...

Греховные мысли... Гюльюзюм прошла через калитку школы, взбежала на крыльцо. В проеме открытой двери зияла темнота. Но Гюльюзюм сегодня не страшно. Смело вошла в класс и, нащупав ближайший «стол», сделанный из хике, села. Почему-то навернулись слезы...

«Пройтись бы хоть разок по аулу да затянуть песню! К девушкам подойти — примайте в свои игры!» Нет, нельзя. Не до песен. Хоть и проходят без радостей годы егета — все равно нельзя. Дела да заботы волостного комитета отнимают все время. Только и знаешь, что носишься из аула в аул, из деревни

в деревню. Схватки, проверки, собрания... Хлеб для фронта, хлеб для голодающих — все заботы только об этом. Задания огромные, собирать хлеб тяжело. Скоро все это и до Утекэя докатится. В своем родном ауле будет еще труднее...

«А хорошо бы пройтись по улице с песней!» — подумал Садрислам, подходя к околице аула. Усталый, он возвращался домой из волости — хоть разок удастся отдохнуть вволю!

Песня так и щекотала кончик языка:

Слыша наше «Их-ха-ха!»,
В пляс пускается соха.
Пора девушкам проснуться,
Слыша наше «Их-ха-ха!».

В верхнем конце крики: драка! Садрислам прибавил шаг. Оказалось, что плотник Хусаин и его брат Хасан палками дубасили двух подростков. Садрислам еле разнял их, стал расспрашивать. Двое, которым досталось, были из тех, что собрались у Кильмета на урынашы. Вся эта компания придумала забаву: когда в доме Хусаина погас свет, принялись устраивать в его дворе пэриеву свадьбу. Уже, оказывается, не первый раз. Но в эту ночь Хусаин и Хасан не спали — решили подкараулить нечистую силу и спрятались под навесом. Когда мальчишки, тихо окружив дом, начали постукивать в стены, а один из них влез другому на плечи и накрылся простыней, изображая призрак, братья выскочили с палками. Проказники разбежались, а эти двое запутались в саване и получили то, что было приготовлено для нечистого.

Не боится бесов новое поколение! Шутит над предрассудками. Жаль, некуда направить эту силу... Если пэриева свадьба смогла их объединить, разве нельзя было бы сплотить их вокруг еще более увлекательных и полезных дел! Когда ездили в кантон на съезд, Садрислам вместе с Ямилей и Мухаметгали посмотрел спектакль «Салават». Его поставили молодые учителя медресе вместе с молодежью деревни. Разве нельзя организовать что-нибудь такое в Утекэе?

Садрислам все больше загорался новой идеей. В городах, в центре кантона собираются отметить годовщину Октябрьской революции как большой праздник. Почему бы и в Утекэе не отпраздновать! Остается около десяти дней. Надо без промедлений начинать подготовку...

Садрислам незаметно дошагал до дома Аптелгалимовых, того самого, где для детей аула была устроена первая советская школа. «Надо зайти, потолковать о празднике с Мухаметгали и Ямилей», — подумал он. Только что-то не видно было огня ни в одном окне этого дома. Взойдя на крыльцо, Садрислам постоял в раздумье. Нет, ночь длинная, выспаться успеют. Ведь завтра с рассвета опять идти в волость. Он решительно постучал в дверь.

В доме что-то упало, слышались торопливые шаги. Бесшумно открылась дверь. Женщина тихо вскрикнула и отступила. Это была не Ямиля.

— Кто здесь? — спросил Садрислам удивленно.

— Я, — шепнула тень, стоявшая у противоположной стены. — Гюльюзюм...

— А хозяйева где?

— Хозяева... Хозяев нет...

— А ты что тут делаешь в темноте?

— Я... За домом смотрю...

Разговор оборвался. Они не видели друг друга. Садрислам постоял, помедлил и собрался уходить. Он уже повернулся было и тут услышал за спиной:

— Садрислам-агай...

Садрислам удивился. Что-то толкнулось у него в груди. Повернулся к Гюльюзюм. Она бесшумно приблизилась.

— Садрислам-агай... Ты меня... выслушайка, — в ее голосе звучала не только просьба. Какая-то боль.

Он тоже растерялся. Что-то случилось с его голосом. Будто охрип, срывается.

— Слушаю... молодая килен...

— Ведь я же... Я же совсем не такая, как эти... наши. Нет человека, который понял бы... Вы-то хоть больше не отталкивайте меня. Как тогда... Ладно, Садрислам-агай? У меня здесь нет ни одного близкого человека...

— Гюльюзюм...

Он сказал «Гюльюзюм»! Как красиво он сказал это... Гюльюзюм не удержалась, — может, темнота придала смелости? — положила голову на грудь Садрислама. Егет вздрогнул, она услышала громкие удары его сердца.

— Садрислам-агай... Ведь я же... Ведь вы...

Садрислам оттолкнул ее и тут же опять притянул к себе. Непослушные руки его гладили волосы Гюльюзюм.

— Садрислам-агай, я же совсем... Я же не

такая, как эти, что в этом доме. Я так много думаю...

Вдруг, вздрогнув, отступила на шаг, не поднимая головы, закрыла руками лицо.

— Не осуждай меня, Садрислам-агай... Ведь я же от чистого сердца. С вами хочу быть... Работать вместе. Я же как лошадь стреноженная...

Теперь Садрислам схватил ее за плечи, и она, не противясь, ласково опустила голову на грудь егета.

— Ты, наверно, меня уже забыл... А я так плакала в Тюкэе, когда тебя увез отец...

— Помню, помню, Гюльюзюм, как не помнить. И здесь, как только увидел, — узнал. Зачем же ты вышла за сына контры?

— А что мне было делать, Садрислам-агай? Отдали же... И прошлым летом, когда ты ускакал на лошади, а за тобой погнались... Стреляли... Знаешь, как сердце оборвалось... А конь твой вернулся... Если б знал ты, как было тяжело... А нынче, когда вернулся сам...

— Гюльюзюм, не говори так...

— А я с вами хочу быть, помогать вам... И учусь для того, хочу читать книги, жить свободной... Чтоб с пользой для людей...

Садрислам уже поборол свою минутную слабость. Только что чуть не сорвались с его языка такие незнакомые, ласковые слова. Но когда повернулся к двери, сказал лишь одно:

— Ладно, успокойся, Гюльюзюм. Я понял тебя. Ты, оказывается, сознательная. Молодец, поможем. Ну — до свиданья.

Стараясь не скрипнуть дверью, он вышел и осторожно прикрыл ее. А Гюльюзюм осталась там, где стояла. Вдруг ей стало холодно, по-

чувствовала дрожь. Грех! Какой грех! Почему же до сих пор земля не проваливается под ее ногами? Она — замужняя женщина — положила голову на грудь чужого человека, слушала, как бьется его сердце! Ее волос касались чужие грешные руки!

Но тут же другой, твердый голос погасил все эти страхи: «Почему грех? Ведь я же люблю его. Как было хорошо с ним! Разве такое может быть греховным? Почему же, как только коснется меня безгрешная рука Латипа, я чувствую тошноту? Почему эта тошнота появилась и сейчас, как только я вспомнила о Латипе?»

Послышался скрип калитки, твердые быстрые шаги сухо застучали, удаляясь. Ушел Садрислам. Ушел, как минутный, радостный сон...

...Никак не укладывалась в голове Садрислама эта неожиданная встреча. Будто пришибленный, шагал по холодной ночной улице. Спотыкался, как во хмелю. Что же случилось? От души ли это у нее? Или это то, что делают они все в домах богачей? Вроде бы непохоже... Горячо говорила, всю душу выложила. Ложью это не может быть. А Садрислам — не допустил ли он тут ошибку? Держал в объятиях чужую жену! Да еще жену человека из чужого класса...

А в ушах все звенел горячий шепот: «Садрислам-агай!» Скоро ли развеется этот хмель?..

IX

Весело принялись за кашу — урынашы. Застучали ложки о дно деревянной чаши — ашлау. Но вот ложки стали замедлять свой ход. Закия заметила это, стала подгонять подруг:

— Что это колесо вашей мельницы вроде плохо стало крутиться? Смотрите — не зря говорят: плохой человек всегда оставит полложки еды.

И Салима поддержала:

— Правильно, Закиякай! И еще говорят: чем оставить хорошую еду, пусть лопнет плохое брюхо, ха-ха-а-ай!

Наевшись, все стали вялыми, куда и веселье делось. Нехотя взяли в руки прядильные гребни, шерсть и кудель. То одна, то другая нет-нет и вздохнет. Воровато приподняв уголок занавески на окне, посматривают в темень...

И вот слышались на улице отчаянно-веселые звуки тальянки. Девушки, конечно, прикинулись, будто ничего и не слышали. Первой заговорить не решалась ни одна.

Наконец Закия, не глядя в сторону окна, проговорила:

— Мелкота налопалась своей урынашы. Теперь вышли на улицу хвастаться.

— Егетами показаться хотят!

— Хи-хи-и-и!

Тальянка приблизилась. Стали слышны и слова песни. Все та же рекрутская песня, которую аул слышит каждую осень...

Ах, я уеду, я уеду,
Уж за спиной — Шишме-башы, —

А ты смотри, моя родная,
Почаще письма мне пиши!
И-их!

Один начинает петушиным голосом, другие подхватывают, стараются, чтоб получилось зычно, как у взрослых. А один все кричит: «Их-ха-ха! Их-ха-ха-а!»

Ах, я уеду, я уеду,
Уеду я, а ты гляди —
А ты гляди, моя родная,
В чужих руках не пропади!..
Так-то, вот так-то...
Иха-их-ха-а!

Рановато им петь такое. Никуда их еще не увозят. А все-таки стараются вызвать у кого-то слезы... Прощальная рекрутская песня действует на душу. Серьезная песня, солидная...

— Аллах охраняет, как бы не ворвались! — встревожились девушки. — Дверь-то заперта?
— Заперта. Кочергой заложена.

Успокоились.

Звуки тальянки прошествовали мимо. Опять начались тихие вздохи, покашливания. Пяльцы давно выпали из рук...

Так просидели в грустной тишине довольно долго. Вдруг ворота со скрипом распахнулись, загремели доски крыльца. Девушкам словно душу вдохнули.

— Абау, кто-то пришел? — проговорила Салима, будто ни о чем не догадываясь.

— Не шумите!..

— С-с-с! — все застыли, грозя пальцами друг дружке, округлив глаза.

Послышался осторожный стук в дверь.

Закия, подняв строго палец и закусив губу, на цыпочках вышла в сени.

— Кто там? — она мастерски изобразила голос человека, которого не вовремя разбудили от крепкого сна.

— Это мы, открой!

— Откройте, козочки!

Салима не выдержала:

— Что за пэри, что за пэри подошли, стучатся в двери? Бегите скорей отсюда. Дома отец, а у отца камча!

— Не откроете — спустимся через трубу!

В дверь без толку барабанишь —
Лезь в трубу, черней не станешь!

— Смотрите, как бы не пожалели. Халфетдин хотел поиграть вам, чтоб поплясали, поразмялись после урынашы.

У девушек языки тоже не на замке:

Есть у нас егет один, —
Звать как будто Халфетдин...
Так бы глаз и не сводила,
Да споткнулась, нос разбила!

— Ишь, мелюзга, — это Закия в сенях. — Убирайтесь, а то сейчас позову народ! — С победоносным видом она быстро вошла в дом.

Голоса на улице смолкли. Девушки прямо на глазах увяли.

— Апай, может, пусть зайдут ненадолго?

— Ни за что! Наследят еще здесь...

Она не успела договорить. С шумом и гиканьем в дом ворвались парни. Поднялся отчаянный визг, девушки бросились за занавеску. Лишь Закия будто остолбенела. Удивленно ударяя себя по бедрам, стояла в окру-

жени парней. Потом напустила на себя строгость, подошла к занавеске:

— Отвечайте, кто это из вас, сестрицы, побывал в сенях раньше меня? Кто решил меня опозорить, отодвинуть и кочергу и засов? Ну-ка, признавайтесь!

Все девушки, конечно, знали, кто это сделал. Но никто не осуждал Закию.

Подвыпившие для порядка парни ведут себя довольно смело. Халфетдин уже растянул мехи гармони. Тахау пустился плясать. Потом остановился перед Закией и топнул. Уговорили, пришлось ей уступить.

— Ладно уж, раз пришли. Только долго не рассиживайтесь — у нас много работы. Сыграй уж «Карабай».

Будто нехотя, девушки одна за другой выходят в круг плясать. Иных с визгом и шумом вытаскивают из-за занавески. А там, на маленьком хике, давно уже спят Шарифулла с Хаирзаманом.

Но вот Халфетдин оставил свою тальянку:

— Батыру тоже полагается отдых, — и, достав из кармана платок, весь расшитый яркими цветами, вытер лоб.

— Будем играть в почту! — предложил Тахаутдин.

— Нет, нет!

— Ишь, что придумали!

Девушки даже стали подниматься с мест. Но парни осмелели еще больше — усадили их рядом с собой. А Тахау почти насильно потащил одну в сени. Все сразу завели песню. Пока споют две или три, те двое, что в сенях, должны стоять в темноте. Как кончат петь,

кто-нибудь из этой пары просунет в дверь голову:

— Пушта, пушта идет!

— Кому есть повиска?

И «почта» назовет имя того, с кем хочет увидаться оставшийся в сенях.

Вот почта вызвала: «Салиму!» Сердце Касима так и подпрыгнуло. Сидевшая рядом с ним Салима не заставила себя упрашивать. Подмигнула подругам и сказала:

— Когда буду в сенях, пойте песни подлиннее! Очень люблю длинные песни!

Касиму показалось, что даже кончики волос у него зашевелились.

Затянули длинную песню. А Тахаутдин подошел к картофельной свече.

— Эй, девушки, главного-то я не сказал! Слышали новость?

— Скажи, скажи!

— Из Уф-ф-ф-фы приехал муф-ф-ф-фтий...

Он так протянул это «ф-ф-ф», что свеча погасла. Раздался визг, Закия гневно пригрозила выгнать всех парней. А потом ничего, притихла. Согласие между парами стало крепче, голова склонилась к голове...

А Касим все ждал. Кого же позовет в сени Салима? Ему казалось, что она слишком долго стоит с парнем из другой деревни. Даже вспотел. Но вот доставили «почту», посланную Салимой. Ее голос: «Касима!» — прозвучал, как мелодия курая. Но все же, направляясь к двери, Касим сохранил степенность.

Закия запела протяжную, грустную песню. Почти никто из девушек ее не знал, пришлось Закии остановиться и объяснить:

— Это же «Гюльямал»! Когда подавили

восстание Салавата, почти всех мужчин и его-тов убили. А кто остался, тех в чужие края увезли. С тех пор девушки и молодые вдовы начали петь эту песню.

После слов Закии песня зазвучала особенно тоскливо:

В жемчугах, кораллах у меня брасле-е-ты...
Только рядом ми-илого уж нет...

Комкая конец занавеса, Закия вытирает глаза.

...Салима больше не снимала со своей талии руку Касима. Хорошо стоять около нее. Это была уже не та Салима, что носилась по двору — из дома в сарай, из сарая в аласык. Как будто из сказки пришла... Может, завтра, встретившись, оба опустят глаза. Но сейчас стоять вот так, обнявшись, обоим очень приятно. Да к тому же Салима шепчет на ухо, прямо обжигает висок:

— Каси-им! — и сама берет за руку. — Вот носовой платочек, про который говорила...

Давно не слышал Касим теплых слов. Растаяла душа, как масло. Пригнулся к Салиме, тоже зашептал:

— Салима... Возьми, это тебе...

В руку девушки легла маленькая круглая коробка.

— Что это?

— Вазелин... что я обещал...

— Не ври, не ври! Ты же ничего не обещал!

— Возьми уж, сказал же!

— С-с-с! Тише...

Вазелин в кармане Салимы. Девушка мяг-

кой рукой перебирала заскорузлые пальцы Касима, легонько пожимала.

На этот раз ему показалось, что все песни, хоть они и были протяжными, окончились слишком быстро...

Опять зажгли огонь, стали плясать. Потом парни ушли. Выждав немного, поднялись и девушки. Закия осталась одна. Погрустнела, задумалась. Потом погасила огонь и аппетитно сжевала обе картофельные свечи, которые поджарились в сале. Было очень вкусно!..

Х

Кулумбетова всегда что-то притягивало к аулу Утекэй. Может быть, воспоминания о тех временах, когда он только что стал халфой?.. Ведь это было именно здесь, в Утекэе...

В день открытия школы Валиулла с утра приехал в аул. Хоть Ямиля и приготовилась к началу уроков, все же растерялась. Еще затемно заведующий отделом народного образования пришел в школу, прихватив с собой и Садрислама. Поздоровался с Ямилей, вошел в классную комнату. Увидев «парты», устроенные из досок хике, рассмеялся и взглянул на Ямилю с интересом. Ему понравились и класс, и находчивая учительница.

Это прибавило Ямиле смелости. Позвала гостей в свою комнату выпить чаю.

Валиулла сразу согласился. Он, видимо, заметил волнение Ямили, старался ободрить. За чаем еще раз похвалил:

— Ну и чай! Когда выезжаю в аул, просто блаженствую. Ведь ни в ашханах, ни у хозяев,

где я квартирую, не умеют по-настоящему заваривать. А класс вы устроили — выше всякой похвалы. При нашем богатстве... на прорехи, нашли такой удачный выход!..

А Ямиля смотрела и радовалась. Да, этот заведующий не из старых турэ, которые привыкли орать, рычать на людей. Перед нею сидел умный и чуткий человек нового времени.

Пока пили чай, за стеной слышался топот, грохотали доски. В еще полутемный от утренних сумерек класс входили дети. Когда учительница и представители из кантона и волости вышли к ним, класс был полон. Мальчишки успели усесться между досками хике. Несколько девочек топтались возле двери — им не хватило мест.

— Апай, нас вон эти, большие, с места согнали! — пожаловалась одна.

— Ямиля-апай! — сейчас же отозвался рослый малый, еле уместившийся за «партой». — Девочки будут отдельно учиться, правда?

— Все будут учиться вместе. Теперь, дети, другое время, — отчетливо, тоном учительницы сказала Ямиля.

А сама посмотрела на Кулумбетова и Садрислама, как бы спрашивая: «Что же будем делать с теми, кому не хватит мест?»

Двери школы ни на минуту не закрывались. Шли и шли новые ученики. Вместе с Салимой вошла еще одна группа девочек. В сенях, не решаясь сделать последний шаг, прислонилась к дверному косяку Закия. Вдруг сильно запахло табаком — это прибыли молодцы Тахаутдина — те, что вчера ходили по аулу с гармонью. С ними и Касим. Появилась

Гюльюзюм. Но, увидев Садрислама, тут же исчезла.

На крыльце, в сенях толпились взрослые — очень хотелось им посмотреть, как начнут учиться их дети. Один агай осмелился, заговорил:

— Турэ-начальники! Нам тоже хочется, чтоб глаза начали различать письмо. Только стыдно вот среди малышей путаться.

В сенях загудели мужики, одобряя его слова. Валиулла сияя смотрел на Садрислама и Ямилю. «Вот оно! — говорили его глаза. — Народ берет в руки свою судьбу!»

Садрислам предложил:

— А что, если разделить на две смены...

— Так-то оно так, — Кулумбетов задумался. — Откуда второго учителя возьмем?

— Сама справлюсь! — уверенно заявила Ямиля.

— Валиулла-агай, — Садрислам будто мечту высказал, — если бы я освободился, с удовольствием стал бы учителем...

— Я бы тоже, — Кулумбетов вздохнул. — Но мы с тобой работаем не там, где хочется, а там, где нужно.

А Ямиля уже загорелась:

— Сама, сама справлюсь! Если что, так и помощницу себе найду.

Мухаметгали, стоявший позади, повел глазами в сторону Аллаяра и покачал головой. Приумолк и Садрислам. Даже, кажется, чуточку покраснел.

— Хорошо получится! — проговорил он.

Так и решили: учеников разделить на две группы. Тех, кто старше, записали в послеобе-

денную смену. Этим пришлось отправиться домой.

Когда малыши, оставшиеся в классе, расселись рядами и притихли, Ямиля волнуясь начала первый урок.

— Дети, что это передо мной на столе?

На разные голоса весь класс дружно закричал:

— Книги, книги, апай!

— Хорошо. Оказывается, вы это знаете!

— Как много! — восхищенно вздохнула маленькая девочка, сидевшая в первом ряду.

— Да, Файруза-хылыу, много. А вот во всем мире таких книг столько, что и в этом доме, и во всех домах аула не поместятся.

Ребятишки заахали.

— Чтобы всем нам жить по-советски, чтоб окончательно проститься с темнотой, нам надо научиться читать книги. И мы научимся!

— Все эти книги! Да, апай? Ой-бой!

— Сначала мы научимся читать вот эту. Сегодня буду читать я, а вы послушайте. А когда научитесь, я буду слушать. Эта сказка называется «Шурале». Значит, о ком эта сказка? О лешем...

Ямиля начала читать сказку и вдруг будто снова услышала доклад Кулумбетова на съезде: «Каждый урок надо вести, связывая его с политикой советской власти».

А «Шурале»? Ведь его автор, Габдулла Тукай, умер, так и не узнав даже, что будет советская власть. Как же все связать?

Дочитав сказку, она спросила детей:

— Ну так что же хотел сделать шурале с парнем?

— Хотел защекотать до смерти!

— А что парень сделал с шурале?

— Прищемил его палец в щели бревна, апай!

Как радостно, с удовольствием отвечают! Всем понравился смелый, находчивый Былтыр.

— Вот, дети, белые тоже набросились было, чтобы задушить нашу страну. А Красная Армия, как этот смелый егет, дала им отпор. Теперь пусть себе хнычут: «Былтыр, мол, нам палец прищемил!»

Уж белых-то ребята видели. Знают не по книгам. Радостно засмеялись, как будто сами отомстили белым. Заулыбался и Кулумбетов.

Тут маленькая Файруза, не переставая смеяться, встала и направилась к двери.

— Файруза-хылуу! Куда ты? Урок еще не кончился.

— Пойду домой. Сестра босая сидит. Ката ей нужна, чтоб надеть. Если долго будет дожидаться, мальчишки все места займут, она не сможет послушать про шурале.

Смеясь, Ямиля усадила девочку на место. Смеялся и Кулумбетов. Но уже вошла в грудь острая боль. Немедленно, немедленно надо организовать помощь. Сколько их, таких босоногих, в одном Утекэе! А во всем кантоне, в республике, в бескрайней России — сколько их, голопятых малышей, которые прибежали на свой первый урок босиком по мерзлой земле!..

Вышли на первый перерыв.

— Очень, очень хорошо провели урок, — Кулумбетов крепко пожал руку покрасневшей от счастья Ямили. — Так и продолжайте.

И заспешил к выходу. Ему надо побывать еще во многих школах. Везде ли так хорошо начался учебный год?..

Когда шел первый урок, за стеной в маленькой комнате Ямили сидела Гюльюзюм. Старалась не пропустить ни одного слова учительницы. Да, не ошиблась Ямиля — хорошую помощницу себе приглядела. Теперь она будет слушать здесь каждый урок. Как бы ни шипели домашние злыдни. Она уже перешагнула свой страх...

XI

В Утекэ впервые празднуют годовщину Октября. На торжественный вечер в дом Муллаяна неторопливо сходится народ. Каждый идет настороженно, как человек, замысливший кражу. Поглядывают по сторонам, на дом Аллаяра, на мечеть, угрюмо темнеющую в сумерках. Скользнув через калитку, быстро проходят в школу, стараясь сесть где-нибудь в углу, сзади всех.

Доски хике из класса вынесены. На стульях и лавках сидят мужчины. Ямиля, Закия, баловница Салима и несколько вдов из тех, что посмелее, собрались в меньшей комнате. Приоткрыли дверь, чтобы было слышнее.

Доклад Садрислама выслушали, не проронив ни звука. Когда в помещении стало душно, открыли дверь в сени. Тут все заметили, что у входа стоят Аллаяр и Сафаргали. Аллаяр прислонился к косяку, стоит скрестив руки на груди. Оба смотрят вверх голов, разглядывают сидящих, одного за другим, будто

хотят сожрать. На докладчике взгляды останавливаются подольше. Держатся спокойно, но губы сжаты.

Когда Имангулов в конце своего доклада сказал, что Красная Армия, наголову разбив врага на всех фронтах, продвигается вперед и что весь народ помогает ей, что всем нужно быть едиными, сплотиться для борьбы с внутренним и внешним врагом, Аллаяр, похоже, потерял терпение.

— Хы! — раздался его хриплый бас.

Садрислам умолк, посмотрел на дверь. И народ повернул головы. Но проем двери был пуст...

После этой паузы докладчик с особенной отчетливостью сказал, что враг силен и коварен, что он не только на фронте, но и здесь, в ауле, показывает зубы. Единым фронтом нужно навалиться на врага, беспощадно пресекать его вылазки.

Многие заранее уже знали, что после доклада будет очень интересная вещь под названием театр. Этой таинственной забавы и ждали.

В переднем углу висел уже занавес — тот самый, с крупными цветами, что растут лишь за Кафской горой. Его принесла Закия. Занавес закрывал сцену — для нее оставлена часть хике.

Вот занавес отдернули в сторону. В красном углу на подушках развалилась Ямиля, на ней праздничная одежда, учительница представляет жену бая.

— Эй, кто там! — кричит она властно. — Принесите поесть!

Ставший «работником» Мухаметгали выбегает на сцену. Садрислам уговорил-таки председателя выступить на сцене!

Зрители зашумели, засмеялись.

— Ба! Мугаллимэ-килен сделала своего мужа работником!

Смех все громче. Не дают открыть рот ни «байбисе» — жене бая, ни «работнику». Наконец Мухаметгали вспомнил, что он председатель аульного Совета.

— Ну-ка, прекратите шум!

Зрители принялись укорять непосед:

— Медведь, что ли, пляшет перед вами? Что смеетесь?

— Это же кэмит! В нем так и бывает: люди представляют не себя, а других.

Действие пошло дальше — по пьесе, которую сочинила Салима и подправил Садрислам. Появился «любимый егет». В зале опять засмеялись и зашикали на смеющихся. А за сценой тем временем раздался стук.

— Ай-ах! Бай-агай вернулся! — запричитал работник. «Любимый егет» исчез.

На сцену ввалился Тахаутдин — с подушкой под бешметом, с бородой и усами из козьей шкуры, в шапке с меховой оторочкой. Опустил перед женой тяжелый мешок, в нембрякнули железки.

— Вот, женушка... — обратился он к своей учительнице. Его слова покрыл дружный хохот зрителей. — Вот, женушка, — повторил бай, когда зал затих. — Здесь все наше золото и серебро. Куда бы спрятать? Красные приближаются...

Тут в сенях несколько раз выстрелили из ружья. Все вздрогнули — выстрелы были на-

стоящие. «Бай» поднял свою жену и, сунув мешок под перину, усадил ее на место:

— Сиди и не двигайся.

И сразу же, громко ступая, вошел «командир» — Садрислам и с ним два подростка, представляющие красноармейцев.

— Где золото, которое ты, контра, награбил у трудового народа? — крикнул «командир».

— Никакого золота нет... — залепетал напуганный «бай».

Но два «красноармейца» приказали встать своей Ямиле-апай и вытащили мешок. «Командир», обернувшись к народу, пояснил:

— Этот контра — бай — хотел было припрятать свое золото, которое нажил, высасывая у людей кровь. Теперь оно пойдет для помощи Красной Армии и голодающей трудовой бедноте. Бая арестуем, пойдет под суд!

— Шагай, шагай! — подтолкнули «бая» сзади. Тут у него из-под бешмета и вывалилась огромная подушка...

Пока народ смеялся, Мухаметгали вышел на сцену и из придурковатого работника стал вдруг разумным, сознательным человеком.

— Меня бай долго угнетали! — крикнул он. — Дабольна! Записываюсь в Красную Армию! — и, вытащив красный платок, высоко поднял его над головой.

Расходился народ не спеша, все громко обсуждали «кэмит». Очень понравился людям театр, о нем теперь будут говорить в ауле много-много дней.

— Хы! — выпучил Аллаяр глаза на вошедшую Салиму. Из домашних он один еще не

ложился спать. — Долго баловал я тебя, доченька. Теперь конец. Чтоб больше ноги твоей не было ни в кэмите, ни в других местах!

Как всегда, выплеснув гнев и отойдя немного, стал уговаривать:

— Дух твоего покойного отца велит не пускать тебя на дурную дорогу. Твоя мать так мне велела. Я тебе здесь вместо отца. Слушай: завтра пойдешь в свое медресе через забор. На улицу ни ногой. Кончатся занятия — той же дорогой домой. И от бабушки ни шагу!

Салима выслушала его, уставясь себе под ноги. Молча вышла, легла в своем углу. Самое лучшее — молчать. Если сказать ему «ладно», значит, потом придется обманывать дедушку-олатая. Ведь для нее теперь вся радость жизни — за стенами этого дома.



Часть третья

I

Юмагулов, оказывается, не зря намекнул, что Кулумбетов лишь временно поедет в Табынский кантон. В начале ноября Валиуллу вызвали в Стерлитамак. Его назначили на работу в школьный отдел только что организованного Наркомата просвещения.

Забот стало больше. Во многих местах, а особенно в далеких горных уголках, все еще не были открыты школы. По-прежнему не хватало учителей. Правда, поднатужились, открыли четырехмесячные учительские курсы. Послали людей учиться в Самарскую и Оренбургскую губернии.

Хуже было с учебниками, правительство задерживало с решением об их выпуске. Изве-

стный ученый Кулаев принес в наркомат рукопись первой азбуки, составил ее, приспособив арабский алфавит к башкирскому языку. Азбуку отпечатали на стеклографе, по одной книжке разослали в школы. Этот первый учебник, полученный башкирскими школами, мог стать лишь пособием для учителей.

С фронтов шли радостные вести. Красная Армия громила белых, двигалась вперед. Телеграф сообщал, что башкирские войска героически сражаются под Петроградом, получая в ходе боев революционную закалку. Но странно: Валиулла узнал, что Заки Валидов, оказывается, выступал против посылки башкирских войск под Петроград! Опять под предлогом того, что Башкирия — самостоятельное государство...

Заметно давало о себе знать отсутствие в Башкирской республике общепартийного центра. После того как были изгнаны колчаковцы, в Башкирии осталось очень мало партийных ячеек — они были, главным образом, при крупных заводах. Но они росли, одна за другой. Возникали ячейки и в волостях.

Летом этого года сторонники Валидова создали временное центральное бюро коммунистов Башкирии. И сразу же в нем укрепился дух национальной ограниченности. Ввели в бюро даже беспартийных, а председателем был избран Юмагулов. Конечно же Центральный Комитет партии не утвердил это бюро. А Юмагулов все-таки продолжал руководить партийными делами от имени этого бюро! Кулумбетов слышал, что некоторых членов партии ни с того ни с сего вдруг начали преследо-

вать. Все настороженнее посматривал Валиул-ла на председателя Башревкома...

Восьмого ноября 1919 года в Стерлитамаке собралась Первая Башкирская областная партийная конференция. Послали делегатом и Кулумбетова. В это время в Башкирии было пятьдесят ячеек — в них 700 коммунистов и 1370 человек сочувствующих партии. Но на конференцию от них приехало всего тридцать шесть делегатов с правом решающего голоса. Даже здесь, говорят, рука валидовцев что-то подтасовала. Очень хотелось им оставить в стороне от дела самые сильные — заводские ячейки.

Все же большинство делегатов конференции стояло на правильном коммунистическом пути. Валидовцам не удалось на конференции прибрать к рукам руководство партией.

II

Наступила зима — со злыми буранами, с трескучими морозами. Все реже стало слышаться «доп-доптор-доп» — все меньше попадало проса в ступы. Народ, было вошедший в тело за месяцы осеннего достатка, опять начал голодать. А впереди ведь длинная-предлинная зима. Она набрала в грудь большой запас холода — надолго хватит ей морозить все живое...

Файзулла частенько выходит в хлев пощупать вымя своей маленькой, с телку, коровы. Долго, долго еще ждать. Тяжело все-таки жить, когда со стола исчезает то, что белее всего на свете. Правда, можно утешиться:

у кого есть что ждать, тот дождется. А ведь в Утекэе многие и надежду потеряли хоть когда-нибудь увидеть это — самое белое — молоко.

Файзулла — председатель комбеда. Вот эта мирская забота о голодающих, которые так и смотрят на него — с надеждой и осуждением, — выматывает душу Файзуллы. Многие уже обивают пороги Аллаяра и Сафаргали, кланяются, сняв стеганные шапки. А у богатых хозяев плечи снова выпрямились, голоса стали зычнее. Неужели так будет и дальше?

Садрислам редко приезжает в аул. Обижаться на него нельзя — очень трудные дела на его плечах. А к Мухаметгали нечего и соваться: пожмет плечами, скажет, что ничего поделывать не может, и затягивает свою старую песню: «у нимеса вот так-то...» И семенит дальше.

Однажды ночью Садрислам сам постучался к Файзулле. Зажег хозяин свет и уставился на гостя: мол, что же будем делать дальше? А тот и рта не дал раскрыть, начал серьезный разговор:

— Агай, о чем ты хочешь сказать, уже вижу — по глазам. Да, понимаю, очень тяжело... Только духом падать не следует. Не лишай народ надежды. Есть хорошие вести.

При слабом свете подслеповатой картофельной свечки они уселись друг против друга. И вот что сказал Файзулле Садрислам...

Шестого октября Советское правительство постановило помочь башкирам, разоренным белыми. Под этим постановлением сам Ленин поставил подпись. Это дело называется «Башкиропомощь». Центральный Комитет партии послал в Башкирию закаленного революцио-

нера товарища Артема — организовать эту помощь. Башкирии выдают сто пятьдесят миллионов рублей. Вся Россия от чистого сердца решила помочь башкирам деньгами, хлебом, одеждой, лекарствами и строительными материалами. Чтобы поддержать голодающих, Россия пришлет Башкортостану двести тысяч пудов хлеба.

Файзулле показалось, что после темной ночи наступил в мире яркий светлый день. Вот ведь каким великодушным, заботливым правительством оказались Советы! Наш, народный хукумат! Не зря за них пролили кровь.

Помощь подоспеет очень скоро, сказал Садрислам. Велел немедленно взять на учет всех голодающих. Память у Файзуллы хорошая, каждое слово он так и впитывает. Надо будет все пересказать народу.

Имангулов умолк, собрал на лбу глубокие складки. Потом заговорил медленнее, строже:

— От правительства помощь будет. Только нам не годится лежать, надеясь лишь на это. Вся Башкирия — большое государство. В ней много таких мест, где народ перенес сильнее испытания, чем у нас. В нашей волости хоть и не в руках бедняков, но хлеб есть. Потом, ведь хлеб нужен и для армии, которая еще сражается с врагом. Так что мы будем раздавать тот хлеб, который отберем у баев. Понял? Это тоже будет «Башкиропомощь». В аулах будут серьезные схватки — уж это наверняка. Народ должен быть единым — только тогда все получится, как задумано.

Садрислам ушел. А Файзулла, до утра пролежав с открытыми глазами, обдумал все до конца. Мысленно взвесил хлеб, что лежит

в амбарах имущих людей, их необмолоченные скирды. Тут и понял: предстоит жестокая борьба.

Утром Файзулла собрал у себя в доме членов комбеда. Растолковал все, что говорил ему Садрислам. Ямиля прочитала комбедовцам листок, оставленный Садрисламом, — обращение комиссии «Башкиропомощь» к трудящимся Башкирии. Все согласились: надо будет разок потрясти богатых в Утекэе. Пусть каждый выведает заранее, где что у них лежит, а сам чтоб был начеку. Услышав такое, дружки Тахаутдина сразу повскакали с мест. Они-то хорошо помнили ту ночь, когда повесили Тахау. Знали, кто мог затеять это. Но Файзулла предупредил: горячиться не следует.

Мухаметгали помалкивал. Только слушал, низко опустив голову, все, что говорили.

Провожая своих гостей Файзулла напомнил:

— Все из этого разговора, что относится к нашему аулу, — тайна. Чесать языки где попало не надо.

Проводил и, сев на хике, налег локтями на свой самодельный стол, и тот сразу же поплыл в сторону. Задумался председатель комбеда и вдруг будто со стороны увидел того самого Файзуллу, что здесь сидит. Кто же это провел сейчас совещание? Не Файзулла ли, который не знает в грамоте ни «а», ни «б»? Каким смелым, однако, стал! Прямо как турэ-начальник, в чьих руках все житейские дела аула! А какую речь произнес — и про интересы государства не забыл!..

Файзулла улыбнулся, даже вскочил с хике.
— Довольно жить в страхе,— сказал вслух, сам того не заметив.

Только есть другая сторона — грамота... Нет, и эта сторона как будто налаживается!

Вот кто-то смело открывает покрытую в щелях льдом, потемневшую от сырости дверь. В дом ворвался плотный клубок пара и, словно боясь, как бы не поймали и не выпроводили обратно, быстренько покатился под хике. Бойко топая, вошла Салима — щеки как огонь.

— Здравствуйте!

— Эй-й, айда, проходи, мугаллимэ!

— Не говори так, бабай! Пока я и сама еще не все знаю.

— Ладно, ладно. Хорошее дело затеяла, кызым. Айда, проходи к столу.

Вслед за девушкой вошла и Муслима.

— Не ругаются твои-то? Часто ведь к нам уходишь...

— Нет, нет!..

Но улыбка все-таки сошла с лица Салимы. Ведь и в самом деле, она убежала от своего олатая Аллаяра тайком. Очень уж хотелось научить Файзуллу тому, чему сама научилась.

Тайком? Нет, это так кажется лишь Салиме. Ужели Аллаяр, сметливый, как сорока, и хитрый, как лиса, не знает об этом? Знает! Только виду не подает. Пусть ходит девчонка. Глупая, верит, что ей удастся вбить грамоту в башку этого голодранца Файзуллы, тупого, как булыжник! Да и сама-то что знает? Пусть играет в учительницу, вреда от этого нет. А польза, может статься, и получится. Мирские-то дела решают где? В доме Файзуллы. Можно будет узнать через Салиму, о чем тол-

куют, чем дышат. А главное — узнать, что диктует ей Файзулла, когда она пишет для него письмо. Шафик-то, кажется, ранен, в лазарете в Петербурге лежит. Получит письмо — заинтересуется: кто же писал? А когда вернется, может, и посмотреть захочет, что же это за красавица такая...

Вчера как раз Файзулла получил новое письмо от сына. Шафик пишет, что был ранен. Это случилось, когда ворвались в Ямбург, последний оплот Юденича. Теперь сын выздоравливает. Слава аллаху! В конце письма даже приписка есть: «Передавайте привет и мой рахмэт девушке по имени Салима за ее сердечные письма, которые она написала для вас».

Прочитав эти строки, Салима выросла до небес.

Да, смышленная Салима, подучившись сначала у Гюльюзюм, а потом в школе у Ямили, да еще посылая Шафику от имени Файзуллы одно письмо за другим, заметно продвинулась вперед, уже умеет нанизывать буквы и складывать из них нужные слова.

Своего Файзуллу-агая она учит примерно тому же, чему обучает ее Ямиля-апай. Только пожилому человеку туго даются знания. Его огрубевшие пальцы никак не могут нарисовать букву. Сколько мучений — словами не передать. Но все же помаленьку ученье продвигается. И Файзулла уже твердо знает: когда-нибудь однажды он станет грамотным человеком. Но такая таинственная штука эти закругляющиеся завитушки, буквы! Всего несколько букв узнал, и вот уже получают слова!

Как будто опять начал расти Файзулла! До сих пор под ростом человека он разумел то же самое, что бывает и у ржи: увеличение в длину и прибавление в днях. Оказывается, обогащение души — это еще более значительный и мудреный рост. Этот рост дает наслаждение всему существу — как будто в полутемном доме прорубили новенькое, большое, светлое окно.

А какая радость у Салимы! Когда Файзулла, пошептав, как бы попробовав на вкус несколько букв, вдруг правильно выводит на бумаге составленное из них слово, она готова пуститься в пляс!

На этот раз, перелистав принесенную с собой книгу, Салима уселась, подвинулась поближе к Файзулле.

— Сейчас будем учиться писать вот это слово.

Файзулла остановил ее:

— Кызым, если глаза твои разберут, не смогла бы ты сегодня вот это мне почитать? — и он положил перед нею на стол серую бумажку, что оставил Садрислам. Вечером придется объяснить обращение «Башкиропомощи» — надо еще разок прослушать. Ведь, наверно, опять речь говорить...

Мелкие буквы глубоко врезались в серую бумагу. Салима еле разбирала слова, читала медленно. Когда запинаясь, Файзулла, припомнив то, что читала Ямиля, подсказывал нужное слово.

— «Ко всем ра-зо-рен-ным башки-рам и другому бедному насе-лению Башкирии, — читала Салима, то задерживая дыхание, то громко захватывая ртом воздух. — Не падай ду-

хом, не унывай, не думай, что нет уже спасения. Прочти этот листок до конца, и ты увидишь, что есть еще спасение, что тебя не забыли... Не забудь, что нужно делать так, как здесь указано, и ты получишь хлеб, одежду и не умрешь от тифа...

Как живут бедные башкиры? Ужасна жизнь ваша теперь. Напрасно обращаетесь с молитвами к богу — жизнь останется такой же ужасной. Вас ограбили, все имущество увезли, угнали ваших лошадей, коров, сожгли ваши дома и хаты. Ваших отцов, мужей и сыновей забрали и увели, а многих убили. Вы теперь остались без жилищ, без одежды, без хлеба. Ваши дети умирают от голода и холода. Ваши жены не знают, чем прикрыть свою наготу... Вы сами не имеете платья... прикрываетесь рогожею...»

Салима читает, а голос ее становится все тоньше и тоньше — вот-вот оборвется... Губы дрожат. Почти после каждого слова вздыхает.

— «Вас заразили тяжелой болезнью — тифом, и многие, многие умирают...» — Голос Салимы дрожит, прерывается.

— У нас, оказывается, еще можно жить, — думает вслух Файзулла. — А в других местах вон что делается...

Нет, Садрислам правильно говорит, надо облегчить дело, пользоваться тем, что есть в своем ауле.

Он тоскливо посмотрел на девушку, которая так старательно читала ему слова, напечатанные на сером листке. Вот ведь — читает! А там говорится о «возможностях, имеющихся в деревне», — это значит, что хлеб придется отбирать у той семьи, где живет это дитя. Не-

ужели придется омрачить и детскую душу? Нет, на лице этого ребенка не видно и тени коварства. Не то что у Аптелгалимовых. Ее душа чиста, как непряденый шелк, как туго сложенный лист только что пробившегося из-под земли борщевника. Аптелгалимовы — те, конечно, завоюют. К тому хлебу, что у них в закромах и скирдах, приложен честный труд почти каждого из живущих в ауле. Здесь грабежа не будет — народ возьмет лишь свою долю. Но от Аптелгалимовых пощады не жди... На миг Файзулла почувствовал страх. Тут же он и поборол его. Словно для того, чтобы стряхнуть эту слабость, он порывисто поднялся.

— Пока хватит, кызым. Наверно, устала?

— А мне самой хочется читать. Страшно как написано...

— Ладно, остальную часть дослушаешь вечером. В школе.

— Тогда давай писать Шафик-агаю?

— Ну, кызым, если так хочешь, пиши. Только сама. Я пойду посмотрю за скотиной. И тебе ведь подходит время — ты же после обеда идешь в школу?

«Пиши сама...» До сих пор Салима писала только то, что ей диктовали. А в самом деле, почему бы ей не написать самой? Слов не найдет?..

В этот день Салима написала длинное-предлинное письмо Шафик-агаю. Это письмо она сразу же прочитала Касиму, вызвав его в хлев.

Через несколько дней Касим, войдя в дом, увидел, что она опять что-то пишет. Посмот-

рел через ее плечо на бумагу. Салима тут же закрыла письмо обеими руками.

— Письмо?

— Да...

— Хм... Мне почему не показываешь?

— Не хочу.

— Хм...

— Ты уж не обижайся, Касим, ладно? Оказывается, не все можно показывать...

А получилось все так потому, что с ее карандаша перешли на бумагу такие слова:

«Агай, ты знаешь, я часто вижу тебя во сне».

III

Быстро разлетелась по аулу добрая весть. Народ дружно собрался в помещении школы. К этому дому люди уже начали привыкать, здесь чувствуешь себя как будто смелее, свободнее.

Ямиля, как всегда повязанная шалью, читает:

— «Это не аллах наказал башкир за грехи. Нет, это сделал царский генерал Колчак. Колчак разорил башкирскую землю. Его банды и вся белая гвардия должны были удирать в Сибирь. Их гнала победоносная Красная Армия... Колчак из Сибири не вернулся и не вернется. Его взяли в плен и будут судить, как разбойника, а его армия разбита и банды рассеяны...»

Облегченно вздохнул плотно заполненный народом класс. На лицах появились улыбки.

— Файзулла-мырдам, ведь и мой малайка

воюет в тех краях, громит Колсака. О нем ничего не написано? — прошамкал тесно прижатый у стены старик Ниязгол.

Воззвание читала Ямиля, но старик спросил все-таки Файзуллу, который сидел у стола, немного смущенный тем, что весь аул смотрит на него. У двери кто-то засмеялся.

— Почему смеетесь? — обиделся Ниязгол. — Если бы у самих единственный сын был там же, в огне...

Файзулла поспешил успокоить его:

— Ты же слышал, Ниязгол-агай. Хоть имен и не называют, речь идет о наших с тобой сыновьях. самого главного ведь енарала взяли в плен...

Ниязгол торжествующе оглядел соседей. Лицо его ярко расцвело.

— Слыхали? Ка-ак его мой сын!..

Снова рассмеялись. На этот раз агай не рассердился, вместе со всеми захихикал, потряхивая козлиной бородкой.

— Как родился, уже был такой: коли схватит что, не отпустит. В его руках не больно подрыгает этот Колсак!

Ямиля дождалась, пока народ успокоится, и продолжала читать:

— «...Центральная советская власть — вожди рабочих и крестьян — коммунисты-большевики, узнав о великом бедствии бедных башкир, решили помочь им и спасти их от верной смерти... Коммунисты-большевики будут воспитывать, одевать и кормить ваших голодных детей в приютах, открывать бесплатные столовые для всех не имеющих своего хозяйства...

...Если ты пострадал от белых банд, если гражданская война разорила твое хозяйство, если твоя жена, дети больны и голы, если ты беден и болен, то не иди к богачу и помещику, ты ничего от него не получишь...»

— Однако получают... — пробормотал кто-то в задних рядах в темном углу.

— ...а иди к коммунистам-большевикам... Иди в твой сельский или волостной Совет, скажи, что ты беден и что тебе нужна помощь... Они тебя сразу поймут и помогут тебе».

— Держи карман шире!.. — тот же голос зло хихикнул.

Мухаметгали пришлось постучать по столу пальцем:

— Ямагат, братцы, выслушаем-ка до конца!

И Файзулла спокойно заметил:

— Сафаргали-туганым, ты что там, не можешь потерпеть? Словно шуба на тебе загорелась...

— Душа у него загорелась! Горит! — донеслись молодые голоса.

— Бойтся, меньше будут брать у него в долг!

— Молокососы! — зашипел подвыпивший Сафаргали. И сразу все зашумели. Одни успокаивали Сафаргали, другие урезонивали молодежь, третьи шикали на всех.

Ямиля, усилив голос, заканчивала:

— «...Бедные башкиры, жестоко разоренные белыми бандами, идите в «Башкиропомощь»! «Башкиропомощь» спасет вас и поможет вам, потому что «Башкиропомощь» защищает бедняка-башкира, потому что Советская власть дает все «Башкиропомощи», потому что

«Башкиропомощь» — есть коммунисты-большевики.

Центральное управление
«Башкиропомощи»,
гор. Стерлитамак, ул. Ашкадарская,
№ 56. 1920 г.»

Народ расходился по домам. Голоса спорящих отдавались в переулках аула. Чуть отстав, возвращался домой Файзулла. Шел в глубоком раздумье: похоже, что утренний разговор все-таки услышали и Аптелгалимовы. Надо поставить караул возле их необмолоченных скирд. Секретный караул. С завтрашнего же дня!..

IV

Пришла первая помощь! Чтобы кормить детей горячим, из кантона привезли муку и крупу. Раздали ситец на рубахи. Гюльюзюм опять принялась варить детские обеды. Варят в доме Файзуллы, вместе с Муслимой. Носят на коромыслах в школу — там раздают.

Появилась русская лекарь-марья по имени Сестра. Поверх пальто у нее надет белый халат, в руках — белая жестяная коробка. Всем стала раздавать лекарство: каждый день заставляет проглотить по ложке горькой-прегорькой жидкости. Потребовала, чтобы без остановки топили баню. А в школе, что ни перемена, принимается проверять у ребят головы, воротники и швы на штанах.

Секретарь волкома Алтынбаев сам приехал в аул и собрал мужчин.

— Есть разрешение напилить в лесу бре-

вен — сколько нужно. Только запрещено рубить самовольно, поодиночке. Артелью рубите, сколько надо. В первую очередь для постройки ашханы, затем для школы. А дальше — для всего остального. Чтобы к весне все было подготовлено. Снег сойдет — начнете строить. Лесорубам выдадим дополнительный паек...

Записывались в артель не очень охотно. Но все же артель набралась. И правда: если у тебя на голове мужская шапка, с каким лицом будешь лежать, дожидаясь, пока тебе все преподнесет «Башкиропомощь»! Повел артель в лес Файзулла.

Ну а как с главной помощью?

Алтынбаева вызывали в кантон. Вернулся он с суровым лицом и тут же созвал совещание.

— Сбор хлеба по подразверстке, товарищи, под угрозой срыва. Туго идет хлеб. Борьба будет не на шутку. На днях в волость прибывает продотряд.

После долгой, недоброй паузы сообщил самое тревожное:

— Хоть фронты и далеко, но и здесь неблагоприятно. Нехорошие вести доходят со стороны Уфы. Уже было несколько кулацких мятежей. Убивают коммунистов, советских руководителей. Здесь пока сравнительно спокойно. Но беспечность может нам дорого обойтись. Эта черная волна быстро докатится и до нас. Надо укрепить дружину, собрать из аулов надежных егетов. Подучить, чтоб оружие могли держать в руках.

Постановили: членам волкома ездить домой пореже, держаться вместе, в волостной канцелярии.

— А сейчас все разъедемся в прикрепленные аулы — отправлять хлеб государству. Будет тяжело, опасно. Но за оружие хвататься не спешите. В самом крайнем случае... когда по-настоящему возьмут в оборот...

Алтынбаев с Имангуловым выехали в аул Атзитяр. После снежного бурана стоял ясный день, сильно морозило. Сытый конь бежал легкой, мерной рысью. Железные полозья волкомовской кошевки протяжно пели в сухом снегу. Огромное красное солнце, затянутое туманным инеем, катилось по черным зубцам леса, как бы стремясь обогнать сани. Алтынбаев спрятал руки вместе с концом вожжей в плотно соединенных рукавах тулупа.

Из-за поднятых овчинных воротников видно, как придавленные инеем кусты стремительно бегут назад. Оба представителя молчат, каждый далеко ушел в себя, в свои думы. А думают об одном и том же. Сегодня они выехали на ответственное дело. Наложённая на аул довольно тяжелая хлебная разверстка должна быть выполнена, хлеб надо вывезти в срок и при этом на лицо советской власти не должно лечь пятно.

— Вся наша опора — комбед, — проговорил Алтынбаев, отогнув покрытый толстым слоем инея ворот тулупа. — В Атзитяре такая опора есть.

— Да, здесь егеты кажутся бойкими. Начнем с них.

Въехали в аул. Конь зарысил медленнее, как бы прикидывая, к каким воротам его повернут.

Председатель комбеда Валиахмет, который знал все и ждал их, вышел навстречу.

— Айда, ко мне поворачивайте. У килен вашей и чай уже готов.

— Нет, сегодня не повернем. Твой чай попьем в другой приезд, — Алтынбаев остановил лошадь. — Мы не замерзли. А под вечер может стать, что и попотеет. Собирай-ка своих ребят в дом Совета. — Он чуть понизил голос. — Вообще-то лишнего шуму не надо. Чтоб не бросилось в глаза, подходите по одному.

Члены комбеда быстро собрались. Что это люди смелые, было видно по быстрым взглядам, по свободным движениям. Все больше молодые егеты.

Решили сегодня же к вечеру созвать народ на собрание.

— Ни один хозяин чтоб не остался в стороне, — предупредил Алтынбаев председателя Совета. — Знаете, наверно, сколько полагается с вашего аула?

Егеты дружно ответили:

— Знаем! Список есть!

— Наверно, знаете, у кого, сколько и где припрятано?

— Вроде знаем... — ответ был не очень дружным.

Да, комбед здесь работал неплохо. Все-таки оказалось, что ребята знали все. Даже готовы были сейчас же показать, у кого и где спрятано зерно.

— Покажете, когда надо будет, — сказал Алтынбаев. — А сейчас расходитесь. Чаю попьете и приходите на собрание. Только вместе всем комбедом не садитесь! Братъ слово не

спешите. Когда другие говорят, не перебивайте. Остальное — наше дело.

Один из егетов вспыхнул:

— Вы что — думаете, мы трусы?

— Нет, нет, пусть ветер сдует с твоего рта такие слова! — Алтынбаев от души рассмеялся. — Сразу видно, смелый вы народ. Только батырам как раз и надо быть осторожными. А то ведь батыры очень быстро переведутся и останутся одни трусы.

Разошлись.

— А теперь, — Алтынбаев весело хлопнул здоровой рукой по тощей спине Садрислама, — теперь можно пойти к моей старушке теще, поесть зятевых блинов.

Имангулов вспомнил: ведь Алтынбаев приходится зятем аулу Атзитяр. Не помешает ли это делу? Почему вдруг он приехал именно в этот аул? Можно было послать другого...

...Большое здание Совета переполнено народом. Духота. Люди рукавами вытирают потные лица. От распаренных шуб в помещении стоит крепкий запах сырой овчины. Не хватает воздуха, пламя в двух лампах коптит, недовольно подрагивает. И у некоторых людей на лицах как бы осела темная гарь недовольства. Алтынбаев и Садрислам невольно высматривают в зале таких, стараются прочесть по глазам, какой огонь горит в душах. Большинство недовольных — в шубах, это от них тянет в зале сырой овчиной. У тех, кто одет в армяки, в домотканые чекмени, на лицах как будто застыло безразличие. Не ерзают, как те, что в шубах, сидят приуныв, заметно скучают.

Алтынбаев, сунув пальцы под ремень, расправил складки гимнастерки. Заговорил приветливо:

— Ямагат! Братья! Отцы и деды!

Тут же какой-то шутник бросил:

— Добавь уж: шурины, сваты и кайнага!

Рассмеялись. И с лица Алтынбаева исчезла официальность.

— Верно подметили! Шурины, сваты и кайнага... Только зятю с шуринами и сватами полагается говорить в другой обстановке, за чашкой чая или чего-нибудь покрепче, что мы, конечно, и провернем в надлежащее время. А сегодня я приехал к вам не как зять. И Имангулов-азамат, который сидит рядом со мной, тоже не свадебный дружок. Может, помните — мы выбраны вашими делегатами, людьми, которым вы оказали доверие. Выбраны в волость и представляем здесь советскую власть.

— Это так... Да, верно, — слышались голоса.

Алтынбаев рассказал о внутреннем и международном положении страны, о победах Красной Армии на фронтах гражданской войны. После этого секретарь волкома перешел к основному вопросу:

— Победоносной Красной Армии нужен хлеб...

Народ, уже знавший, о чем пойдет речь, загудел и сразу затих.

— Нашим сыновьям, которые сражаются против врага, беспощадно бьют его и проливают свою кровь, нужен хлеб. Не чужим даем, а своим, членам наших семей. И для рабочих-пролетариев хлеб нужен. Они стараются

улучшить жизнь хлебороба, выпускают машины, плуги, бороны, сеялки и весной пришлют их вам. Государство просит от нас хлеба, братцы...

— Пстой-ка, зять, — в середине зала вскочил на ноги плотный мужик в белой шубе нараспашку, заслонив этой шубой соседей. — Хукумат, что ли, посеял этот хлеб? Когда я сеял, ухаживал за посевами, лил пот над этим хлебом, что-то не помню, чтобы правительство-хукумат приходил помогать.

— Не горячись, Хабрахман, дослушай! — несколько рук потащили его за полы, усадили на место.

Алтынбаев неторопливо пригладил жидкие волосы, спокойно ждал, пока все успокоится.

— Да, — сказал сдержанно. — Советское государство во время сева нынешней весной не смогло нам помочь. Почему — вы сами знаете. Скрывать нечего, Советское государство само висело на волоске. К тому же на наших землях хозяйничали белые...

— Верно, верно...

— Сами знаем, чего уж говорить...

Настроение Алтынбаева поднялось. Эти голоса из зала прибавили ему смелости.

— Братцы, ужели у вас такая короткая память! Вон же под армяками у многих я вижу новые рубашки! Не государство ли бесплатно прислало нам этот материал?

— Конечно! А кто же! Наши дети каждый день бесплатно кормятся в ысталавай! — слышались довольные женские голоса из дальнего темного угла. Там маячило несколько пестрых платков.

Низкий бас Хабрахмана опять перекрыл все голоса:

— Хукумат не дал мне ни семян, ни рубашки. Мои дети в ысталавай не кормятся.

— Правду говоришь, — отчетливо сказал один из комбедовских егетов. — Твоим не положено.

— Мне ничего не нужно брать от хукумата, и ничего я хукумату не должен.

— Должен, должен, — спокойно сказал комбедовский егет. — Ты вырастил хлеб на земле, которую тебе вернуло государство, отбило у белых.

Председатель аульного Совета поднялся, костяшкой кулака застучал по столу. Но те, на ком были шубы, не умолкали:

— Нет хлеба! Съели все!..

— Ничего не осталось. Скоро рот повесим в сенях на крючок!

Алтынбаев помолчал, дал им волю, чтоб высказались, и произнес с легким нажимом:

— Хлеб у вас есть! И даже много. Его надо сдать. И он будет сдан. Нам известно все: у кого есть хлеб, сколько и даже где хранится. Вот Гаитбаев-агай, или, как вы говорите, кайнага, — он повернулся к бывшему волостному старшине. — У тебя есть хлеб. Сказать сколько? И Хабрахман-кордаш тоже горит от нетерпения, хочет узнать, сколько у него хлеба. В несколько раз больше, чем нужно твоей семье! Государство оставит вам сколько необходимо, а излишек сдадите, за деньги, конечно. Цена будет, правда, пониже. Но советская власть терпит нужду — потому и вам придется пойти на жертвы.

— **Хлеба нет!** Идите, обыскивайте!..

Поднялся Имангулов:

— И на это у нас есть право. Только вам же будет неудобно. Лучше по своей воле отвезите. Зачем срамиться...

— Лишнего хлеба у меня нет, — бывший волостной Гаитбаев прижал ладонь к груди. — Вот, соседи знают.

— Правда есть — общите! — крикнул Хабрахман.

— Тут и спорить нечего. Может, сами забыли. Сейчас мы скажем вам, где ваш хлеб и сколько его там. Гражданин Гаитбаев, кроме того, что лежит у вас в закромах, в нижней, второй половине подпола амбара у вас есть еще сто пудов пшеницы и около пятидесяти пудов ржи. Еще у вас припрятаны овес, просо и греча...

На этот раз народ взорвался, как пчелиный рой. Отдельных голосов уже нельзя было слышать. Алтынбаев и Садрислам наблюдали за Гаитбаевым. Бывший старшина совсем сник, словно обухом по голове получил. Лицо залила багровая краска. Не стыда краска — ненависти. Она готова была брызнуть и обжечь. Не зная, как себя вести, он пожимал плечами, оглядывался, протягивал руки к соседям.

— Все еще уверять будешь, что нет? — сказал Алтынбаев. — Коли на то пошло, давай поспорим. Сейчас же и проверим. Если я буду неправ, тут же на месте меня и убьешь. Расписку тебе дам, что невиновен в моей смерти.

Мурашки пробежали по телу Садрислама. Не переборщил ли Алтынбаев? Рискованно действует, бедой может обернуться этот спор...

Взглянул на секретаря волкома, который стоял рядом с ним. У Алтынбаева на лице — стальное спокойствие. Отступить нельзя! Стараясь унять дрожь в руках, Имангулов встал рядом с Алтынбаевым, взял у него из рук список. Сам не поверил спокойной твердости своего голоса:

— А вот хлеб Хабрахмана... Сколько, куда спрятан. Сказать?

— Зачем! Свое я сам знаю! — завопил тот. — Не надо! — Его прежний гортанный бас куда-то пропал.

Алтынбаев поблагодарил товарища мимолетным взглядом и взял у него бумагу.

— Список длинный. Вот видите какой! Читать?

С разных мест закричали наперебой:

— Нет, нет!

— Не к чему!

— Не к чему!

К этим крикам присоединился чей-то слезливый голос:

— Оказывается, грабить приехал зятек! Родня, называется.

— Никакого грабежа здесь нет. Если завтра сами выкопаете хлеб и снарядите подводы, все останется между нами. Позорить вас не будем.

Тут председатель аульного Совета, отойдя к двери, поманил к себе пальцем нескольких мужиков — из тех, что в шубах. Наклоняясь то к одному, то к другому, трясая головой, поговорил с ними, потом прошел к столу, зашептал в уши обоим представителям. Алтынбаев тут же громко объявил:

— Тут поступило от нескольких граждан предложение: представителям волости, то есть мне с товарищем Имангуловым, выйти и покурить. Выходит, вы хотите посоветоваться без нас. Мы согласны.

— Правильно!

— Так и сделаем!

Алтынбаев дернул Имангулова за рукав. Захватив свои шинели, они вышли на крыльцо. Оказывается, оба сильно вспотели, холод сразу же схватил их в свои тиски.

С полчаса топтались на крыльце. Шум за дверью становился все громче. Доносились резкие выкрики, но разобрать слова было невозможно. Из-за полуоткрытой двери, как дым при пожаре, валил клубами пар.

— Похоже, не скоро нас позовут, — заметил Алтынбаев. — А здесь стоять тоже не к лицу. Как шпики подслушиваем. Давай лучше пройдемся...

Медленно зашагали по улице. Садрислам громко притопывал — мороз уже прихватывал ноги. Беспечная луна залила белым холодным светом аул, наполовину ушедший в сугробы.

«Эх, в такое времечко да пройтись бы с песней! — думал Садрислам. Что-то напомнила ему эта улица. — Пройтись бы да постучаться в такой вот теплый дом с темными окнами: «Кто тут?» А темнота ответит: «Я, Гюльюзюм...»

Когда окончательно промерзли и стало невмоготу, наконец-то их позвали.

Галдеж в доме почти стих. Когда Алтынбаев и Садрислам вошли, погасли и остатки шума. Только по углам все еще шептались.

Председатель аульного Совета постучал по столу и повернулся к представителям:

— Мы тут поговорили немного и кое-что решили. Только у народа к вам просьба. Нельзя ли чуть уменьшить поставку? Народ говорит, не наберем столько хлеба...

— Нет. Если бы мне это было нужно — ни одного фунта у вас не взял бы, — сказал Алтынбаев. — Это — государственное задание. Такие дела решает только государство. У нас нет права уменьшить задание ни на один пуд.

Тон Алтынбаева не допускал дальнейших обсуждений, но лицо его было торжественно-приветливым.

— Столько набрать не сможем.

— Откуда взять столько?

Алтынбаев потянулся за списком. Председатель аулсовета вежливо прикрыл ладонью лист.

— Торговаться не будем, братцы! — сам обратился к народу. — Будем считать, что все решено. Завтра же рано утром чтоб подводы были готовы. Сколько кому положено, каждый знает. И еще народ просит представителей: от кого сколько взяли — не спрашивайте. Это будет тайна аула.

Последнее слово говорил Алтынбаев:

— У нас не осталось никакого сомнения, нам ясно: вы — на стороне советской власти. Понимаете государственную нужду. Верим, что и всегда вы будете такими же — дружными, хорошими людьми. Только это я и хотел вам сказать...

Облегченно переведя дух, два товарища вышли на улицу. Уже горланили первые петухи...

Теща Алтынбаева ждала их, раскалила железную печку докрасна. Легонько перекусив тем, что было на столе, долго пили крепко заваренный чай. Одолевала усталость, говорить не хотелось.

Вышли покурить. Прислушались. Привычной предрассветной тишины нет. Аул будто дышит беспокойно, вздрагивает. Будто спит и бредит...

Нет, Атзитяр сегодня не ложился спать. Скрипят промерзшие ворота. То тут, тот там кричат, переругиваются. В том конце аула глухо постанывает под ударами лома замороженная земля.

Вернувшись в дом, улеглись на одном из тулупов. Вторым накрылись. Долго лежали молча — сон не брал.

— Как думаешь, не допустили мы ошибку? — первым нарушил тишину Имангулов. — Ведь в ауле не один человек. Небось многие из богатых сохранили свой хлеб, прикрылись аулом. А среди них наверняка есть и злостные враги советской власти...

— Да, ошибка здесь есть. Во время собрания мы все-таки ослабили классовую бдительность. А председатель аулсовета каков! И не обвинишь! Как хитро сумели показать, что весь аул заодно! Как будто совсем нет у них борьбы классов!

— Если бы подойти по-другому... — начал было Садрислам и умолк, задумался.

— Нет, — лежавший на спине Алтынбаев быстро повернулся к нему. — Лучше прикинуться, будто мы не заметили ничего. Ведь основная задача — взять хлеб. А в дальнейшем постараемся быть бдительными. Пусть пока

думают, что напустили нам туману. А кроме того, как и люди, каждый аул имеет свой нрав. Подход, который мы применили тут, в других аулах повторять нельзя...

Спали они крепко, проснулись поздновато. Из дома решили не выходить, не жечь людям глаза. Но ни тот, ни другой не могли оторваться от окна. Беспокоились. На улицах аула — никакого движения.

Но вот отлегло от души. Вдали показались сани, тяжело нагруженные тугими мешками. Еще одни... Наверно, все ждали, чтобы кто-нибудь выехал первым: по дороге уже тянулся целый обоз.

Два уполномоченных долго еще стояли у окна. И после того, как из аула выехала последняя подвода, они простояли еще добрый час — ведь сытая волкомовская лошадь легко могла догнать обоз. Лишь после этого Садрислам вышел запрягать.

Делились результатами наблюдений. Подсчитывали. Выходило, что нужное количество хлеба полностью вывезено.

В дороге Имангулов вдруг решительно сказал:

— В Дуровку поеду один!

Алтынбаев удивленно посмотрел на него:

— Ай-хай, деревня очень опасная! Потом... могут вспомнить про Федьку.

— Знаю. Все равно мне не будет страшно. У меня есть слова, которые я должен им сказать, один без свидетелей...

Дуровка...

Высокие дома, срубленные из толстых бревен. Почти каждый — под железной или тесовой крышей. Крепкие, как щит, ворота заперты. Что делается за высокими заборами, с улицы не видно. Только слышен разногласный собачий гам. В этой небольшой деревне, уютно, как под шатром, расположившейся под высокими осокорями, всего лишь тридцать дворов. И почти все занесены в списки кулаков. Дуровку населяют сплошь дети и внуки богатого мужика Дурова, который выбрался когда-то сюда на хутор из соседней деревни Адвокатовки. Ни одной семье, принадлежащей другому роду, дуровские не дают здесь селиться. Вся голытьба из ближайших русских деревень, бедняки башкиры и татары издавна гнут спины на дуровских.

Недавно здесь побывал продотряд. Заварили: «Ладно, отвезем». Но хоть бы одна подвода выехала из деревни.

Садрислама, влетевшего сюда на кошевке, деревня встретила, словно разинутая пасть. Вдохнула, потянула в себя — и проглотила. Сколько бы ни озирался игрневый конь вол-исполкома, ни один двор не распахнул гостеприимно ворота. Дом сельского Совета был пуст и холоден. Сразу видно — заходили в этот дом не часто. Чувство одиночества и тревоги усилилось.

«Не слишком ли рискованно это — вот так, в одиночку, явиться к ним?» Садрислам гонит от себя страх, старается сохранить твердый спокойный вид. Нет, тут прикидываться

дипломатом, как советует Алтынбаев, незачем. Не поможет. Пусть узнают, что пролетарская власть — это бесстрашные люди, которых не запугать! Разговаривать только твердо. Вопрос ставить ребром. У Имангулова есть право так разговаривать с Дуровкой. Пусть все они увидят, что к ним приехал красный комиссар, который знает, что они не простили ему Федыку, и ради пролетарской власти готов на любой исход.

Пришел председатель — крепкий бородастый мужик. Узкими глазами хитро глядит из-под нависших бровей. То и дело рыгает от сытости. Как человек, знающий себе цену, уверенно прошел в дом, представителю волости лишь кивнул холодно. Сразу видно — опору чувствует за спиной.

— Что скажете? — спросил коротко.

У Садрислама закипело все внутри. «Как разговаривает с представителем волости!» Но взял себя в руки, смолчал.

— Сначала разреши мне задать вопрос, Никодим Ксенофонтыч. Где обещанный вами хлеб?

— У общества надо спросить, — зевнув, ответил мужик.

— Правильно говоришь. Раз один ты не можешь ответить, я и приехал, чтоб спросить у вас у всех.

— Мое дело сполнять приказ. Приказывай, начальник, — он будто с досадой посмотрел в сторону. Плохо скрытая усмешка шевельнула рыжую бороду.

— Поскольку вы обманули продотряд, разговор с вами будет серьезный. Собирайтесь сейчас же. Без промедления.

Разглядев всю повадку председателя, Имангулов еще больше распалился, остатки тревоги покинули его. Теперь он чувствовал себя борцом, вышедшим на площадь, уверенным в своих силах.

— Так уж и сейчас! И вечера не будем дожидать? — председатель озорно улыбнулся.

— Не будем. Нечего нам сидеть в потемках, прятать друг от друга глаза. Мои слова такие, что их говорят, глядя прямо в лицо.

Ни слова не сказав, председатель степенно вышел из дома.

Прошло почти два часа. В деревне не было заметно никакого движения. Садрислам чувствовал: испытывают. Но вот заскрипели ворота-щиты — почти сразу по всей деревне. Открылись калитки, пропуская на улицу степенных мужиков. За четверть часа из тридцати хозяйств в дом сельского Совета собралось около пятидесяти мужчин. Их широкие лица, прищуренные глаза, шубы со сборами, с меховыми оторочками — все это дышало достатком, независимостью.

Никто не шумит. Солидная, зловещая тишина. Две силы замерли — одна против другой. За столом одинокая худощавая фигура — Садрислам. Против него ряды здоровенных мужиков в шубах. Сидят, поскрипывают дубовыми лавками. Сто глаз буравят худенького представителя из волости.

Сказать «товарищи» у него не повернулся язык.

— Хозяева! — начал неторопливо. — Выбранное вами волостное управление послало меня сюда и вот что поручило сказать. Волость удивлена вашим поведением. К вам при-

был продотряд и разговаривал с вами по-хорошему. Видно, в Дуровке не привыкли к мягкому разговору, так, что ли? Вы отослали продотряд, обманули его. Положенного государству хлеба не вышло из деревни и фунта. Как должна понимать это советская власть?

— Заткнись, убивец! Мы т-тебя!.. — зашипел кто-то в заднем ряду.

Садрислам знал, — эти слова будут сказаны. Но не думал, что это произойдет так вот, сразу. Горячая кровь бросилась ему в голову. Нет, нельзя ему здесь краснеть!

Словно бы донесся откуда-то далекий гул и стал расти среди сидящих перед Садрисламом, медленно перерастая в яростный рев. Нужно сейчас же остановить, охладить их...

— Да, что мне скрывать, сына Кирилла Петровича застрелил я, — проговорил Садрислам твердо. — Только сами подумайте. Кто был врагом советской власти — я или он? Я за ним гнался или он за мной? Если бы я не выстрелил, если бы он меня догнал — как думаете, предложил бы закурить? Если бы Федька меня убил, а сам остался в живых, он многих еще отправил бы на тот свет. И из вас некоторые тоже не сидели бы здесь.

Хоть этот разговор начал не отец Федьки, Садрислам повернулся к нему:

— Впрочем, Кирилл Петрович, я уже говорил тебе об этом. Ты сказал, будто понял...

— Э-эх, Галиакберкин сынок! Понять-то я понял... Сын... Это же единственный сын мой! Пусть враг советской власти — мне-то он не враг! — старик Кирилл заплакал.

Грозный гул разбился на части, опал. Соседи стали утешать Кирилла Петровича:

— Будь же мужиком, Кирилл!

— Недолго протянет, — зло бросил кто-то в зале. — И ему скоро свернут шею.

Садрислам нашел в себе силы, прикинулся, будто не расслышал этих слов. Да, напряженность в зале росла, сжималась тугой пружиной. Эта пружина, сжатая до упора, вот-вот могла ударить в Садрислама. Надо быть твердым до конца!

Изо всей силы стараясь, чтобы голос звучал ровно и твердо, Имангулов продолжал:

— Хозяева! Не будем уводить разговор в сторону. Неужели вы думали, что, обманув продотряд, увильнете и не заплатите свой долг государству? Не выйдет! Если хотите оставаться гражданами этой страны, если хотите жить на этой земле, за которую Советское государство насмерть стояло против Колчака, завтра... да, да, завтра же долг, который так и висит на вас, должен быть в государственных закромах.

Рты, обросшие бородами, не видны. Однако знакомый зловещий рев опять стал нарастать.

Сзади поднялся молодой мужик, с волосами, картинно обрезанными под горшок.

— Что мы слушаем его? Это же Галиакберкин малайка! У тебя что — хлеб здесь есть, который ты сеял?

— Ишь как петушится тут! — поднялся еще один. — Будто свое пришел забирать!

Садрислам уже не мог сдерживаться. Скорее, одним махом надо выложить все, что кипит в душе!

— Да, угадал. Я — Галиакберкин малайка! Да, приехал забрать свое! За кусок чер-

ного хлеба и полчашки квасу я с малых лет гнул спину у твоего отца, Софрон! Может, не гнул? И у твоего брата, Емельян! А когда приходил просить плату — за свою же работу! — ты гнал меня, науськивал собак! Не забыл? Так что видите, имею право требовать! Есть ли хоть один вершок земли на ваших полях, где не остались следы моих босых ног? Следы ног моего отца, брата, сестер? Моих соседей! Мужиков из аула Атзитяр! А мужиков из Липовки, из Адвокатовки до сих пор еще держите в батраках. И сейчас ходят, убирают изпод вашей скотины. Правду вы говорите, я приехал взять свое — долю всех ваших батраков. Только не для себя. Для государства, перед которым вы все — должники...

— Довольно! Взять его! — по-бабьи завизжал Софрон.

Садрислам шагнул вперед, расстегнул ворот гимнастерки. Страх не было.

— Софрон! Зачем других просишь? Сам подходи и бери! Вот я тут один. И оружия не взял — нарочно. Потому что никого из вас я не боюсь, ни-ко-го! Вы можете, конечно, убить меня. Но вы же не дураки. Потому и не убьете. Ведь если порешите меня сегодня, завтра утром двадцати... нет, тридцати голов ваших недосчитаетесь.

Гул слегка утих. Софрона усадили на место. Да, они хорошо знают: слова Галиакберкина малайки обернутся правдой. Иначе давно уже вцепились бы в глотку. Нет, такого они себе не позволят.

Имангулов решил довести дело до конца на таком же уровне.

— Сход у вас уже был. Я приехал сюда не собрание проводить. Больше уговаривать не будем. Уезжаю и даже не обернусь назад. Пожалуйста, для желающих готова живая мишень. И запомните: больше не приеду. Если завтра ваш председатель Никодим Ксенофонович не явится в волость и не доложит, что хлеб поступил на пункт, послезавтра встречайте вооруженный отряд.

И, не глядя на мужиков, двинулся, захромал к выходу. Когда затягивал чересседельник на лошади, которую так и не распрягал, руки его дрожали. А пальцы, оказывается, целый час были сжаты в кулак и не хотели теперь разжиматься...

Быстро темнело. Луна еще не вышла. Пока кошевка не выехала за деревню, Садрислам действительно ни разу не обернулся назад. Лишь спиной с отвращением чувствовал множество будто волчьих глаз, остро следивших за ним.

Тихая, темная ночь. Тишина такая, что закладывает уши. Ни звука кругом. Но Садрислам чувствует: кто-то увязался за ним. Даже будто поскрипывают полозья вторых саней. Он останавливает свою лошадь, оборачивается назад. Прислушивается. Ни звука. Ни единой тени. Может, все это от страха? Наверно, так и есть. Садрислам подгоняет, торопит свою лошадь. Нет — то ли страх не проходит, то ли это правда: кто-то гонится за ним, даже приблизился.

Вот как будто бы даже показалась сзади неясная тень. Садрислам резко остановил лошадь. Тень тоже остановилась.

— Кто это? — крикнул Садрислам. Голос показался слабым, его проглотила зимняя притихшая степь. Тень не ответила.

Он щелкнул вожжами, лошадь полетела, убыстряя бег. Обернулся. Что за чертовщина? Преследующая тень стала ближе.

— А, черт с ним! — Садрислам погнал лошадь. Когда показались огороды аула Утекэй, тень, неотступно следовавшая за ним, оказалась почти рядом, за спиной. Осадив коня, Садрислам набросил вожжи на огородный столб и, крепко сжав кнут, потрясая ночь всеми ругательствами, которые знал, побежал навстречу тени. И тень двинулась навстречу. Это была запряженная в сани лошадь. Остановилась, чуть не сбив его оглоблей.

— Кто это?

— Не кричи. Это мы...

Знакомые голоса. Сойдя с саней, двое дошли. Ба, да это же егеты из волостной дружины!

— Вы что тут... Людей пугаете!..

Перебивая друг друга, оба заговорили виновато:

— Нас Алтынбаев-агай послал. Охраняем тебя.

— Ты же в какую деревню поехал один!..

— Когда мужики заорали, стали подниматься, мы еле удержались — уже хотели прыгать в окно с наганами.

— Нашли занятие... — Садрислам заулыбался. — На кой хрен вы там были нужны!

— На кой хрен, говоришь? Вот на кой: Софрон с Емелькой прихватили топоры, хотели было огородами тебе навстречу выйти. Нас заметили, поджали хвосты...

На следующий день под вечер председатель сельсовета Дуровки приехал в волость. Не поднимая нависших бровей, доложил, что весь хлеб, который полагалось сдать, отвезен на ссыпку. Он тут же хотел и уйти, но Алтынбаев остановил его, стал расспрашивать о деревенских делах. Хотел вызвать председателя на откровенный разговор. Но в ответ тот лишь что-то невнятно мычал с обиженно-горделивым видом. Из слов, которые будто застревали в его бороде, можно было разобрать лишь одно: «Хлеб-то взяли? Что же еще вам нужно? Что вам до наших дел?» Как приехал хмурый, таким же и уехал.

— Что, расстроился? Да плюнь ты на этого подкулачника! — махнул рукой Имангулов.

Алтынбаев остановился против него, долго смотрел в лицо. Покачал головой:

— Вижу, брат, что ты в Дуровке допустил еще бóльшую политическую ошибку, чем в Атзитяре. Хлеб взят — по-твоему, этого достаточно?

— А что? Может, в ноги поклониться этим контрам?

— Дело в том, что контры там не все. А вот если будем вести дела по-твоему, можем всех сделать контрой. Ты ведь их только обозлил против советской власти. Хлеб-то взяли, а дело понесло урон. Души человеческие поважнее хлеба! Особенно сейчас, когда вся власть в наших руках.

— В таком волчьем логове, как Дуровка, человеческую душу не сыщешь. Я каждого там знаю, знаю, чем они дышат. Всей этой деревне место на свалке истории.

— В общем, если и дальше будешь так ломать дрова, себе же шею сломаешь. А делу партии двойной вред будет. Смотри, парень.

VI

Касим сбрасывал из-под крыши сеновала сено для скотины. Подозвал Салиму. Девушка стремительно подбежала:

— Что тебе, Касим?

Касим проворно, как и полагается егету, прыгнул вниз, схватил Салиму за плечи. Но та еще ловчее вывернулась, отбежала.

— Эй, так не годится! Пока ходил в компании с Тахау, ишь каким смелым стал!

— Салима... — хрипло произнес Касим. — Салима...

— Ну, ну, говори! Все «Салима» да «Салима»!

— Салима...

— Опять! Как сорока заладил.

— Я... Я скучаю по тебе, — Касим густо покраснел.

Девушка рассмеялась.

— Ишь, выдумал! Разве можно скучать по человеку, когда видишь его на дню пять раз?

— Я все равно... — Касим опустил глаза.

— Не говори глупостей, вот тебе! — И Салима надвинула шапку Касиму до самых глаз.

— Салима... А тебе не приходилось ни по ком скучать? Вот... как я, — голос дрогнул.

— Ты сегодня какой-то... Может, семян белены попробовал? Можно ли скучать по человеку, с которым в одном доме живешь? Вон

Гюльюзюм-енге по Латип-агаю — нисколько не скучает, хи-хи!.. Вообще-то она скучает... — Салима перешла на шепот. — Ах и скучает же она по одному человеку! Боюсь, иссохнет вся. Только не говорит, по ком. Я-то догадалась... Никому не скажешь, а, Касим?

— А ты, ты скучаешь? — Касим, похоже, ничего не слышал. Уставился с мольбой на Салиму.

— Я-то? Скучаю по маме. О-очень скучаю. Беит ей послала письмом. Если б ты только знал... — Она отвернулась и вытерла слезы. Тут же и успокоилась. — Сказать тебе еще, Касим? Ты только не смейся — мы же друзья с тобой... Почему-то я скучаю все время по Шафигулле-агаю...

Касим как стоял, так и замер. А Салима и не заметила этого, отдавшись своему непонятному чувству, продолжала говорить:

— Уж я и не знаю, как это получилось. Как начала писать ему письма... Только ты ничего такого не подумай, Касим. Это я не по своей воле. Скучаю, да и только. — Она сама взяла Касима за плечо. — Знаешь, Касим, в ту ночь, когда чуть не убили Ямилю-апай, я же видела одного человека во сне. Помнишь, рассказывала про долгожданного гостя. Это же был он, Шафик-агай. Ты что раскис, Касим? Обиделся?

Егет не откликнулся. Да, для него уже настала та пора, когда от юноши улетает ночной сон. Хоть и видит Салиму на дню пять раз, а все равно не выходит она из головы. И жизнь стала — как в горячке: то радость, то тоска. То будто летит в ветре несказанной радости, вот-вот раскроются крылья за спиной.

А как услышит слова «Шафик-агай» — волосы шевелятся на макушке.

В последнее время, когда Салима стала прятать от Касима письма к Шафигулле, в душе егета вдруг начало расти что-то похожее на враждебность. Он теперь ненавидел этого агая, которого где-то очень далеко лечили от тяжелой раны. Ненавидел, хоть агай и был красноармейцем...

Постояли, помолчали... Потом Касим без надежды проговорил чуть слышно:

— Сегодня Хасан-агай с енге уехал в гости... Мы собираемся там. А вы где?

И быстро взглянул в глаза Салимы, которые почему-то погрузнели.

— Я никуда не пойду, Касим... Никуда не хочется мне теперь идти... Письмо буду вечером писать.

Касим опять опустил глаза, стал шаркать носком своего лаптя по мерзлой земле.

— Каси-им, — в голосе Салимы послышались и ласка и жалость, — ты не сердись... Мы все равно будем с тобой дружить. Я тебе еще один платочек вышью. А потом еще... Ладно?

Касим молчал. Салима взглянула в сторону ворот.

— Бэй! Кто это подъехал к нам? Пойду-ка скорее в дом...

Когда незнакомая лошадь, запряженная в красивую кошевку, повернула к ним, Аллаяр так и застыл у окна. Он тут же узнал женщину, что сидела, привалясь к парчовой подушке, возле мужчины, правившего лошадей. Брови бая нахмурились. Резковато бросил своей Гюльсагуре:

— Вон, гости долгожданные приехали! Суюнсе! Подарочек с тебя!

А сам, тяжело ступая от злости, вышел. Громко хлопнула дверь. И сразу же взвился на крыльце его притворно радостный голос:

— Айдате, дальние гости, айдате! — Он крепко пожал руку мужчины, приветливо обернулся к его спутнице: — В добром ли здоровье, сестрица?

Тут между их руками стрелой прошмыгнула Салима и бросилась на шею женщине:

— Инэй! Мамочка моя! — и повисла, обесилев. — Инэй, дождалась наконец этого дня! Ма-амочка!

— Салимакэй!.. — Мать залилась слезами.

Отчим Салимы — богато, по-городскому одетый мулла Хисаметдин, долго посматривал на них, рассеянно щупая кругло подстриженную черную бороду. Потом забубнил:

— Ладно, ладно, пора успокоиться. Ведь рассудил же аллах, встретились! Вот и хорошо... — А сам, словно прося прощения, посмотрел на Аллаяра. — Да-а, как получили от Салимы письмо с беитом, покоя не стало. Поедем да поедем, привезем домой!

— «Привезем домой!» — услышав эти слова, Аллаяр изменился в лице. «Это еще надо посмотреть! Ишь, на готовенькое прилетели!» Резко крикнул Касиму:

— Что стал как истукан! Распрягай лошады!

Мать Салимы и ее муж — крайне набожный сухарь мулла — гостили у Аллаяра три дня. Опять ставшая ребенком девушка ни на

минуту не отходила от матери. Иногда лишь выбегала в чулан — поплакать от любви и радости. Но вот этого чужого, который разлучил ее с родной матерью, этого щеголеватого муллу, что на каждом шагу твердит: «Ля илаха илла алла», она ни видеть, ни слышать не может.

Все три дня Аллаяр так и сиял радушием, но внутренне кипел, сжимал кулаки. «Поедем, привезем нашу доченьку домой» — эти слова прожгли ему уши. Бай давно уже приготовил ответ, но гости ничего еще не говорили о Салиме напрямую. Лишь на четвертый день, после утреннего чаепития, мать Салимы сказала Гюльсагуре так, чтобы расслышал и Аллаяр:

— Как вы посмотрите на это, апай, если мы увезем Салиму к себе?

— Уж не знаю... — Гюльсагура уставилась в непроницаемое лицо Аллаяра.

Заставив женщин основательно подождать, Аллаяр наконец медленно заговорил:

— Посмотреть на вас, вроде бы люди с головой. Однако подумайте хорошенько: имеете вы на это право? Не стыдно ли вам будет? Спросите-ка себя. Почему это сейчас, когда кыз выросла и стала человеком, пришло вам в голову такое?

Высказав все это, бай повернулся и вышел. Со двора донеслось его зычное:

— Касим! Гости спешат, готовь им лошады!

В самом деле — какой расчет Аллаяру отдавать им Салиму! Девушка вошла в силу, стала настоящей работницей. Скоро она очень и очень понадобится. Наверняка приведет в хозяйство нового работника — это на худой конец.

А может статься, что это будет зубастый, влиятельный человек. Ждите, получите вы Салиму!

Когда он вернулся в дом, гость уговаривал жену:

— Что поделаешь. И верно ведь — неловко забирать. Уж не знаю... Не могу вмешиваться, сами договаривайтесь.

Аллаяр сразу заметил: у муллы не было особенного желания увезти Салиму.

— Ребенок уже в возрасте, — повторил Хисаметдин. — Надо спросить и у нее...

Салима, как всегда, стояла около матери.

— Нет, — проговорила она, когда все, замолчав, посмотрели на нее. — Останусь я. Только ты сама почаще приезжай, — и, метнув в сторону отчима тяжелый взгляд, снова бросилась на грудь матери.

«Нет, мама не поеду! Моя жизнь, переполненная до краев и горьким и сладким, — здесь! Как я оставлю одну мою дорогую енге Гюльюзюм! И так уже начинает сохнуть! Как могу я бросить Ямилю-апай, она же открыла мне глаза! А мне еще сколько надо узнать от нее! Нет, не поеду, мама! Пока не стану такой же образованной, как Ямиля-апай. Что за жизнь будет в вашем пыльном Стерлитамаке без моих подружек, подобных цветам! Там, наверно, и соловьев таких нет, и леса такого не видели, как наш Кузбеляк! И такого ручья, как Ситьелга! А Шафик-агай! Правда, об этом я и сама еще подумать стыжусь. А все-таки... Ведь он в последнем письме сказал, что скоро придет домой!..»

Все эти чувства вылились у девушки слезами...

О том, чтобы увезти Салиму, разговоров больше не заводили. Мать все время держала платок у глаз. Как себя чувствовал отчим? В его глазах, похожих на лунки, вырубленные во льду, не блеснул ни один живой луч.

Аллаяр тоже не выпускал свои чувства наружу. Он ведь заранее знал, что все будет так, как скажет он.

Хисаметдин держался с Аллаяром все эти дни, как полагается человеку, нехотя выполняющему скучную обязанность случайного гостя. Кроме привычных вопросов о житье-бытье, о здоровье и благополучии, никаких других разговоров не заводили. Но когда напоследок вся женская половина дома отправилась на чаепитие, устроенное женой Сафаргали, язык муллы наконец развязался.

Они остались только вдвоем, и Аллаяр, подумав, что с этим книжником и сухарем ему не о чем разговаривать, потянулся было за своей шубой. Хисаметдин, который сидел, положив на колено толстую книгу, взятую из шкафа, испытующе посмотрел на хозяина дома, потом откашлялся и очень серьезно заговорил:

— Вижу я, почтенный Аллаяр-эфенди, слишком уж расторопный вы человек. Ни на минуту не можете освободиться от мирских дел...

Аллаяр уже сунувший один кулак в рукав шубы, живо обернулся к гостю. Хисаметдин явно собирался завести серьезный разговор. Слова «почтенный» и «эфенди», которыми он величал бая, породили в душе приятное тепло. Смотри-ка! В жизни еще никто не говорил ему таких слов!

— Уж такая жизнь у нас, Хисаметдин-эфенди, — ответил Аллаяр в тон гостю. — Коли сам не будешь двигать ногами, все твое благополучие может в один день угаснуть... Время ведь какое...

Как только Аллаяр проговорил последние слова, на беломраморном лице Хисаметдина появился незнакомый теплый свет, желтые брови его, прилепившиеся над вислыми веками, вздрогнули.

— Да, правду сказали... Времена сейчас серьезные...

Аллаяр все еще стоял, не зная, надеть ли второй рукав или снять уже надетый. Словно поняв его состояние, гость пришел на помощь:

— Если все же позволят вам ваши житейские заботы, я предложил бы посидеть, поговорить кое о чем.

— Афарин! Очень рад, Хисаметдин-эфенди! — У Аллаяра тоже лицо как бы раскрылось, посветлело. — Давно не приходилось слышать человеческое слово. Совсем огрубел...

— Да, это заметно, — согласился Хисаметдин. — Ушли душой в мирские дела, а о том, что творится в большом мире, похоже, начали забывать. Нет, нет, такому образованному человеку, как вы, это не к лицу...

Ишь как круто забрал, уже и осуждает! Аллаяр вмиг потемнел лицом, крепко обиделся на гостя. Однако, приличия ради, смолчал. Впрочем, только ли ради одного приличия? Ведь почувствовал уже, что Хисаметдин готовится сказать что-то важное. Хоть и очень издалека начал хитрый мулла. Видать, решил раззадорить собеседника.

— Равнодушие не к лицу... — загадочно

продолжал гость. — Да, никак оно не к лицу людям, пользующимся авторитетом в народе.

— Ху-уш, Хисаметдин-эфенди, слушаю вас, — нетерпеливо откашлялся Аллаяр.

«Почему он тянет, читает наставления? Говорил бы уж скорее, что хочет сказать!» — подумал бай. Чувствуя, что разговор будет долгий, он вышел на кухню и принес две чаши медовухи.

Почувствовав хмельной запах, мулла чуть поморщился. Но язык его сказал другое:

— Мы, современные муллы, — люди нового уклада. Мирского угощения, которое отпирает языки, не чуждаемся, можем принять. Да-а, так вот что мне хотелось бы сказать. Как бы вернуть мир к его созданным богом естественным основам? Все образованные люди, такие, как вот вы, в большой тревоге, ломают над этим головы. И вам — можно ли вам оставаться в стороне? Думаю, доходят и до вас слухи — теперь ведь часто можно услышать, что наши люди, став на праведный путь, точат свои святые мечи. Это вовсе не значит, что все сами по себе возьмут да и поднимутся с оружием против незаконной власти. Люди, конечно, дружно встанут против развращающего народ Иблиса, но лишь в том случае, если кто-то из имущих и образованных граждан, вроде вас, раскроет им глаза, скажет, когда подняться. В этих краях я что-то не слышу подобных, угодных аллаху слов увещания. Каждый занят лишь тем, как бы уберечь свое, дарованное аллахом богатство. Не чувствуется, чтобы вы тут пошевеливались...

— Хай, спасибо, высокочтимый Хисаметдин-хазрет! — Разговор принял направление,

очень близкое душе Аллаяра. Потому обрадованный бай и назвал гостя хазретом, словно перед ним сидел представитель высшего духовенства. — Вы люди из столицы, знаете, конечно, больше, чем мы. Вот хорошо было бы, если бы вы прибавили нам, темным, ума-разума...

— Нет, вы не темный человек, Аллаяр-эфенди. И вы, конечно, догадались уже, что привела нас в эти края не одна лишь тоска по дочери нашей Салиме. Да... Святейшее это дело — объяснять другим то, в чем просветил тебя аллах. Я вот тоже вышел в дорогу с надеждой, что, может быть, моя поездка окажется в какой-то мере полезной. В жизни все складывается как нельзя лучше. У нас вот образовался свой самостоятельный Башкирский хукумат...

— Хукумат! — Аллаяр кисло скривил губы. — Что можно ожидать от правительства, начиненного продавшими свою веру! Наверно, известен вам этот вероотступник Валиулла Кулумбетов? Правительство, где собрались такие, как он...

— С-с-с! Будьте терпеливее, Аллаяр-эфенди. Мы как раз приблизились к мозгу в кости нашего разговора. Правительство наше, а особенно его главы — не такие, как Валиулла Кулумбетов. Они хотят повести дела, опираясь на нас — на состоятельных, образованных людей, на цвет нации. Именно в этом направлении и идет вся их работа. Вот это я и объясняю тем, кто может стать нашими слутниками... с вашего позволения. Верный прицел у нашего вождя Заки Валиди. Здесь, здесь, в этой опоре, — вся крепость государства. Истории пока еще не известны случаи, чтобы госу-

дарства процветали, опираясь на безграмотную голытьбу. Слышали вы о речи Закихана перед башкирскими войсками в Петрограде? Там он открыто и прямо сказал: «Этим — не верьте. Мы — самостоятельное государство. У нас есть свои коммунисты. Их слова для нас — закон». Наши национальные коммунисты, такие, как Юмагулов, определяют наш иман. Так что не бойтесь, действуйте смело. Стерлитамакское правительство — наше правительство. Нам с вами в глаза сору не насыпет. А здешние, которые называют себя коммунистами, а поклоняются русскому иману, никуда не уйдут от кары аллаха. Так что можно их, с благословения аллаха, кх-х! — Хисаметдин провел пальцем по своей жилистой шее.

— А нам, нам что делать?.. — начал было Аллаяр, преданно блеснув глазами.

Мулла шевельнул рукой — он не все еще сказал. Попробовал бы кто-нибудь другой так остановить Аллаяра!

— Да, ваш долг ясен, — продолжал гость, взявший над баем верх. — Примите меры, чтобы очистить волость от таких коммунистов... Большинство их комитетов избрано незаконно. Они сами выбрали себя, воспользовались тем, что правительство было вдали от Башкортостана — в Саранске. А теперь эти волостные коммунисты действуют против нашего законного хукумата. Что ни слово у них, что ни шаг — все с оглядкой на приехавших из Москвы кафыров, которые называют себя «Башкиропомощь». И ваше волостное управление тоже такое... Ваш долг образованного человека вот в чем: все, о чем мы говорили, разъяснить

имущим и верным нашему иману людям. И каждому найти дело на этом благородном пути...

— Вот спасибо!.. — Аптелгалимов готов был обнять гостя. — Айдаге, веселей употребляйте, что налито в тустак! Посидим, поговорим свободнее.

— Нет, нет, Аллаяр-эфенди. Придет еще время. Тогда посидим, сколько душа пожелает. А пока надо торопиться, чтобы приблизить эти дни. И так уж из-за Салимы здесь загостился. Как только мать Салимы вернется с этого чая, уж поторопите, пожалуйста, чтобы поскорей запрягли. Думаю заехать в Атзитяр к почтенному Гаитбаеву...

— Это к бывшему-то старшине волости? Достоин ли вашего внимания этот малообразованный болтун? Притих, поджал хвост у себя в ауле. Его сами коммуны называют, как это... э с р и д н я к... Даже старшинскую медаль ему на память оставили. Срамота!..

— Не горячитесь, эфенди. Человек, зараженный властью, до смерти не излечится от этой болезни. Гаитбаев-агай, вижу, сумел своим смиренным видом обмануть даже ваш пронизательный глаз. Этот человек ждет, когда можно будет опять выйти к народу с медалью на груди. Считает дни и минуты...

Как только проводили гостей, Аллаяр велел, чтобы и ему немедленно запрягли лошадь. Никому не говорил, куда поедет. Сказал только, что вернется не раньше чем через десять дней.

А Муллаяна вызвал под навес и долго втолковывал ему свои распоряжения. Из каждых

двух высказанных слов одно было о том, чтобы сын, пока отца не будет в доме, вел себя как можно осторожнее, не ломал оглобли.

VII

Вот и конец первому уроку. Наказав детям, чтобы вели себя на перемене поосторожнее, Ямиля прошла во двор Аллаяра. Ей нужен был Касим. Он как раз был во дворе — сгребал снег.

— Что же ты, туганым, не показываешься? Заболел? На это не похоже, вид здоровый. Почему на уроки не ходишь? Работы много?

— Нет...

Лицо егета было хмурым. Воткнул лопату в сугроб и выпрямился, но глаз не поднял.

— Что случилось, Касим? — стала мягко допытываться Ямиля.

— Все равно моя голова не работает. Не смогу... — буркнул под нос егет.

— Нет, не говори так! Ты очень толковый ученик. Буквы сразу усвоил. А теперь, когда все твои товарищи научились читать, знаешь, как интересно в школе!

Касим не откликнулся.

— Сегодня приходи, ладно?

Касим молчал.

— Придешь, родной?

Чтобы не мучить учительницу, пришлось все же Касиму выдать из себя:

— Ладно...

Когда Ямиля вернулась в класс, сразу заметила: дети чем-то заняты. Все стояли в углу, несколько ребят — эти были почему-то об-

леплены паутиной — укладывали на место половые доски.

— Что это вы тут делаете?

— Апай, карандаш Шарифуллы под пол провалился! — откликнулась одна из девочек.

— Нашел?

— Нашел, нашел, апай! — проговорил Шарифулла. Он был измазан так, будто побывал в печной трубе.

Тут вмешался в разговор и Хаирзаман, тоже, должно быть, побывавший «в трубе»:

— Апай, смотрите, что я нашел под полом вашей комнаты, — и положил на ладонь Ямили покрытый пылью заклеенный со всех сторон бумажный пакет.

— Пакет... Под полом говоришь?.. Ладно, теперь бегите на улицу и хорошенько отрянитесь от пыли, — сказала она и ушла на свою половину. Ей не терпелось как следует рассмотреть находку.

Такой вещи у них с Мухаметгали не бывало. Но где-то Ямиля уже видела ее. Оторвала уголок пакета, стала разглядывать. И вдруг вздрогнула, словно схватила нечаянно горячий уголек. Уронила пакетик на пол. Там, внутри, под бумагой действительно был спрятан огонь...

Будто взрыв оглушил Ямилю...

Но, в сущности, никакого взрыва не было. Не было и огня. Когда пакет ударился о пол, из надорванного уголка вылетели спички и запрыгали по доскам.

Ямиля хотела было закрыть поплотнее дверь, чтобы не увидели дети, но в глазах потемнело. Только нащупала ослабевшими пальцами ручку двери, привалилась к косяку...

Спички! Не в коробке, а россыпью — видно, на фабрике спешили, чтобы они поскорее дошли до людей, которым нужен огонь. Завернутые лишь в бумагу, посланные государством спички! Впервые Ямиля увидела их в мугээе. Они пропали как раз в тот день, когда неизвестные грабители бросили Ямилю в подпол, избитую, с заткнутым ртом. Эти спички вызвали таинственный пожар на гумне Аллаяра, который был подстроен так, чтобы облить грязью Советы, комсомол. И Тахаутдина чуть не погубили они же, эти спички, хоть изобрели их для того, чтобы дать людям тепло и свет...

Но как они попали сюда, под пол?.. И сразу отчетливо увидела перед собой залитые кровью глаза хозяина этого дома, его опухшие веки. Ощерился, как зверь...

Ей захотелось крикнуть, чтобы услышал весь аул: «Родные, мы же греем около себя змею! Адов огонь тлеет прямо под нашими домами! Этот дажжал, этот злой дух, который пожирает все живое, не моргнув глазом превратит в адов костер весь наш аул! Пока не поздно, давайте все вместе уничтожим его!»

«Уничтожим!» — Ямиля вдруг словно проснулась. Не она ли сама недавно ночи проводила без сна, все готовила горячие речи против насилия, собиралась исправить мир лучами просвещения!..

Что-то долго не выходила Ямиля-апай в класс — шум за стеной стал сильнее. И Ямиля сразу отогнала все навязчивые думы, со строгим, спокойным лицом вышла в детям. Урок начался. Сказала несколько привычных слов... Ах этот бумажный пакет со спичками — так и лезет в голову...

С кем-то надо посоветоваться. Такая болячка сама не заживет — чем дальше, все больше будет ныть, не даст покоя.

Сказать Мухаметгали? У него душа уйдет в пятки. А самое страшное — побежит ведь советоваться к тому же Муллаяну. После этого только жди гостей, тех же, что тогда... Волна холода пробежала по спине Ямили...

Сказать Гюльюзюм?

Ни за что! Она и сама еле ходит, утонула в своих горестях. До того ли ей? Да и не сможет килен спокойно обдумать все — слишком ненавидит Аптелгалимовых. Разгорячится, испортит все...

Садрисламу?..

Об этом Ямиля думала дольше. Да, в ауле это единственный человек, перед которым можно раскрыть тайну. Но и ему нельзя сказать все вот так, сразу. Сначала надо разобрататься самой.

Послеобеденные уроки Ямиля поручила вести Гюльюзюм. Ничего не объяснив подруге, заперлась в своей комнате. Прежде всего намотала вокруг пакета со спичками клубок грубых шерстяных ниток и положила свою тайну на дно сундука. Сразу вольнее стало дышать...

Но ненадолго. Как начало темнеть, пришел страх. В щелях дома что-то зловеще шуршало, чьи-то глаза следили за каждым движением Ямили.

Заскрипели мерзлые сапоги — пришел Мухаметгали. Разделся. Прищемив дверью свою обувь, охая стащил ее с ног. Уселся на сундуке и постепенно как бы стал оттаивать.

— Какие новости? — спросил, переведя дух.

— Мухаметгали! Давай переедем отсюда...

Муж удивленно посмотрел на нее:

— Что такое? Тебе же нравилось здесь.

— Теперь я даже одну ночь пробыть здесь боюсь. Прошу тебя, давай переедем!

Встав с сундука, Мухаметгали подошел к ней.

— Что же ты будешь там делать, в нашем доме? Ведь он промерз.

— Приберем, все наладим. А пока у Файзуллы-агая можно пожить.

— Может, расскажешь все-таки...

— Если не хочешь, сама уйду. Боюсь здесь оставаться, и все. Убьют...

— Кого боишься?

— Хотя бы тебя! Ты ведь не только меня — себя не можешь защитить.

Мухаметгали даже отступил на шаг. Такого он еще не слышал от жены.

— Тебе поручили мирские дела, — Ямиля решила высказать ему все. — Поверили, что будешь честно служить аулу. А ты что? Все наоборот делаешь. Кто сильнее — тем подошвы лизать готов. А кто слабее, на того как собака... Нет ты не тот человек, не годишься в председатели. С твоими рабскими повадками доведешь аул до беды...

— Мир меня выбрал, мир и решит, гожусь или нет, — оборвал ее Мухаметгали.

Она спокойно посмотрела на него. Не стала расчесывать пышные растрепавшиеся волосы, только аккуратно повязала платок.

— Остаешься? Оставайся. А я пошла...

Потянулась за бешметом и полушалком. А сама все смотрела, смотрела на мужа. С горечью думала: «Знал бы ты, чьи руки бросили

твою Ямилю на смерть... Да еще из-за твоей ведь слабости, из-за трусости твоей. Интересно, что бы ты сделал, если бы вдруг узнал?..»

VIII

Ямиля и Мухаметгали проснулись в доме Файзуллы в постели, завешенной пологом. Хозяева ни о чем их не расспрашивали ни вчера, ни сегодня утром. Вяло беседуя, попили чаю. Файзулла почему-то был невесел. Нет, его совсем не тревожило то, что Мухаметгали и Ямиля вдруг решили уйти с насиженного места. Поважнее забота пришла. Вчера собрали в волости весь актив. Велели смотреть в оба, чтобы не были сорваны хлебозаготовки. Но дело надо вести осторожно, вокруг спокойно. В мензелинских, бирских и бугульминских краях вражеские элементы подняли мятеж, который сами и назвали «Карагош яуы» — налет беркутов. Эти «беркуты» громят местные Советы, разгоняют партийные ячейки, а коммунистов и всех, кто за советскую власть, зверски мучат и убивают. Мятеж расширяется с каждым днем. Вот уже захватил Златоустовский уезд, а с другой стороны — весь уезд Белебея. В Табынском кантоне пока тихо, но это тревожная, опасная тишина...

Файзулла хорошо помнит: рассказав обо всем этом, Алтынбаев повернулся к Садрисламу и сказал одному ему:

— Тебя это особенно касается, дорогой мой заместитель. Ты человек горячий, а аул у вас тяжелый, хоть с виду и спокойный. И вы, товарищ Мухаметгали, не забывайте это. Тихо-

то у нас тихо, а душок мятежа носится и здесь...

Вот, оказывается, каковы дела. И здесь, рядом, стали появляться люди, подстрекающие к мятежу. Одного из них — муллу из Стерлитамака по имени Хисаметдин — арестовали на днях в каком-то из тех аулов, что на берегу Агидели. Говорят, будто эти подстрекатели как-то связаны с валидовцами, которые стоят во главе правительства. Но еще удивительнее то, что, как только этого муллу схватили, члены правительства сразу же прислали приказ: освободить Хисаметдина из-под ареста и отправить в Стерлитамак, в их распоряжение.

Вот и пойми, что к чему. Ведь республика дана народу, чтоб ему было лучше жить. Почему же, кто сидит в правительстве, делают все наоборот? Руководители «Башкиропомощи» тоже жалуются: республиканские власти на каждом шагу чинят им разные помехи. Недавно, например, «Башкиропомощь» стала скупать в зажиточных уездах лошадей — чтобы раздать их безлошадным хозяйствам. А руководители правительства запретили это. Потом разрешили, но чтоб скупали понемногу. А за это время скотовладельцы-кулаки успели в десять раз повысить цену на лошадей. Частенько, оказывается, в кантонах арестовывают представителей «Башкиропомощи», все из-за какой-то национальной политики.

Почему разрешается такое, почему не пресекут этот произвол решительной рукой? Не только Файзулла, люди более сознательные ломают головы над этим.

«Что-то долго Ленин и его коммунисты тер-

пят этих валидовцев, — думает Файзулла. — Ведь знают же, наверно!»

Тревожный слух об этих мятежах дошел и до Ямили. Но настоящей сути дела она еще не знала. Вчера, когда Мухаметгали вернулся из волости, он не успел ничего ей рассказать. А сегодня утром, как проснулись, он вдруг жалобно закричал: «Что-то голова болит, плечи разламывает».

Чаю попил и опять завалился в постель.

Еще не доходя до школы, Ямиля вдруг почувствовала странное беспокойство. Ее поразила необычная тишина — никто не бегал, не возился перед школьным крыльцом. Она вошла в дом. Больше половины мест пусты. Дети, которые пришли, как-то притихли. Вопросительно уставились на учительницу. В тишине Ямиля расслышала непонятный шепот:

— Идут...

— Говорят, идут...

Не обратив на это внимания, Ямиля спросила:

— Где же остальные?

— Не пришли.

— Почему?

— Апай, ведь, оказывается, идут! — испуганно ответил один из малышей.

— Не понимаю. То говорите «не пришли», то вдруг «идут»!..

— Белые, белые идут, апай. Потому и не пришли.

Ямиля растерялась. Не могла выговорить ни слова. Но тут же почувствовала — нельзя ей терять ни секунды. Твердо, уверенно сказала:

— Это пустые разговоры, дети. Белые удрали, чтобы больше никогда не возвращаться. Красная Армия всех их разбила. Не бойтесь ничего! Ну-ка, встаньте!

Дети шумно поднялись.

— Вместе давайте крикнем, как один: «Не боимся!»

— Не бо-им-ся!!

Будто легче стало. Засмеялись.

— Вот видите, какие мы герои! Теперь идите к своим товарищам и приведите сюда всех. А я расскажу вам очень интересную историю. Про смелого мальчика и смелую девочку.

С шумом ребяташки сорвались с мест, выбежали на улицу. А Ямиля принялась сочинять историю о смелых мальчике и девочке. Нет еще таких книг, вот и приходится ей почти каждый день сочинять новую историю, как книгу...

Большие охотники до рассказов Ямили, дети вскоре прибежали обратно, наполнили класс морозным воздухом, шумным дыханием. Привели с собой почти всех своих товарищей. И, как один, затихли. Стали слушать простенькую историю, придуманную Ямилей.

Но для нее урок все-таки закончился не весело. Когда собрались писать, оказалось, что у большинства тех, за кем ходили по домам, нет с собой тетрадей. Минувшей ночью осторожные отцы бросили тетради в печь.

А все потому, что — «идут!..».

Тревожная весть поганым червем точила души людей — души, которые начали было крепнуть. Не раз попадали эти люди в суровые

передряги. Вот и привыкли подбирать под себя и подол, и концы рукавов.

Имангулов, нзведывавшийся в родной аул все реже и реже, на этот раз приехал как никогда вовремя. Мухаметгали лежал больной. Тут же Садрислам велел Файзулле и егетам из комбеда созвать людей на сход. Надо было немедленно сказать людям всю правду.

Народ собрался быстро. Коротко и решительно Садрислам отчеканил, что слух о белых — выдумка классового врага.

— Но вообще-то дела не очень радостные. Наверно, вы уже слышали о «беркутах»... Это, конечно, не беркуты, а простое черное воронье. У вас тоже есть несколько таких воронов. Подрезать им крылья заранее — это дело в наших с вами руках.

Потом Садрислам заговорил о заготовке хлеба:

— Аптелгалимовы и еще несколько хозяйств хотят сорвать поставки государству и потому не молотят свой хлеб, оставили в скирдах на съедение мышам. Надо выйти всем и сообща обмолотить этот хлеб. То, что положено самим хозяевам, надо оставить им. Остальное — в государственные закрома, в фонд помощи голодающим.

Тому, что белые не придут, народ заметно обрадовался. Все ожили. Но когда речь зашла о молотье на гумне Аптелгалимовых, сход примолк. Смотрели друг на друга, почесывали затылки. Садрислам сразу почувствовал это, поспешил объяснить:

— Вы же должны понимать, бесплатной работы теперь нет. Тем, кто выйдет молотить,

будет выдано за каждый день работы по полпуда.

К концу собрания Тахаутдин неожиданно встал, попросил слова.

— Давайте решим всем миром: зерно, взятое у баев в долг, возвратить, когда поспеет новый хлеб. И отдавать пуд за пуд!

Сход одобрительно загудел. Даже Садрислам удивился: вот ведь молодец егет, революционное чутье какое!

Стоит зима, а над аулом вдруг поплыл запах свежего ржаного колоса. Такой знакомый! Как во время жатвы, защекотал ноздри запах надежды, спасения...

А началось все так: поскольку самого Аллаяра дома не было, Садрислам с Файзуллой вызвали во двор Муллаяна.

— Видим, что у вас нет особенной охоты самим обмолотить и сдать государству положенную долю. Придется заняться этим народу. А чтобы выделить долю вашей семьи, от вас тоже должны выйти люди.

Муллаян лишь глянул на них волком. Постоял, вытаращив глаза, и, ничего не сказав, ушел в дом. Целый день не выходил.

Молодежь, которую привел Тахаутдин, с шумом и шутками направилась на гумно прямо через двор Аптелгалимовых. Там под навесом стояла конная молотилка. Один за другим, опустив головы подошли Латип, Касим, Салима и Гюльюзюм. Салима с Касимом не долго сохраняли пасмурный вид — прошел какой-нибудь час, и они вместе с другими егетами и девушками уже бойко орудовали вилами и граблями, будто вышли все на веселую помочь... Вот только Гюльюзюм не поднимала

головы, ни с кем не обмолвилась словом, Лишь вздрагивала, когда мимо проходил Садрислам, и надвигала края платка к глазам, чтоб не было видно, как она краснеет. Украдкой пристально поглядывала на него. А он, похоже, совсем не обращал на нее внимания.

Неохотно идут люди на это гумно. Но все же идут. Многих ведут сюда обещанные «полпуда». Конечно, не через двор, где уж там. Пробираются на гумно задами, огородами, друг на друга не глядят.

— Желудок и в ад загонит, — слышится то тут, то там.

Каждый работает старательно, но так, чтобы не выделяться среди других. Салима и Гюльюзюм, прикрыв рты платками, сгребают солому.

Барабан заглатывает тяжелые толстые снопы и, крикнув «го-о-ох», выбрасывает солому.

Мухаметгали нет на молотье — как свалился, так все еще и лежит, не вставая на ноги. Поднимется, чтобы поесть, и снова, охнув, падает в постель. Прибегая из школы, Ямиля обеспокоенно прикладывает руку к его голове. Как будто жара нет. А муж страдает, стонет — то тут у него болит, то там. Ах, некогда ей разобраться в его болезни — у нее другая работа. Никак не решится поговорить с Садрисламом о спичках...

Сладким духом веет по аулу. Пахнет рожью...

На следующий день после молотье Гюльюзюм собрала все свои вещи, которые привезла в дом Аптелгалимовых, и под вечер пере-

бралась к Закии. Ничто не помешало — ни яростные крики Латипа, ни его отчаянные вопли: «Муллаян! Иди убей ее!», ни его сладкоречивые уговоры. А Муллаян даже не показался. На то была причина. В последние дни он слишком приставал к Гюльюзюм. Когда сегодня на заре он набросился на нее, Гюльюзюм отхлестала его по щекам и выбежала из дома, пригрозив: «Завтра пойду в Совет». Муллаян затаился: видно, напугал его такой оборот дела.

Подводы с зерном ушли в волость. Голодающим выделили фонд — для общей ашханы. Роздали часть зерна и тем, кто работал на молотье. Остальное ссыпали в амбар Аптегалимовых. Все было сделано по справедливости!

Егеты Тахаутдина пришли к мулле Гайфулле.

— Мулла-бабай, известно тебе, сколько ты должен государству?

— Эй, яраннар! Рабы бога! Откуда мне взять столько! — горестно заныл мулла. — Вот же, сами смотрите! — Он повел их в свой амбар, открыл сусеки.— Клянусь Кораном, даже на эту зиму не хватит!

Егеты молча ушли. Успокоился и мулла. А на следующее утро, когда, захватив кумган для утреннего омовения, вышел во двор, те же самые егеты, перебрасываясь шутками, весело раскидывали навозную кучу за хлебом. Показался брезент. Под ним крупная пшеница. Целая яма!

— Что вы тут делаете, дети? — плаксиво заныл мулла и пошел на них. — Грабите, значит, меня!

— Бэй, мулла-бабай, это же не твое! Ты же вчера в амбаре поклялся Кораном, что у тебя больше ничего нет!

Не слушая его причитаний, егеты погрузили зерно на три подводы.

— Вот, бабай, все остальное мы сами засыплем сейчас в твои сусеки. Зачем добру лежать под нечистым навозом! Здесь вам с абыстай хватит еще на два года, даже если каждый день кашу будете варить. Не бойся, больше никто не придет проверять твой амбар. Только в другой раз не обманывай, ведь ты мулла. А то ямагат вовсе перестанет верить тебе. В мечеть не будут ходить...

Нашли спрятанный хлеб и у Сафаргали...

Над аулом летала черная копоть тревоги. Все больше застилала свет дня. Люди чувствовали это, но не говорили. Только в глазах вопрос: что это? Откуда пришло?..

Тахаутдина и тех егетов, что записались помогать народной дружине, срочно вызвали в Хайгадак. Велели запастись едой на неделю — ведь дружинникам не полагается даже паек. Говорят, егетам тут же раздали винтовки и многих приняли в комсомол.

А Ямиля все не решалась подойти к Садрисламу. «Нельзя, очень напряженное время. Подождать надо, пусть отправят хлеб...»

IX

Садрислам долго стоял у своих ворот. Хмурился, нетерпеливо подбирал губу. А взгляд так и летел в ту сторону, где дом Закии. Этот дом тянул Садрислама к себе, звал. Но не вор-

вешься же туда просто так, ни с того ни с сего. Хоть бы отец Закии был дома — можно было бы навестить. Нет же — опять уехали с женой в гости...

Как ни всматривался Садрислам, никакого движения в доме Аптерахима не заметил. Зашел в денник, отвязал лошадь, на которой приехал из волости, повел поить к ручью Ситьелга. Этот ручей и сейчас, в морозы, бурлил, был одет густым туманом.

Напоив лошадь, Садрислам повернул домой и тут увидел: по круто сбегаящему переулку навстречу ему шла Закия. Ритмично позвякивала зелеными с цветной росписью ведрами, поигрывала боками. Поравнявшись с Садрисламом, осторожно оглянулась через плечо и достала из грудного выема в бешмете аккуратно сложенную бумажку, похожую на бету — на талисман, где пишут слова из Корана, охраняющие жизнь.

— Не знаю, тут что-то кажется, написали... — передала Садрисламу, а сама, не поднимая глаз, посторонилась, уступая дорогу ему и его лошади. Ах, как она глубоко вздохнула у него за спиной...

Садрислам не спешил разворачивать этот «бету». Пока привязывал лошадь в деннике, записка грела его ладонь. Броситься бы ему прямо сейчас на улицу, туда, наискосок, где так же загадочно, как эта записка, закрылся и молчит домик Аптерахима...

Но вот наконец Садрислам развернул бумажку, припал к строкам. Сразу заметил, что писала дрожащая рука. Красивые буквы шепнули ему: «Агай, у меня есть к тебе слово, которое должна сказать. Как зажгутся вечерние

огни, приходи». Имя не поставлено. Но это и не нужно — еще когда около него остановилась Закия, сразу догадался обо всем, даже дыхание перехватило.

Но как долго еще ждать той поры, пока зажгутся вечерние огни...

Сафура-апай заметила, что ее сын вдруг — в один миг — изменился, стал молчаливым и рассеянным. Несколько раз поднимался, будто собираясь куда-то идти по срочному делу. Потом, будто раздумав, сел.

Стало темнеть. Мать постелила на хике ашъяулык. Изредка перебрасываясь какими-то словами, стали что-то есть — Садрислам держал в руке чашку и ничего не замечал. Если отец или мать спрашивали о чем-нибудь — вдруг откликался: «А?» — и, отвечая, не слышал даже своих слов.

Вот наконец он вышел на улицу. Почти во всех домах уже теплились «мышинные огни». Только в одном доме — где его должны ждать, «когда зажгутся вечерние огни», — огня нет. Садрислам прошелся до нижнего конца, вернулся. Улица была пуста. Два окна Аптеракима, в которых все еще нет огня, так же кротко смотрят на улицу.

Оглядевшись по сторонам, Садрислам шагнул к этому дому. Громко хрустя снегом, он крался в глубоких сумерках, как вор. Вдруг понял это — и замер от стыда.

Но шаг уже сделан... Да и идет-то он сюда по приглашению. Почему же боится? Все равно ведь сил не хватит повернуть назад...

Дверь была не заперта. Садрислам прошел темные сени, нащупал дверную ручку. Вот и

теплая комната дома. Навстречу ему двинулась безмолвная тень.

— Садрислам... — горячий шепот. Гюльюзюм вошла в объятия егета.— Ждала тебя... Ой, как ждала — даже не дышала. Боялась, не придешь...

— Гюльюзюм! Я тоже...

— Я люблю тебя, агай... — Гюльюзюм, вздрогнув всем телом, приникла к Садрисламу. Долго стояли без слов, в тишине. Щеку Садрислама обжигали горячие слезы Гюльюзюм. Сквозь ее растрепавшиеся волосы егет целовал мокрые глаза, холодный висок...

— Раздевайся, агай, садись. — Гюльюзюм сняла с Садрислама шинель. Присев на корточки, будто молясь, медленно стянула с него сапоги. Затем, поймав и прижав к шее его руку, повела в передний угол. Как-то нескладно и прерывисто сказала: — Закия не придет. Ее взяла к себе ночевать Муслима-апай.

Они сидели молча, каждый будто слушал сердцебиение другого. Гюльюзюм вздохнула, прикрыв лицо руками, отодвинулась.

— Агай, ты не осудишь меня? Я тебя позвала... Вот, сам видишь...

Только сейчас Садрислам разглядел в темноте — на хике белые простыни: там была разложена пышная постель.

— ...Потому что без тебя сил не стало терпеть.. Мне тоже хочется быть счастливой. И у меня есть душа...

— Я понимаю, Гюльюзюм. Я тоже... — Садрислам привлек ее к себе. Но Гюльюзюм уперлась в его грудь. Отрезвев после первого порыва, она хотела что-то объяснить Садрисламу.

— Может, и понимаешь, агай, всрю. Только этого недостаточно... Подумай о себе. Я-то счастлива... А как ты сам? Будешь ли счастлив со мной? Любить меня будешь?

— Буду, Гюльюзюм! — горячо зашептал егет, опять привлекая ее к себе. — Всегда, всегда буду любить!

Она тихо приникла к нему.

— Верю тебе. Верю, что каждое твое слово идет от души... С тех пор как увидела, узнала тебя — привыкла, что ты всегда говоришь только справедливые слова, агай.

— Вот так всегда верь.

— Ты тоже верь, Садрислам.

Загремели доски на крыльце. Оба настороженно замерли. Послышался негромкий дробенький стук в дверь.

— Не Закия ли вернулась? — Гюльюзюм поднялась. Тут же тревожно зашептала: — Наверно, нет.

Придержала плечо Садрислама — чтоб сидел и не шевелился — и, ступая на носках, прошла к выходу. Приоткрыв дверь в сени, прислушалась.

— Кто там?

— Это я, килен... открой-ка! — Хоть это был шепот, да еще за второй дверью, Садрислам тут же узнал голос Муллаяна. Вскочил с места.

Гюльюзюм неслышно перелетела к нему.

— Ты не вздумай... — зашептала и смело добавила: — Раздевайся... ложись...

Дверь требовательно загремела.

— Тебе что тут понадобилось среди ночи? — голос Гюльюзюм прозвучал резко и строго.

— Килен, разговор у меня к тебе...

— И слушать тебя не хочу! Убирайся по добру-поздорову! — Это был уже не тот ласковый шепот, что согревал ухо Садрислама, отнимал у него последние силы.

В третий раз затряслась дверь. Задрожали стекла в окне.

— Открывай! Проломлю дверь, а все равно сегодня войду!

Муллаян даже не успел до конца выговорить свою угрозу — Гюльюзюм с грохотом вышла в сени.

— Проломи! Башку твою каменную скорее проломит вот этот топор! Только сунься за порог!

Ответ, должно быть, показался Муллаяну очень серьезным. Он лишь прошипел за дверью:

— Сука! Еще пожалеешь! — и захрустел снегом, ушел.

Около Садрислама повеяло прохладной чистотой — Гюльюзюм была уже около него.

— Что к окну припал? Струхнул немного? — тихо рассмеялась. — Почему не слушаешься?

Перед Садрисламом стояла совсем другая Гюльюзюм — свободная, смелая, открытая. Говорила и спокойно раздевалась...

Двое, укрытые в домике Аптерахима от всего мира, забывшие обо всем на свете, были сегодня счастливы. Оба ушли в мир снов...

Однако, когда егет, совсем потеряв голову, опасно загорался, Гюльюзюм находила в себе силы, чтобы остановить его, отгоняла накатившую хмельную волну.

— Будем терпеливыми, Садрислам дорогой. Не стоит торопиться, побережем счастье...

Привыкнем друг к другу... Поедем к моим родителям, спросим благословения... Чтоб лица наши были светлыми перед людьми...

— Да, да... Пусть будет так...

В Хайгадак Садрислам приехал на рассвете. Алтынбаев уже был в волкоме.

— Рано как прилетел! Что-то ты какой-то радостный, уж не золото ли нашел?

— Нашел... — сказал Садрислам, краснея, и отвернулся.

Просмотрев свои записки и планы, он попросил у Алтынбаева разрешения съездить к заготовителям леса — на делянки. Секретарь тут же согласился.

— Только будь осторожен!

По пути Садрислам опять завернул в свой аул. Напился чаю, сказал родителям, куда едет. Когда у ворот снимал вожжи со столба, смотрел только на дом Аптерахима. Медлил. Но из дома никто не показался. Пустив лошадь медленным шагом, поехал вдоль улицы.

Гюльюзюм вышла из переулка, неся на плечах коромысло с ведрами. Садрислам еле удержался, — чуть не спрыгнул с кошевки. Гюльюзюм повела выгнутыми бровями, улыбнулась. Придержав коромысло, чуть заметно махнула рукой.

Проехав мимо нее, Садрислам обернулся, любуясь тонким подвижным станом Гюльюзюм. Ехал и тосковал, словно не суждено ему было больше увидеть ее...

Гюльюзюм скрылась в воротах. Садрислам погнал лошадь. Скорее, скорее! Он торопил свою Игреньку, чтобы успеть вернуться к вечеру к Гюльюзюм.

С той минуты, как уехал Садрислам, прошло не больше получаса. Во двор Галиакбера вошел Муллаян. На лице его ни следа гнева, ничего похожего на обиду. Сын Аллаяра был озабочен, горестно покрывал.

— Вроде бы тут стояла лошадь товарища Садрислама, — спросил у Галиакбера, который отгребал снег во дворе. — Что? Успел уже уехать?

— На делянку поехал, к заготовителям, — сказал Галиакбер, удивленно посмотрев на Муллаяна. Что за дела могли быть у байского сына к Садрисламу?

— Хорошо бы, если б вернулся поскорее. Большое у меня дело к товарищу Имангулову... — Муллаян торопливо зашагал к воротам.

Х

Отпустив вожжи, дав лошади полную свободу, Садрислам едет, откинувшись на сено в кошке. Над ним ясное небо, голубое, бездонное. Солнце чуть ласкает открытый лоб своим скупым теплом. Полдень...

Садрисламу кажется иногда, будто он стал почти невесомым и летит в голубом просторе. Совсем не чувствуется дорога под полозьями саней...

Уже была близко Дуровка, пошел мелкий березняк. Лошадь сбавила ход и фыркнула. Спереди донеслась злая ругань. Кто-то завизжал.

Садрислам приподнялся в санях. Дорога выбегала из леса в поле, и там — вразброс — стояли четверо саней. Четыре мужика топта-

лпсь в снегу, били двоих. Громко хлопали жерди по шубам...

Что за схватка — среди бела дня, посреди поля?.. Ага, один — Муллаян! Другой из Атзитяра — Гаитбаев. А эти — дуровские, Емелька и Софрон.

Волна огня и холода пробежала по телу Имангулова. Волоча за собой отцовский волчий сукмар, подбежал Муллаян — будто и ждал здесь Садрислама. Прыгнул, схватил лошадь за узду.

— Во-о-от он, — зарычал. — Во-о-от он подъехал, главный!

Отбросив тулуп, Садрислам спрыгнул на обочину в снег.

— Что случилось? Что за скандал?

— Подойди-ка, подойди!..

Садрислам узнал двоих, что лежали у обочины, утонув в снегу: егеты из комбеда аула Атзитяра. У одного — Валиахмета — изо рта протянулась через щеку струйка крови. Приподняв голову, он уставил на Садрислама выпученные глаза:

— Имангулов-агай...

Садрислам потянулся к кобуре. Кнут Софрона ожег его лицо. И тут же длинная жердь бывшего старшины сбила Имангулова с ног. Сознание угасло.

Муллаян вынул его наган, сунул себе за пазуху. Потом поднял легкое тело и бросил в волкомовскую кошевку. Сам плотно сел верхом на человека, хлопнув вожжами.

На улице Дуровки толпа красноглазых звероватых мужиков встретила ревом.

— Вот они, знакомы! — ощерился Мулла-

ян, подъезжая. — Вот они, главные, что грабят народ! Бейте коммунов!

— У-у-ух!

Замелькали кулаки, носки сапог стали мять ребра.

Из Дуровки повезли избитых людей в Утекэй. Остановились возле мечети. Отовсюду бежал народ. Испуганно молчали, теснились, тяжело дыша.

— Вот они, грабители! — рычал Гаитбаев. — Среди бела дня раздевают!

— Бейте их! Бейте! — размахивал плеткой Софрон.

Сильные руки захватывали людей в охапку, толкали к саням.

— Кто не будет бить, — значит их сторону держит!

Заставляли бить полумертвых, толкали под локти. Кто-то увернулся, хотел остановить других — его тут же сбили с ног, принялись топтать.

В ауле шум, крики. Плачут дети — выбежали из школы...

Выскочил на улицу старик Галиакбер. Трепыхая подолом белой рубахи, доходившей ему до колен, спотыкаясь и падая, бросился к саням.

— Ямагат! Остановитесь, родные! Братцы!

Над его головой свистнула дубовая палка. Старик охнул и, как подпиленное дерево, повалился на тех, что лежали уже, избитые и растоптанные, на красном снегу. Сафаргали отбросил дубину и исчез в толпе.

Резкий отчаянный визг прихлопнул разъяренных мужиков, остановил поднятые кулаки.

— Что делаете! Звери без имана!

Не видя перед собой ни черного, ни белого, на толпу бежала молодая женщина с распущенными длинными волосами. Мужики отступали, давали ей дорогу. Гюльюзюм так и повалилась на грудь Имангулова. Потом резко обернулась к толпе. На лице ее была кровь Садрислама.

— Убивайте и меня! Силачи!

Первым опомнился Муллаян.

— А-а, сука мирская! — извернувшись, пнул Гюльюзюм. Молодая килен упала лицом на мерзлую землю. Раззадоренный Латип, размахивая руками, как крыльями, набросился на жену.

— Зять! Сват! — К Муллаяну и Латипу подбежал отец Гюльюзюм. Весь день он уговаривал дочь вернуться в дом мужа. — Дитя ошиблось, бредит! Пощадите, ради аллаха!

— А, приехал, отец потаскухи! — Братья набросились на него.

Несколько человек подняли Гюльюзюм, потащили в дом Закии.

Софрон что-то шепнул Емельке. Почувствовали, видно: толпа остыла, люди начали приходить в себя. И те, кого топтали, поднялись, недобро поглядывая, разгибали плечи. Размахивая сукмаром вправо и влево, Муллаян разделил толпу на две стороны перед лошадьми. Четверо саней сорвались с места, вылетели из аула.

...Садрислам постепенно приходил в себя. Что такое? Почему тело вроде как не свое? Все нестерпимо болит — нельзя шевельнуться.

Ах да, его же били! А небо-то, небо — синее, без дна!

Что-то все время слабо трогало его щеку. Не это ли ласковое щекотание привело его в чувство? Узнать бы, что это, — ведь в точности как ресницы Гюльюзюм...

Собрав последние силы, Садрислам повернул голову. Колос ржи! Он застрял в рогоже, что лежит под его головой. На длинных ресницах колоса, словно слеза, повисла капля красной крови... Повисла и замерла. Как ягода костяники, искрится в лучах солнца, а оно уже желтеет, опускается к закату.

Кровавыми слезами плачет колос ржи...

— Гады! — крикнул Садрислам. Раздался ли его голос, или только губы шевельнулись — не разобрал.

Услышал ли это слово Муллаян? А может быть, его трусливая душа не снесла кровавого взгляда Садрислама... Он пнул своего пленника в голову. Синь над Садрисламом почернела, стала тьмой...

Сани въехали в Атзитяр. Под дикие выкрики медленно проехали вдоль своего аула. Трех избитых внесли в дом аульного Совета, окна которого уже были без стекол. Положили на полу. Два егета — комбедовцы Атзитяра — были уже мертвы. Жену одного из них, совсем поникшую от горя, Гаитбаев грубо вытолкал, велел и близко не подходить к этому дому.

— А коммун наш! Еще дышит! — бывший волостной старшина пнул Садрислама в бок.

Муллаян поднял над головой Имангулова свой сукмар, но заколебался, опустил к ноге.

— Ладно, недолго протянет. До рассвета промерзнет насквозь. — Видно, побоялся перед

свидетелями собственной рукой убить Садрислама. Все больше сказывалась в нем отцовская кровь — научился думать. — Ладно, некогда тут... Айда, поехали в Хайгадак!

Свистя полозьями, санный поезд вылетел из аула...

Сторожить избитых Гаитбаев приказал председателю аульного Совета — считал его своим человеком.

Ночь. Темень — хоть глаз выколи. На полу аулсовета — два уже окоченевших трупа. Имангулов еще жив. Стонет, хочет приподняться на локте...

Одна и та же мысль буравит мозг сидящего над ним председателя аулсовета: «Гаитбаевы и Аптелгалимовы подняли мятеж. Если они захватят власть, житья мне не дадут. Все-таки служил Советам. Если их разгромят — волость не погладит по голове. Умрет ли Имангулов или выдюжит, останется жить — все равно пощады мне не будет».

А Имангулов все настойчивее ищет локтем опору. Вот уже слабенько просит: «Воды...»

Не выдержал караульщик, нагнулся к полуживому человеку:

— Тяжело тебе, родной? Сейчас, сейчас...

Побежал через улицу. Вскоре и вернулся. Подняв голову Имангулова, приставил к его рту горшок с теплым молоком. Охая и отдуваясь, проливая молоко на грудь, Садрислам сделал несколько жадных глотков. Устав, откинулся навзничь.

В эту минуту на улице скрипнули полозья саней. Председатель, вздрогнув, опустил голо-

ву Садрислама на пол, бросил горшок в угол. Осторожно подошел к двери.

Приехавших было двое. Один держал лошадь под уздцы. Второй уже шел к двери. В темноте председатель заметил, что у обоих наготове ружья.

— Тело Имангулова здесь? — Голос человека был низок и хриповат, но председатель сразу понял — перед ним женщина. Не откликнулся, хотел было шагнуть к своему ружью, стоявшему в углу. Тут в его грудь уперся жесткий ствол.

— Зде... здесь, — шепнул караульщик.

— Айда, показывай, — женщина ткнула в него ружьем. — Показывай! Свет зажги!

Трясущимися руками охранник начал шарить в темноте.

Когда затеплился желтый свет, председатель аулсовета увидел, что второй из приехавших — юноша, даже, скорее, подросток. Впрочем, что толку от этого — оба ружья нацелены в него...

Жестоко избитая, Гюльюзюм лежала тихо. Закия, хлопотавшая около нее, подумала, что она наконец-то заснула. И сама решила прилечь. Нет, оказывается, Гюльюзюм о чем-то напряженно думала. Неожиданно вскочила, резко окликнула подругу:

— Встань-ка, Закия! Слышишь? Пойди скорей найди Касима. Скажи ему: твоя Гюльюзюм-енге хочет испытать, настоящий ли ты егет. Если настоящий, пусть запрягает лучшую лошадь Аллаяра, прихватит его ружье и летит сюда. Скажи, я велела. Да быстрее, шевелись. Старый дажжал, кажется, еще не вернулся.

Закия ушла. Потекли мучительные минуты. Но вот запели полозья на пустой улице. Во двор вбежал Касим. За плечами его блеснула двустволка Аллаяра.

Гюльюзюм была уже одета, держала в руках берданку Аптерахим-агая. Даже не знала — заряжена ли...

— Ты, оказывается, мужчина, Касим! — ласково обняла егета.

Отстранившись, Касим отчетливо сказал: — Брось-ка, енге! Ужель не верила?..

Когда неслись по темной дороге, Гюльюзюм несколько раз предупреждала Касима:

— Близо не подходи... Если меня пристукнут — беги. Тебе еще жить.

Потом долго молчала, не замечая снежной пыли, режущей лицо. Вдруг тихо сказала — будто самой себя:

— А мне теперь все равно. Если и умру — вместе с ним...

— За кого меня считаешь! — Касим, оказывается, услышал, вспылел. — Не жди, не брошу! Живого ли... или мертвого — увезем.

Когда перевалило за полночь, они въехали в темный, словно вымерший Атзитяр. Единственный огонек слабо светился, будто прямо из сугроба. Осадив коня, Касим прыгнул. Оба, проваливаясь в снег, подбежали к маленькому окну. Нет, не понадобились окольные расспросы. Жена убитого председателя комбеда Валиахмета слезами омывала здесь свое горе. Тут же объяснила, где лежат тела убитых и кто стоит на охране...

При слабеньком свете слички женщина с ружьем обошла раскинувшиеся на полу три

тела. Наклонилась над Имангуловым, застонала, припав:

— Садрисла-а-ам...

Имангулов опять задвигал локтем, стараясь подняться, застонал.

— Милый! Жив! — забилась над ним, часто целуя. И тут же, выпрямившись, приказала караульщику: — Помоги вынести!

Садрислама вынесли на руках, положили в кошевку, осторожно завернули в тулуп.

Добрый конь с места рванул широкой рысью. Гюльюзюм сидела, обняв голову Садрислама. Обернувшись к Касиму, сказала коротко:

— В Утекэй нельзя. К моим — в Тукей!..

Председатель аульного Совета долго стоял на снегу. Опомнился, когда ноги начали коченеть. Пригнув голову, проваливаясь в сугробы, побрел вдоль аула, укутанного в тревожную тишину. Постучал в то окно, где все еще горел единственный огонек.

— Килен... Пойдем, помогу тебе. Заберем покойного Валиахмета. По-божески похороните... Не обижайся на меня...

На рассвете со стороны аульного Совета донесся одинокий выстрел из ружья. Причина того, что человек решает застрелиться, часто остается загадкой для живых...

XI

В субботний день на улицах Хайгадака с утра началось странное движение. Конные и пешие тянулись в сторону базарной площади.

— Хороший, видать, базар будет завтра, — сжав губы, проговорил командир вооруженной дружины, стоявший у окна. — Все богатые хозяева едут.

— Да, — Алтынбаев был задумчив. Он сегодня говорил меньше обычного. — Цены, похоже, будут высокими... Ах, шайтан бы забрал эти продукты! — Он резко поднялся с места. — Не вовремя отпустил ты ребят по домам. Давай-ка посылай по деревням, кто при тебе остался. Пусть дружинники соберутся. — Остановил командира, который бросился к выходу: — Не сюда собирай, а в Кутаймас. И сам туда.

Командир уставился на него вопросительно. Алтынбаев пояснил:

— Остальные коммунисты останутся здесь.

Командир ушел вовремя. Волком начали окружать. Издалека неторопливо, потихоньку брали в кольцо. В руках у людей, появлявшихся то в одиночку, то по двое — во дворе около забора, на улице, — ничего не было. Но вот Алтынбаев увидел берданку. Замелькали топоры, вилы...

Не обмануло, оказывается, предчувствие. Вот уже несколько дней доходили до Алтынбаева тревожные слухи: «Идут!» А сначала ведь не хотел верить. Когда жена передала ему это слово, Хамит даже накричал на нее:

— С кулацкого голоса поешь!..

Накричал-то ведь из-за того, что сам чувствовал: дело неладно. А теперь совсем ясно стало. Действительно идут.

Как черные тараканы в темном сыром доме с шорохом вылезают к ночи из щелей, так собирались в Хайгадаке те, кого вчера еще



совсем не было видно. Боевой командир, не раз спокойно глядевший смерти в глаза, Алтынбаев костит самого себя: сегодня обстановка куда спокойнее, чем на фронте, а в душе тихо закрадывается страх.

Хамит тревожится: Имангулова все еще нет. Был бы он тут — горячий, готовый броситься навстречу любой опасности, — прибавил бы задора. А может, это и хорошо, что опаздывает, — ведь передышки не дал бы этим хозяевам, собиравшимся, будто на базар. Уже начал бы разгонять. Не политик заместитель Алтынбаева. Типичный вояка. Повстречаться бы им чуть пораньше, до разгрома отряда, где командовал Алтынбаев. Пожалуй, он, Хамит, сказал бы — пусть командует Имангулов, а я попробую комиссарить при нем. Наверно, такое сочетание решительности и политического чутья принесло бы больше пользы, чем победа, добытая ценой жизни целого отряда.

Алтынбаев то и дело достает свои железные часы. Эти часы после выхода из рейда вручил ему сам Блюхер. Обнял и поцеловал. Стыдно! Рука, в которой лежат эти тяжелые часы, дрожит от упрямо подползающего страха...

Четверо коммунистов совсем перестали разговаривать, слились с косяками окон. Руки в карманах — на рукоятках наганов. Чем темнее становится, тем ближе подбираются темные фигуры, окружившие волком. Пришлось потихоньку вынуть внутренние рамы — чтоб было виднее. Алтынбаев остановил своего товарища, который чиркнул спичкой — хотел зажечь лампу.

В тот же миг нижнее стекло в одном из окон звякнуло и осыпалось.

— Хамит-пелеш! Знаком Хамит! — послышался снаружи простуженный голос старика чуваша Тимирки. — Прось сбой наган! Не убьют. Ты живой нужен... Сафтра перед народом скажешь: «Я польше не коммун». Скажешь — снова выберут. Там поймали сына Галиакпера из Утекэя. Канис ему, говорят. Коммун канис, Совет пусть остается...

Алтынбаев, скрипнув зубами, поднял наган. Но тут же и опустил.

Похоже, Тимирка не был из тех, кто окружал волком. Скорее всего, подошел, чтобы оказать добрую услугу Алтынбаеву, предупредить. Потому и вылетели из-за его спины сразу трое с кулачищами, поволокли от окна в темень. Видно, этот чуваш, всегда говоривший намеками, раскрыл план, который держали в тайне.

Секретарь волкома то и дело почти неслышно кричал, зло сжимал губы. «Беспечно вели себя. Упустили из виду. Спали. А враг действовал. Смотри-ка, змея, оказывается, пригрелась в самой колыбели. А дитя-то — Совет...»

Так — в молчании — простояли всю ночь, слившись с косяками окон. Перед рассветом Хамит негромко сказал:

— Надо прорываться. Караул спит.

Сухо щелкнули курки. Алтынбаев давал последние распоряжения:

— Прямо в Кутаймас. Друг друга не ждать. Каждый за себя. Кто первым доберется, посылай верхового в кантон.

Обнялись.

— Ну, товарищи, за власть Советов! За пролетариев!

Наружная дверь была чем-то приперта. Алтынбаев бесшумно раскрыл створки окна. Один за другим тихо спрыгнули в голубой снег, поползли огородами, в сугробах. Долго стояла тишина. Вдруг раскатисто хлопнула берданка. И сразу сыпанула беспорядочная стрельба. Кто-то хрипло ругался, слышались мягкие удары — кого-то били...

В аул Тукей въехали еще затемно.

Гюльюзюм не решилась везти Садрислама прямо в дом своих родителей. Велела повернуть лошадь к воротам брата. Разбудила молодых хозяев, захлебываясь, рассказала обо всем. Вышли и ахнули: Садрислам сам стоял на ногах, держась за спинку кошевки. Подхватив его под руки, ввели в дом. Вялого, то и дело как бы засыпающего, раздели до пояса, стали смывать теплой водой запекшуюся кровь на боках. Натянули на него чистую рубаху брата Гюльюзюм, влили в рот несколько ложек горячей шурпы — крепкого бульона. Садрислам был мягок и податлив, как ребенок во сне. Лишь когда уложили в постель, шевельнул губами, словно начиная бредить:

— В волость...

И затих. Не смыкая глаз, боясь шевельнуть ресницами, Гюльюзюм сидела у его изголовья. Все всматривалась: дышит ли?..

Когда совсем рассвело, Садрислам, вздрогнув, проснулся. Внимательно посмотрел на Гюльюзюм и тут же сел на постели.

— Ты что? Успокойся, — Гюльюзюм хоте-

ла было опять уложить его. Но не смогла — у Садрислама уже появились силы.

Виновато улыбаясь, он ощупывал раны и ссадины на своем теле. Качал головой. За его спиной Гюльюзюм, трепеща от радости, торжественно посматривала то на брата, то на сноху. Очень хороша она была сейчас с ее разлетистыми черными бровями, с ее белым, узким лицом и пухлыми бледными губами, созданными для ласковых слов. Большой темный желвак под глазом не портил ее лицо. Даже как будто украшал, напоминая: здесь не только красота, здесь еще и характер. Не каждый человек умеет так бороться за счастье, так радоваться ему.

Не спеши радоваться, Гюльюзюм, не спеши...

Садрислам будто вторично проснулся. Заговорил. Опять те же слова:

— В волость! Здесь Касим?

Гюльюзюм так и налетела:

— И не говори! На тебе живого места нет, упадешь по дороге...

— Не упаду! Ладно, хватит... — Словно желая доказать, что он совсем здоров, Садрислам встал на ноги. Тут же пришлось ему опереться о край стола. Но голос его был тверд: — Запрягай, Касим!

— Там же сейчас... — Гюльюзюм не договорила. Черные глаза ее стали еще темнее, шире.

— Там товарищи... Я не дезертир.

— Поешь хоть...

— После. Запрягай, запрягай, Касим.

Удержать Садрислама было невозможно. Отталкивая Гюльюзюм и Касима, старавших-

ся поддержать его, вышел на крыльцо. Гюльюзюм посмотрела ему вслед и отвернулась. Слезы хлынули ручьем.

— Тогда и я с тобой...

Лошадь у Касима была уже готова. Закинув за спину ружье, он влез на облучок. Сноха Гюльюзюм всплеснула руками:

— Куда вы! И так покалечены, даже смотреть на вас больно! Что за люди, гифрит в них, что ли, засел?

Через час они подъехали к распахнутым настежь задним воротам волкома. Весь двор был истоптан, казался каким-то опустошенным. Касим тут же увел лошадь, спрятал под навесом. Садрислам заметил разбитые окна, загаженное крыльцо. Велел Касиму не отходить от лошади, а ружье спрятал под сено. А сам, как бы не замечая тревожных знаков Гюльюзюм, заковылял ко вторым воротам. Выйдя на улицу, привалился к решетке забора. Прислушиваясь к доносящемуся с базарного майдана гулу, поправил под шапкой повязку и заторопился, захромал — на этот гул. Гюльюзюм, не отставая, шагала рядом.

Майдан шумит, народу полным-полно — от забора до забора. Все шубы да белые армяки. Только нынче здесь не торгуют. Все вооружены: у одного берданка, другой — с топором, третий опирается на вилы. Поигрывая ружьями, прохаживаются щеголевато одетые егеты. Чувствуют свою силу, выкатывают грудь, как молодые осенние петухи.

Задором и ненавистью блеснули глаза Садрислама. Слегка опираясь на руку Гюль-

юзюм, он направился прямо к бурлящей на майдане толпе. И капли страха не чувствовал, не замечал боли в теле. Франтоватые егеты, кажется, не узнали его — голова ведь обмотана белым до самых бровей, а поверх еще чужая шапка.

Идущие под руку мужчина и женщина стали проталкиваться к центру майдана. Там над морем голов высилась фигура бывшего старшины Гаитбаева. Разбрасывая руки и как бы кидаясь то в одну сторону, то в другую, он говорил речь.

В толпе зашушукались: узнали Гюльюзюм. Килен Аллаяра пришла на такую опасную сходку! Кое-кто, видимо, узнал и Садрислама — делали вид, что не замечают, отводили глаза в сторону.

Имангулов издалека заприметил в толпе большой чурбан для рубки мяса. Мгновенное решение мелькнуло в глазах, стал проталкиваться туда. Чурбан большой — обхвата в полтора; Садрислам пробился к нему и, опершись, оглядел толпу. Сразу понял — здесь сошлись люди из разных деревень. В основном люди среднего достатка. Главари, видать, ближе к центру, там, где кричит Гаитбаев. Так и есть — там режут сильные, жирные утробы. Чувствуется, что мясо едят каждый день.

Имангулов прислушался к гибкому голосу оратора, звучащему то лаской, то твердостью.

— Ямагат! Поймите нас правильно. Мы не против Советов. Наоборот, как раз и собрались сюда, чтоб защитить Советы! Мы против грабителей и зажимщиков той свободы, которую Советы отвоевали для народа. Мы

против белых грабителей и против тех, кто покрасился в красный цвет. Вот один из них перед вами... Мы против таких вот выроdkов, которые называются коммунами, а сами вредят Советам, средь бела дня грабят трудовой люд, попирают справедливость. — Тут бывший старшина Гаитбаев ткнул пальцем себе под ноги: — Вот один из тех, по ком давно плачет могила. Да, теперь это головешка, дымящая в аду. Понес заслуженную кару...

От страшной догадки что-то больно оборвалось в груди Садрислама.

— Мы — народ, завоевавший свободу! — продолжал Гаитбаев. Когда-то старшина хорошо отточил язык на подобных сходах. — Революция предоставила нам права, и мы сами можем теперь выбирать себе волостное и даже кантонное начальство. А если кто-нибудь вздумает стать у нас на пути, мы можем и разбить горшок, даже тот, который сами обжигали. Прошлым летом мы поторопились при выборе волостных турэ. Не от искренней души выбирали — навязали нам сверху наших начальников. Вот и получили грабителей себе на шею. А теперь вы собрались для того, чтобы выбрать новую волость. Кого из вас привели сюда насильно? Нет таких! Никто не гнал вас сюда силой. Так дружно, по своей воле, могут собираться лишь люди, вставшие на защиту правды. Мы не убийцы, нас привела сюда святая цель. Мы не хотим крови...

Тут позади Гаитбаева послышался голос старика Тимирки:

— Так-то оно так. А все же никто не забыл прихватить с собой ружья да топоры.

На него зарычали:

— Заткнись!

— Дайте там ему, чтоб замолчал!..

Гаитбаев продолжал:

— Вот Тимирка-кордаш говорит, а не подумал как следует. Если в руках грабителя боевая винтовка, приходится снять с гвоздя охотничье ружье, чтоб прикрыть голую грудь.

— Правильно! Верно! — загалдели вокруг него.

Садрислам, опираясь на плечи Гюльюзюм, приподнялся на носках. Но труп, на который показывал бывший старшина, увидеть не смог. Предчувствие все больше тревожило его.

— Мы пришли сюда не для того, чтобы силой оружия громить волком, — на этом слове Гаитбаев скривил губы. — Мы собрались, чтобы предложить шайке Алтынбаева, хоть они и грабители, пусть сами поймут волю народа и откажутся от власти. — Он умолк и пристально оглядел толпу. — Теперь не время для долгих разговоров. Будем выбирать. Кого предлагаете?

— Тебя! Будь сам волкомом!

— Надевай опять медаль!

— Гаитбаева!..

Бывший старшина от прилива чувств даже расстегнул ворот рубахи и поклонился толпе:

— Ямагат! Спасибо вам! Спасибо за доверие! Только я ставлю два условия.

— Говори!

— На моих руках кровь грабителей. Считайте, что на мне нет вины за эту кровь. Я отстаивал правду и справедливость...

— Так и будем считать!

— Афарин!

— И второе... — Гаитбаев постоял, размышляя. — Надо записать в решении, что шайка Алтынбаева сама, по своей воле отреклась от власти. Да, мы пришли сюда со святой целью разъяснить им это предложение. А грабители открыли пальбу из наганов и убежали. Даже один почтенный человек, отец семьи умирает от их пули. Вот так запишем и будем считать, что с этим покончено...

— Нет! Считайте, что с нами не будет покончено никогда!

Услышав звонкий голос Имангулова, весь майдан словно бы вздрогнул.

Опираясь на плечо Гюльюзюм, Садрислам с трудом взобрался на широкий чурбан, сорвал шапку. Обмотанная платком, его голова забелела над толпой.

— Не торопитесь считать, что с советской властью уже покончено! Пожалеете!

Эти слова подействовали так, словно каждого из стоящих на майдане хлестнули наотмашь по обеим щекам. Гаитбаев онемел, растопырив руки. Видно было — не ожидал, что Имангулов, который уже должен бы окоченеть трупом на холодном полу Атзитярского аулсовета, появится здесь.

Садрислам обернулся к той части майдана, где почти сплошь белели армяки хозяев среднего достатка.

— Товарищи! Братья!.. — И вдруг его голос задрожал. Он наконец увидел, на чем стоял Гаитбаев. Это были сани без упряжки. И там, на самом дне кошевки, лежало неестественно повернутое тело с лицом, черным от крови, изрезанным вкривь и вкось. По изо-

дранной в ключья суконной гимнастерке Садрислам узнал: Алтынбаев! Базарный майдан, словно качаясь в люльке, поплыл перед ним. «Нет, нельзя падать!» Имангулов закусил губу.

— Братья! Советская власть живет и будет жить! У нее нет никакого сомнения, что большинство из вас — честные хлеборобы. Одно только обидно: как могли вы поверить лжи! У кого пошли на поводу! Да вы посмотрите на них получше — это же враги революции и народа!

— Грабитель!..

— Заткните ему глотку!..

Над майданом прокатился выстрел. Садрислам вздрогнул и, словно ища в воздухе опору, несколько раз взмахнул рукой. Все же устоял, выпрямился.

Пуля задела его бок. Краем глаза он заметил в толпе шевелящийся ком — отнимали у кого-то ружье.

Словно прикрывая рукой нацеленное на него дуло, Садрислам выбросил руку вперед.

— Не торопитесь! В вашем распоряжении есть пока время, чтобы прицелиться получше. Волком еще не отрেকся от власти, хоть это отречение, видать, очень нужно Гаитбаеву...

Имангулов чувствовал: с каждой минутой положение становилось безнадежнее. Решил держаться до последнего. Медленно, будто отрезая кусок за куском, выговаривал слова, обращаясь все к тем же белым армякам:

— Братья! Подумайте получше! Как бы не пришлось потом пожалеть. Пора бы вам различать, кто настоящие грабители. Оглянитесь вокруг, откройте пошире глаза. Вот вы

тут слушали бывшего старшину. Каким ангелом прикидывался! Оружие он не намерен применять! А что сделали вчера с комбедовцами в Атзитяре? С Алтынбаевым? Ведь даже волк не станет так терзать мертвое тело! И мне — стоило лишь сказать слово, как тут же поспешили проверить свинцом крепость моих ребер. Ну что? Убедились, что они у нас крепкие?

Он чувствовал: из раны в боку обильно сочилась теплая кровь. словно опасаясь, как бы не увидели эту кровь, Садрислам прижал локоть...

— Да, братцы! Ребра у нас крепкие! Может, еще есть желающие попробовать? — Он умехнулся и громко, с паузами, отчеканил: — Слушайте!.. Чтоб потом не пожалеть!.. С этой минуты!.. Любое движение оружия в ваших руках будет расценено как выступление против революции и советской власти!..

Руки людей словно обессилели — медленно опустились. Садрислам почувствовал: это была первая победа. Что делать дальше, он еще не знал. Боялся лишь одного: не ослабеть бы, не свалиться с чурбака. Хорошо, что Гюльюзюм обеими руками подпирала его.

— А сейчас... — проговорил он и умолк, собираясь с мыслями. Скомандовать «расходитесь» не успел — толпа странно зашевелилась. Ружья, вилы, топоры стали исчезать. Что за суматоха?..

И сквозь туман, который начал застилать перед ним всю площадь, Садрислам увидел...

— Товарищи! — крикнул, глядя куда-то вдаль, над колышущимися головами. Крикнул

и, поникая, медленно упал в объятия Гюльюзюм.

А вдоль заборов, окружающих майдан, из переулков бежали люди с винтовками, захватывая всю толпу в кольцо.

Шубы и армяки шарахнулись — все в одну сторону, к переулку, где стояло здание волкома. И тут же отхлынули. В устье переулка, на сугробе, чернел щит пулемета. Около него залег боевой расчет.

Крепко обняв Садрислама, как бы уснувшего от потери крови, Гюльюзюм, сияя радостью, смотрела на дружинников и молодых красноармейцев с яркими красными звездами на шлемах. Какие молодцы! Как славно продумано! Кольцо окружения не сомкнуто только с одной стороны. В этом месте — в переулке около забора, как раз против пулемета, — был оставлен узкий проход. Он напоминал развязанную горловину мешка. И люди хлынули в эту горловину, толкаясь, оттесняя друг друга — чтобы поскорее убраться из Хайгадака.

— Дунюшкин! Тахау! Станьте по обе стороны прохода, записывайте всех, кто будет выходить, — приказал командир дружины.

И тут началось!..

— Сынок, ты уж не записывай меня. Из-за слепоты своей поддался!

— Меня ведь насильно привезли!

— Муллаян, Муллаян меня приволок! Говорил, глаза выколю, если дома останешься...

Проходя мимо дружинников, старик Тимирка постоял, с тревогой вглядываясь в Имангулова. Садрислам уже открыл глаза, но все еще опирался на Гюльюзюм.

— Тиржись, тиржись, молодец! — Тимирка ласково похлопал Гюльюзюм по спине.

Майдан постепенно пустел. В центре уже не было никого, осталась лишь кошевка с телом Алтынбаева. Вокруг саней — брошенные как попало ружья. Их хватило бы на целый отряд.

— Эй, эй! Давай назад! — послышался вдруг веселый голос командира дружины. Он давно заметил Гаитбаева, который, прячась за белыми армяками, хотел протиснуться в переулочек. — Тебе, тебе говорю! — Командир пришпорил коня, направил на бывшего старшину. — Не слышишь? Во-он туда иди. К своим дружкам. Видишь, стоят? Иди, иди, веселей будет в компании!

Там, куда указывал командир, опустив головы, стояли Муллаян, Емелька и Софрон.

ХII

Два дня пролежал Садрислам без сил в доме родителей. Бледная, с опухшими веками, Гюльюзюм не отходила от него. Вздрагивала, отгоняя назойливо подступающие сны...

А сегодня — какая радость! Сегодня ее Садрислам кажется совсем здоровым. Только слаб еще. Что-то его беспокоит. Еще с постели не вставал, а вот — вызвал к себе Тахаутдина.

— Беги к мастеру Хусаин-агаю. Пусть сделает ограду, — и понизил голос: — для Алтынбаева. Чтоб ограда была самой лучшей его работой.

Тахаутдин бросился к выходу.

— Постой, не все. И звезду пусть сделает.

Пятиконечную. Красную, чтоб огнем горела. Проследи, чтоб все было как надо...

Прискакал командир дружины: еще не решились, где хоронить Алтынбаева. Ему Садрислам сказал:

— Могилу копайте на склоне горы, над Хайгадаком. Чтоб видел каждый, кто прибывает в волость.

Мастер Хусаин делал ограду всю ночь. Тахаутдин с егетами помогали ему. Очень красивая получилась — с резьбой.

Правда, когда Тахау заговорил о звезде, руки мастера на миг опустились. Положив долото на верстак, он почесал затылок. Бросил взгляд в передний угол, где на специальной полке лежал пожелтевший Коран. Посмотрел Хусаин и на свой намазлык, подстелив который, по нескольку раз на день становился на колени, читал молитву. Подумал и весь подобрался, сказал строго:

— Только начертите, чтоб был образец...

Гроб, покрытый кумачом, пронесли по главной улице Хайгадака, бережно уложили на сани волкома. Сверкнули трубы приехавшего из кантона военного оркестра. Траурная музыка — такой никто еще в Хайгадаке не слышал — поплыла, наполняя горем сердца. Сани медленно тронулись.

Сняв шапки, шли за саними люди, месили сырой мартовский снег. Их становилось все больше и больше. Все — мужчины, так пола-

гается по шариату: даже матери нельзя идти за гробом сына.

Когда дорога пошла круто в гору, Кулумбетов и Файзулла, шедшие по обе стороны Садрислама, подхватили его под руки — он был все еще слаб.

Гроб установили на груди рыжей земли. От нее поднимался пар, пахло весной. Все притихли. Кулумбетов, скомкав шапку, подошел, открыл лицо Алтынбаева.

— Родные! — голос его дрогнул. — Мы отдаем сегодня в объятия земли своего брата-коммуниста, зверски убитого врагами революции. — Запнувшись, словно ему не хватило воздуха, Валиулла глубоко вздохнул. Жилы на его висках заиграли. — Не забудем же никогда своего мужественного брата! На эту священную землю, — он протянул руку к лежащим внизу далеким полям и лугам, — в борьбе за наше счастье пролилась кровь коммуниста! Всегда будем помнить эту кровь! Враги революции не дремлют, они могут еще много вреда принести нашему священному делу. Но пусть знают они, коммунисты — это такой народ: где пал один — поднимутся десять!

Склонив головы, тихо стояли комбедовцы, дружинники, односельчане, боевые друзья погибшего большевика. Брови сведены, губы плотно сжаты...

Гроб опустили в могилу. Вот над ним уже вырос высокий холм, засияла алая звезда. Трижды грохнул залп дружинников. Оркестр заиграл «Интернационал», и тут Файзулла тихонько подошел к Кулумбетову, державшему руку «под козырек». Когда музыка затихла, спросил негромко:

— Скажи-ка, Валиулла-мугаллим... Простых принимают в большевики? К примеру, таких, как я...

Люди медленно проходили мимо свежей могилы. Вокруг нее уже стояла белая решетка. Отойдя, оглядывались. Яркая звезда словно провожала их, глядела вслед.

Многие заметили: чуть отступив от дороги, неподалеку стоял статный красноармеец в шинели, держал в руке буденовку. Старый Файзулла, занятый своими мыслями, чуть не прошел мимо. Вдруг поднял глаза, замер — и бросился к военному, обнял.

— Сынок! Вернулся!..

ХIII

— Смотрите-ка, это же Аллаяр-бай!

Эти слова сказал кто-то, проходя мимо старшего Аптелгалимова. Но тот даже не шевельнулся. Одетый в старый бешмет и подшитые, разбухшие от мартовской сырости валенки, он сидел на нижней ступеньке волостной конторы. Голову опустил к коленям — трудно было узнать в этом сгорбленном человеке прежнего Аллаяра.

Из-за двери иногда доносился требовательный голос молодого следователя-чекиста. Там шел допрос.

Допрашивают... А ведь, казалось бы, все шло как по маслу. Стоило только намекнуть, и все дружно собрались в Хайгадаке. Состоятельные люди, которых разорили коммуны,

вспыхнули, как сухой сорняк — эрем. Верный себе, Аллаяр не поехал в тот день на Хайгадакский майдан. Его дело было сделано. Все остальное должна была решить винтовка, а он никогда не прикасался к ней...

Затопали сапоги. Открылась дверь. Четыре красноармейца вывели арестованного. Сын!.. Увидев отца, Муллаян ниже опустил голову. Плохи его дела, если приставили четверых с винтовками...

Каждый раз после допроса Муллаяна вели к каменному складу с железными воротами и решетками на маленьких окнах. Вот и сейчас он скрылся за этими воротами. Можно ехать в Утекэй.

Четыре дня назад, когда, переждав все события, Аллаяр въехал к себе во двор, он сразу заметил запустение. Весь двор утонул в снегу. Мычала и бляела некормленная скотина. Бледная Гюльсагура словно камчой огрела: ушла Гюльюзюм, ушел Касим...

Ушли, значит... Так вот почему исчезла вся красота хозяйства!..

Бай постоял посреди двора, устало махнул на все рукой. Медленно вошел в дом, бросил на хике давно висевший без дела намазлык и опустился на него, шепча молитву. И сразу стал похожим на своего покойного отца в его последние дни.

Видно, худая пора настала. Раньше, став на намазлык, он сразу начинал слышать голос аллаха. Сейчас что-то заглушало его. На дворе дико выл, рыдал пес Буребыу. Нет, не он мешал Аллаяру сосредоточиться. Он только напоминал, шевелил смертельную рану...

Муллаян... Опора... Лучшая часть души...

В тот вечер у Аллаяра долго сидел притихший, как бы лишившийся голоса Сафаргали. Он тоже уцелел, хоть и поехал тогда в Хайгадак. Трусость спасла — опоздал.

Они долго сидели молча, потом Сафаргали наклонился к уху бая:

— Не спрашивай, какими путями... Добрый человек помог. Видел Муллаяна. Успел мне шепнуть: «Передай отцу: он никакого отношения к делу не имеет. Пусть не боится. А я все равно убегу...»

...Да, можно ехать в Утекэй.

Аллаяр в последний раз посмотрел на железные ворота склада и, крихтя, поднялся. Тут только разглядел знакомые лица по ту сторону крыльца. Эти люди давно уже собрались здесь, чего-то ждали, о чем-то весело переговаривались. Кордаш Файзулла, с ним военный в буденовке — похоже, его сын Шафигулла. А вот и Гюльюзюм. Отвернулась, шайтанова блудница... Молча стоит мугаллимэ Ямиля...

Им-то что нужно здесь, у этого крыльца?

Шафигулла достает большие часы и смотрит на дверь. Посмотрел и Аллаяр. Все та же бумага на двери, с утра висит. Что там на ней?

«Объявление... — читает Аллаяр. — Сегодня, в пять часов, состоится собрание волостной ячейки РСДРП(б). Повестка дня: прием в партию новых товарищей...»

Не сразу мысль Аллаяра находит связь между этим объявлением и людьми, что стоят по ту сторону крыльца. Лицо еще больше темнеет, голова опускается ниже... Совсем не слышит бай веселой мартовской капли...

СТУПЕНИ ПОИСКОВ

С именем башкирского писателя Фарита Исангулова читатель начал встречаться с 1953 года. В этом году была опубликована первая его книга для детей под символическим названием — «Первое испытание». Затем появились и другие, ныне популярные, переведенные на многие языки народов СССР детские произведения и книги Фарита Исангулова — «Сын председателя», «Мост Хамита», «Созвездие», «Лестница», «Нынешним летом», «Кто?»... За относительно короткое время (1953—1965 гг.) он опубликовал свыше десятка сборников детских рассказов и повестей, и о Фарите Исангулове заговорили как о талантливом детском писателе. Признание было всеобщим: за заслуги в области детской литературы он был награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.

Однако в шестидесятые годы выходят одно за другим произведения Ф. Исангулова «Алтынбикэ», «Расима», «Фания», «Лебедушка моя», поднимающие отнюдь не детские проблемы — вопросы семьи, дружбы и любви, гражданской активности.

Критика сразу же заговорила о Фарите Исангулове как о писателе лирическом, знающем жизнь и психологию молодежи, как о мастере повестей на современные темы.

Но и эти прогнозы оказались недолговременными.

В 1969 году неожиданно для многих появляется роман Ф. Исангулова на историко-революционную тему «Ржаной колос». Затем с небольшими интервалами выходят и два других романа на эту же тему — «Верный конь и добрый молодец», «Памятники — для живых», которые принесли автору широкую известность уже как мастеру историко-революционных романов. Роман «Ржаной колос» был удостоен республиканской премии имени Салавата Юлаева. Так завершается один из циклов творческой эволюции Фарита Исангулова, его поиск в области жанровых и стилевых форм.

Романы Ф. Исангулова принято в критике называть трилогией, «Ржаной колос» — ее первым романом. Думается, однако, что данный роман представляет самостоятельное литературное произведение, ибо по своей проблематике «Ржаной колос» стоит особняком от двух последних романов, не имеет общей сюжетно-композиционной архитектоники с романами «Верный конь и добрый молодец», «Памятники — для живых», самостоятелен и в образной системе. Поэтому есть прямой резон рассматривать этот роман как одну из важных ступеней в творческом становлении писателя.

Роман «Ржаной колос» по тематике стоит в ряду башкирских историко-революционных романов, но по своим жанровым и проблематическим особенностям он несет много нового, своеобразного, расширяющего наше понимание этого жанра.

Сюжет романа основан на событиях драматичных: в нем воспроизведена сложная и противоречивая обстановка классовый борьбы в деревне в первые годы Советской власти.

Действие разворачивается в деревне Утекэе Бишканинской волости. Главные противоборствующие силы — коммунист Садрислам и Аллаяр-бай. Правда, на первый взгляд здесь нет той видимой напряженности, остроты классовых столкновений, которой сопровождалась первые послереволюционные годы. Но именно в этом и таится одна из проблематических особенностей романа Ф. Исангулова. Он рисует не передовые рубежи классовых боев, а глубинное село, где еще довлеют старые порядки, вековые традиции патриархального мира. Отсюда и логика развития событий: на первых страницах романа аульчане, например, открыто не выступают против богача Аллаяра, вроде, и не питают особой классовой

ненависти к Аптелгалимовым. Напротив, когда те зовут их, идут к ним пить кумыс, помогают скосить им сено. Даже тогда, когда вынесено на сходе решение сообща обмолотить хлеб Аллаяра, люди идут на гумно неохотно. Идут задами, кружа, чтоб не попасть на глаза Аллаяр-баю, скрывая свою неловкость спасительной житейской философией: что поделаешь, желудок и в ад загонит!

Причем это не только боязнь крестьян перед Аллаяр-баем, хотя и этого у них немало. «Ведь что привезли с собой представители из кантона и волости? Только хорошие обещания. От Аптелгалимовых, вроде, больше проку», — так думает осторожный крестьянин, который не раз уже обжег губы, научился дуть в ложку... Но это также и груз патриархальных традиций, вековой инертности крестьянской массы: «Всю жизнь ведь так делалось... Ведь так оно и водится в жизни...» Крестьянин очень осторожен в приятии нового. Характерно в этом отношении описание торжества первой годовщины Октября в Утекэе: «Каждый идет настороженно, как человек, замысливший кражу. Поглядывают по сторонам, на дом Аллаяра, на мечеть, угрюмо темнеющую в сумерках. Скользя через калитку, быстро проходят в школу, стараясь сесть где-нибудь в углу, сзади всех».

Писатель хорошо чувствует историческую и социальную основу инертности крестьянской среды. Показателен в этом отношении один из эпизодов: крестьяне-делегаты бегут с волостного съезда спасать свои земельные участки от неожиданно начавшегося града, и невозможно их удержать. Это не только отсталые крестьяне. Среди них есть, например, и Файзулла, будущий председатель комбеда в Утекэе... Здесь и скрыта двойственность крестьянской психологии, затрудняющей выбор пути.

Для крестьянина-единоличника, стоящего пока обеими ногами на борозде, конечно же, судьба своей малюсенькой зерновой межи оказывается дороже, чем вопросы волостного съезда. Ибо какими бы важными они ни казались, эти вопросы еще вне его практики, «не видны глазу», не реальность, не сегодняшний день. «Радость дарит» ему пока лишь свой земельный участок, хотя он всего навсего в один заячий прыжок. Крестьянин еще не в силах уйти дальше этих отмеченных межей границ...

Писатель затрагивает здесь важные социально-исторические причины инертности крестьян. С одной стороны, крестьянин понял душой характер новой власти, признал ее своей, с другой — еще не вступили в силу те

новые конкретно-исторические условия, которые окончательно освободят его от сомнений, от социальной двойственности. «Досадно, горько, но это так: Советская власть еще не освободила мужика от кулацких лап, — говорится в романе, — сил еще не хватает. Политическую свободу народ получил. Но почти весь аул по горло в долгах у Аптелгалимовых. И вряд ли скоро люди избавятся от этих долгов. Год-то вон какой, ничего хорошего не сулит, так что приходится садиться на арбу Аллаяра».

Такая своеобразная историческая ситуация определяет и проблематические особенности романа. В борьбе за крестьянские массы схлестнулись здесь две социальные силы, две тенденции, два мира, воплощенные в образах коммуниста Садрислама и деревенского богача Аллаяра. Это борьба на смерть, что понимают обе стороны. Объясняя Садрисламу главное направление борьбы, Кулумбетов, представитель канткома, например, говорит: «Революция в деревне, считай, только еще начинается. Для этого и собираемся сегодня организовать боевой партийный отряд, отряд революционеров. И первая наша задача — вырвать бедняка из лап кулака. Это прежде всего. Без этого нет революции».

В этой борьбе не последнюю роль играет и экономическая сторона вопроса. Именно этим берет пока Аллаяр-бай, умело пользуясь трудным экономическим положением молодого Советского государства. Он насмехается над теми недалёковидными баями, которые зарывают свое богатство в землю. Аллаяр не закапывает свой хлеб, раздает бедным, нуждающимся. Конечно же, не из щедрости. У него своя философия, своя корысть: «Аптелгалимов-старший считает, что власть как была, так и будет всегда в руках богатого человека. Богатство — это иман. Как это в газетах пишут — «экономика», что ли? Сегодня это оружие посильнее винтовок и пушек!» Впрочем, Аллаяру есть резон и с другой стороны: долги «всегда можно вернуть с лихвой. А то жди, когда продразверстка придет и выгребет все под метелку».

Роман не случайно назван «Ржаной колос». Крестьянину нужна земля, нужен хлеб. Запах спелых колосьев тревожит его душу, проблема хлеба приводит к ожесточенным классовым схваткам.

Конечно, цель писателя не только в событийном показе процесса постепенного приобретения тогдашним

крестьянином экономической и политической свободы. Роман претендует на психологическое раскрытие этих процессов. «Души человеческие поважнее хлеба, — говорит, например, секретарь волкома Алтынбаев. — Особенно сейчас, когда вся власть в наших руках».

Борьба осложняется и тем, что крестьянин еще далек от понимания причин происходящих событий. Несчастья, разруха, а также стихийные бедствия, обрушившиеся на мир, усиливают его растерянность перед сложным революционным временем, порождают страх и суеверие: «Не надо было поднимать суматоху, пожирать друг друга, — тревожится темный народ, — может, аллах показывает людям свое нежелание благословить новые порядки?» Своеобразие исторической среды, груз религиозных и патриархальных традиций оказывают огромное влияние на мужика. Об этом очень образно сказано в романе: «Над крышей мугэзэя¹ развевался красный флаг Совета. Однако аул был пробужден все тем же голосом муэдзина, который, как и вчера, нараспев, провозглашал азан с минарета мечети».

В романе идет борьба за душу таких вот неграмотных крестьян, за их классовое самосознание. Коммунисты Садрислам Имангулов, Алтынбаев, Кулумбетов, а также передовые сельские труженики ведут неустанную, терпеливую работу в революционном воспитании масс. Причем все они понимают, что не так-то легко распахать вековые пласты патриархальщины, что невозможно двинуть эту инертную массу одними лишь политическими лозунгами. Помощь Советов беднякам, обеспечение их хорошей семенной рожью — большой шаг в освобождении крестьянина из-под влияния кулака. Затем организуется и столовая для голодающих. Это заставило крепко споткнуться иноходца, на котором ехали Аптелгалимовы; открывается школа для обучения детей крестьян. Народ начинает чувствовать себя более раскованно, более уверенно. Отсюда и начинается необратимый процесс перерождения сельского труженика, формирования личности нового типа. «Как будто опять начал расти Файзулла! — сказано, например, в романе об одном из них. — До сих пор под ростом человека он разумел то же самое, что бывает и у ржи: увеличение в длину и прибавление в днях. Оказывается, обогащение души — это еще более значительный и мудреный рост. Этот рост

¹ М у г э з э й — хлебный магазин, амбар.

дает наслаждение всему существу — как будто в полутемном доме прорубили новенькое, светлое окно». Эти слова можно было бы отнести ко всем положительным персонажам романа. Происходит духовное обогащение, а вместе с ним и переоценка ценностей. Весы осторожного крестьянина склоняются к новой жизни, к борьбе за власть Советов.

Проблематические особенности романа способствуют созданию и своеобразных, оригинальных образов. Среди положительных героев романа самый колоритный, пожалуй, образ коммуниста Садрислама. Отличает его стремление быть в гуще событий, личная храбрость, прямота характера. «Жестковато ты действуешь. Сплеча рубишь, напропалую, — говорит, например, ему Кулумбетов. — Надо быть немножко дипломатом... Конечно, в хорошем смысле...» Интересную и наиболее точную характеристику дает ему позднее, во время кулацкого мятежа в Хайгадаке, Алтынбаев: «Не политик его заместитель. Типичный вояка».

Садрислам, действительно, смел до крайности. Один, без оружия идет он в логово кулаков деревни Дуровки, зная, что его там ненавидят и готовы растерзать; избитый, окровавленный, на последнем дыхании, но несломленный и гордый, смело выступает он и перед разъярившимися мятежниками... Все это роднит его с такими известными образами революционеров, как Нагульнов («Поднятая целина» М. Шолохова), Гинди Сагидуллин («Мы вернемся» А. Карная), а также и с образами «Оптимистической трагедии», раскрывая одновременно и новые черты героя такого типа. Это, пожалуй, также одна из особенностей творческого почерка писателя. Он умеет видеть в традиционном свое, особенное. Возьмем, например, образ бая. Надо ли напоминать, что в историко-революционных и исторических произведениях он, превращенный иногда даже в некий социальный стереотип, — фигура постоянная? А вот Аллаяр-бай у Ф. Исангулова — особенный, это какой-то новый тип деревенского богача, хитрого, изворотливого, грамотного и поэтому вдвойне опасного. Это образ своеобразного «бая-дипломата». Он открыто не выступает ни против Садрислама, ни против других, «более зубастых» людей деревни. Напротив, старается завоевать их доверие: освобождает свой старый дом для школы, выделяет крупу в фонд голодающих, поддерживает на сходе большевистские лозунги, когда надо, легко отдает своих лошадей под

красный обоз... «Умен Аллаяр, а выдержки в нем — на десятерых, — говорится в романе. — С величайшим терпением ждет он тех дней, когда снова сможет вздохнуть полной грудью, твердо, без опасений будет ходить по своей земле. Он уверен: дни эти придут». Не зря выпи-сывает он и русские, и татарские газеты, газеты крас-ных и белых: по ним он ориентируется в своих поступ-ках. «Толковая голова у этого врага», — говорит Алтын-баев. Все это характеризует его как опасного врага Со-ветской власти, одного из организаторов кулацкого мя-тежа в волости.

В своей контрреволюционной деятельности Аллаяр умело пользуется слабостью и доверием отдельных лю-дей. Один из них — Мухаметгали, председатель аульного Совета в Утекэе. Человек он неорганизованный и по-корный. Был в плену у австрийцев в первую империа-листическую. Довольно метко говорит о характере Му-хаметгали его жена, учительница Ямиля: «За пять лет плена окончательно усвоил Мухаметгали рабские повад-ки. Когда же выпрямится его спина, так приученная сгибаться?». Она чувствует, что Аллаяр использует его в своих вражьих делах, но пока не хватает решимости выступить в открытую. Позднее Ямиля прямо и катего-рично скажет об этом своему мужу: «Нет, ты не тот человек, не годишься в председатели. С твоими рабски-ми повадками доведешь аул до беды».

Таких, по-своему увиденных, оригинальных образов немало в романе. Интересен, например, и образ Хусаина, известного всей округе народного умельца, сделавшего без единого гвоздя двухколесный деревянный самокат и ездившего на нем до самой Уфы. Он как бы воплощает народный талант, его умение и искусство. Писатель не ограничивает свое повествование лишь социальными катаклизмами, стремится показать и нравственный мир народа, его духовное и эстетическое величие. Это также одна из особенностей творческого почерка Ф. Исангуло-ва в освещении историко-революционной темы. Нравст-венная сторона социальных событий как проблема най-дет свое дальнейшее развитие в его последних двух ро-манах — «Верный конь и добрый молодец», «Памятни-ки — для живых».

Своеобразие и полемичность образов, некоторые сти-левые особенности продиктованы определенными идей-но-эстетическими задачами, стремлением к исторической объективности, полноте художественной правды. Доста-

точно, например, отметить принципы создания образов исторически достоверных лиц, скажем, буржуазных националистов — Заки Валидова, Юмагулова.

В литературе 30-х годов (да и позднее) подобные персонажи изображались, в силу известной классовой ненависти, карикатурно, лишь сатирическими красками. Они, как правило, — неспособные политики, аники-вошны, увлекающиеся пьяными кутежами, любовными похождениями...

Иначе в романах Фарита Исангулова, в том числе и в романе «Ржаной колос». Писатель не старается умалить силу и коварство классовых врагов — буржуазных националистов. В беседах Хисаметдина-муллы с аульными богачами, в эпизодах, где показывается отношение Юмагулова к иным национальностям (например, к чувашу Антонову), в столкновениях и спорах с представителями «Башкиропомощи» раскрываются масштабы этого буржуазно-националистического движения, его опасная реакционная суть. В последующих двух романах Ф. Исангулова читатель сможет проследить, как много осложнений вносит буржуазный национализм в классовую борьбу башкирских трудящихся. Использование при этом конкретных исторических фактов, документов лишь усиливает жизненную полноту и достоверность изображаемой в романах исторической картины.

Роман «Ржаной колос» Фарита Исангулова, как заметит читатель, не однозначен. В нем, как в фокусе, отражены многолетние творческие поиски писателя и те стилевые особенности, которые определяли лирическую окрашенность, эмоциональность его предыдущих произведений. Проблематика его историко-революционных романов, духовный мир героев очень созвучны гуманистическим устремлениям нашего современника. Писатель видит связь времен и поколений, события прошлого изображаются в романах с позиций преемственности социального и нравственного опыта народа. Это и делает произведения Фарита Исангулова, отмеченные всегда печатью зрелости, актуальными и художественно действенными.

Роберт Баимов

С о д е р ж а н и е

Часть первая	19
Часть вторая	29
Часть третья	39
<i>Ступени поисков. Послесловие Роберта Баимова</i>	

Фарит Ахмадуллович Исангулов

РЖАНОЙ КОЛОС

Р О М А Н

Оформление серии *А. Холопова и А. Королевского*

Ответственный редактор *А. А. Цитович*

Художественный редактор *А. А. Астраханцев*

Художник *А. Г. Королевский*

Технический редактор *Н. Я. Сайфуллина*

Корректоры *Л. У. Насибуллина, Н. П. Кудрявцева*

ИБ № 74

Сдано в набор 31/I 1977 г. Подписано к печати 27/IV 1977 г. Формат бумаги 70 × 90 $\frac{1}{32}$. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 14,62. Уч-изд. л. 14,27. Тираж 50000 экз. Заказ № 65. Цена 1 руб. 02 коп

Башкирское книжное издательство,

Уфа-25, ул. Советская, 18.

Уфимский полиграфкомбинат Управления по делам

издательств, полиграфии и книжной торговли

Совета Министров БАССР, Уфа-1,

проспект Октября, 2.

Scan Kreyder - 21.02.2019 - STERLITAMAK

~~1 руб. 02 коп.~~